



International Literary Magazine

# KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

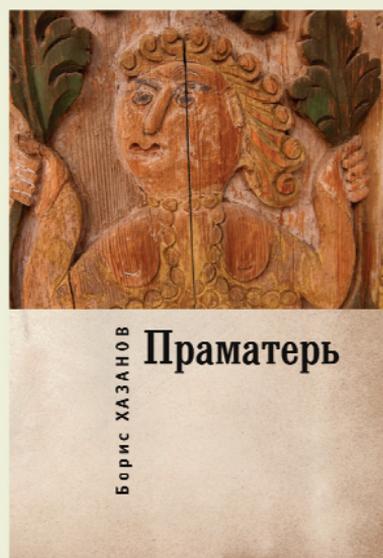
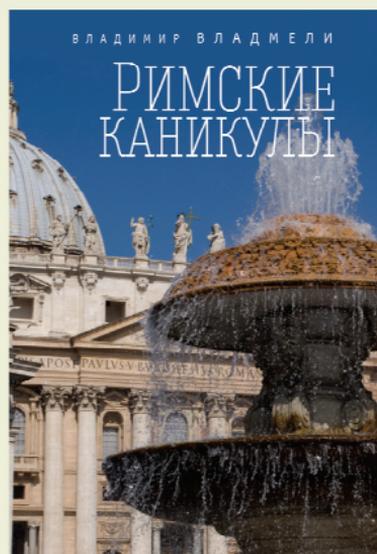
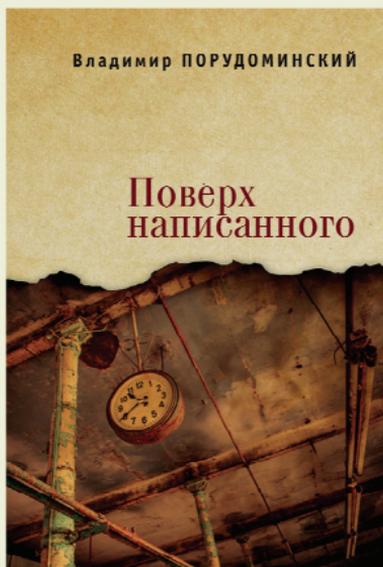
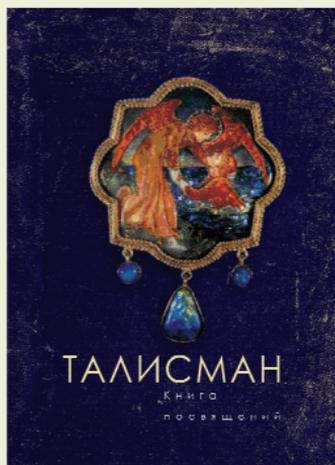
.....

#82

**KRESCHATIK**  
International Literary Magazine

#82

В издательстве «Алтейя»  
вышли в свет книги:



Международный  
литературно-  
художественный  
журнал



Главный редактор

**Борис Марковский** (Германия)  
тел. (+49) 421-522-647-65

Зам. гл. редактора

**Елена Мордовина** (Киев)  
тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

**Андрей Коровин** (Москва),  
**Виталий Амурский** (Париж),  
**Борис Херсонский** (Одесса),  
**Игорь Савкин** (Санкт-Петербург),  
**Борис Констриктор** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Алейников** (Москва),  
**Вальдемар Вебер** (Аугсбург),  
**Сергей Шаталов** (Донецк),  
**Айдар Хусаинов** (Уфа)

Художник

**Иван Граве** (Санкт-Петербург)

*Год издания двадцать первый*

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

*При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна*

**Адрес редакции:**

В. Markovskyi, Korn Str. 22  
28201 Bremen, Deutschland  
e-mail: borismark30@T-Online.de  
<http://www.kreschatik.kiev.ua/>  
<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»  
192029, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год  
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2018 г.  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

## Поэзия

|  |                                    |     |
|--|------------------------------------|-----|
| Владимир Гандельсман / <i>Нью-Йорк</i> / | Сегодня                            | 5   |
| Вадим Перельмутер / <i>Мюнхен</i> /      | Хоккутанки                         | 71  |
| Валерий Мишин / <i>СПб.</i> /            | Прямо сейчас                       | 88  |
| Ефим Бершин / <i>Москва</i> /            | Монолог осколка                    | 134 |
| Бахтияр Исламов / <i>Алматы</i> /        | Призраки смыслов                   | 164 |
| Ал Пантелят / <i>Харьков</i> /           | Будто два цветка                   | 180 |
| Игорь Джерри Курас / <i>Бостон</i> /     | Ночная пастораль                   | 189 |
| Надя Делаланд / <i>Москва</i> /          | «Мерцающее утро...»                | 199 |
| Галина Комичева / <i>Киев</i> /          | «Так много дней уже не слышу я...» | 205 |
| Татьяна Вольтская / <i>СПб.</i> /        | «Как широкий свитер складчатый...» | 213 |
| Дмитрий Близнюк / <i>Харьков</i> /       | «Я люблю женщину...»               | 244 |
| Виталий Шнайдер / <i>Ганновер</i> /      | «Попытка романа»                   | 249 |
| Дана Курская / <i>Москва</i> /           | Мезозой                            | 255 |
| Сергей Шабалин / <i>Нью-Йорк</i> /       | Авиамоторная                       | 286 |

## Проза

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Владимир Арро / <i>Майнц</i> /          | Благо жизни. <i>Повесть</i>                | 10  |
| Элина Свенцицкая / <i>Киев-Донецк</i> / | Никому и никогда. <i>Рассказы</i>          | 76  |
| Виктор Бонч-Баггоут / <i>Москва</i> /   | Римлянин с Лукьяновки                      | 94  |
| Анатолий Николин / <i>Мариуполь</i> /   | Лето тигровых лилий. <i>Повесть</i>        | 139 |
| Александр Ломтев / <i>Саров</i> /       | Странные истории. <i>Короткие рассказы</i> | 173 |
| Лера Клещук / <i>СПб.</i> /             | Вспышка. <i>Рассказы</i>                   | 183 |
| Татьяна Троицкая / <i>Харьков</i> /     | Скол. <i>Рассказ</i>                       | 194 |
| Григорий Вахлис / <i>Иерусалим</i> /    | Сентябрь. <i>Два рассказа</i>              | 202 |
| Ася Умарова / <i>с. Пролетарское</i> /  | Эпсией. <i>Рассказ</i>                     | 207 |
| Наум Вайман / <i>Тель-Авив</i> /        | «Ханаанские хроники. Архив третий»         | 217 |
| Владимир Порудоминский / <i>Кёльн</i> / | Где мой черный пистолет? <i>Рассказ</i>    | 236 |

## Переводы

|   |                                    |     |
|---|------------------------------------|-----|
| Зузана Куглерова / <i>Братислава</i> /<br><i>Пер. со словацкого Вл. Коркунова</i> | Баллада. <i>Стихи</i>              | 278 |
| Остап Сливинский / <i>Львов</i> /<br><i>Пер. с украинского С. Бельского</i>       | Неопределённая форма. <i>Стихи</i> | 282 |

## Вернисаж

Николай Сологуб / Киев / О художниках 226

## Контексты:

### эссеистика, критика, библиография

|                                     |                                   |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Влада Володина / Рязань /           | Каменный гость                    | 247 |
| Анатолий Михайлов / СПб. /          | Один. Фрагмент письма             | 252 |
| Владимир Алейников / Москва /       | Художник Пётр Беленок             | 257 |
| Игорь Бондарь-Терещенко / Харьков / | Оракул из страны советов          | 284 |
| Илья Иослович / Хайфа /             | Горбаневская и Максимова          | 288 |
| Кестутис Навакас / Каунас /         | Семь одиночеств                   | 295 |
| Евсей Цейтлин / Чикаго /            | Мир по дороге домой               |     |
| Сергей Юрьенен / Нью-Йорк /         | Беседа Е. Цейтлина с С. Юрьененом | 301 |

## Латинский квартал

|                              |                    |     |
|------------------------------|--------------------|-----|
| Дмитрий Верещагин / Москва / | Ещё раз про любовь | 316 |
| Николай Сологуб / Киев /     | Хроники Нивкина    | 320 |



## Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

/ Нью-Йорк /

### СЕГОДНЯ

От всех слепящих клёнов и осин,  
от воздуха чуть горького на вкус,  
от осени — так непереносим,  
свет при секундном страхе! — заслонюсь.  
Не обещал тебе и никому  
не обещал я славить этот мир,  
который на просвет являет тьму.  
Тлетворный страх — мой верный конвоир.  
Что смерть? Ничто? Ни тела, ни души?  
Ни осенённых позолотой дней?  
Не окна в сад сегодня хороши,  
а шторы потемней и поплотней.  
Зато теперь, глотая темноту,  
узнаешь из придонного угла,  
чего лишён живущий на свету:  
тоски по дням последнего тепла.

### НЬЮ-ЙОРКСКИЙ САБВЕЙ

1

Опаздывающий, в лохмотьях  
проклятий, вбегает, капли  
пота... «О, ниспошли росу...», —  
молитву о братьях  
шепчет хасид под вопли  
вертящихся на весу

из Гарлема гуттаперчевых,  
бродячих, лилово-чёрных,  
зыркающих хитро,  
на стойках и поперечинах  
вертящихся, сорных  
акробатов метро.

Китаец и китаянка  
планетоподобными лицами  
сближаются, и гремит  
бомжа-побирушки жестянка.  
Расставив ножища, полиция  
родину не посрамит.

Грядки круглоголовые —  
то спящие луковки слёзные,  
то крупные кочаны,  
наушниками подкованные,  
то грецкие скрупулёзные  
скорлупы — летят в ночи.

Покачивается в стойле  
жующий, в корытце плова  
уткнутый, в жиру,  
лоснящийся, счастья полный,  
а между тем любовную  
продолжая игру,

чащобу волос китайца  
острым взглядом прочёсывая,  
подруга стремглав  
впивает в чащобу пальцы.  
Огни разлетаются осами.  
Содрогающийся состав.

«Грядёт!» — в упоении  
глашатай второго пришествия  
окатывает вагон,  
и с пеной у рта это пение  
несётся, безумие чувствуя,  
выбегающему вдогон.

2

Как если бы пронёсся ветер,  
ребячьим, а скорей — дитячьим

разорванное смехом-плачем  
откроется пространство, метр  
за метром, и уже танцует сидя негр,  
стуча в том-том, божок подземных недр,

качается вагона люлька  
(с клюкой калека носом клюй-ка),  
рабочий, как из уличного люка, —  
из выреза спецовки, дальше клерк —  
лицо белее штукатурки, — гулко  
мир в сердце чьём-то отзовется, щедр.

## ОСЕНЬ

Проглаживают простыню реки  
нетонущие утюги,  
и невидимый ветер  
отражением в Лете  
тянет по небу облачные тюки.

В кронах пробегает сеттер  
рыжий или рыже-серый,  
и смерть как расплата за жизнь,  
чьей щедростью не дорожишь,  
видится полумерой.

## БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА И ЦИРК

умирая  
белой боли палата  
мерить море по льду замирая  
плаха лунного пола полночные полы халата

Огоньки вокруг ёлочки,  
одетой с иголки,  
прыгают детей собачки,  
ждут подарочной подачи,  
в очереди в антракте,  
в запахе манежа цирк затеян,  
из входных дверей, открытых ради  
вдоха, воздухом зимы провеян.

сквозь матовую стену в сером  
санитары говор  
и смешок и перекур и чем-то серным  
тянет пациент из первой загляни не помер

Топчутся на снегу они,  
гул, огни,  
будет вам второе отделение,  
ах, какое праздничное отдаление,  
если тут, немедля,  
приближение: оркестрик грянул,  
музыка под куполом ли, свет ли,  
взрыв ли разноцветных гранул.

плач безвольный  
ни родни кругом чтоб руку  
птица-капельница игольный  
клюв вонзила в кровь идёт по кругу

Выезд — луч — эквилибриста:  
быстро, быстро  
он бежит, блестя на шаре,  
изгибаясь, в воздухе руками шаря,  
маг за ним с помощницей на стуле —  
простыней накроет, два-три пасса,  
сдёргивает — никого, надули!  
а была живого тела масса.

память из палаты выйдет  
перед новым годом  
как огонь бенгальский для того кто видит  
кто из тех же непостижных блёсток родом

## **РАЙ**

Всё высветилось и — предстало.  
Стих уличный гул.  
За шиворот капля упала.  
Прохожий на ветку взглянул.

Сегодня им не разминуться,  
прохожему с каплей, и вот  
какие-то дети смеются.  
Какая-то краля идёт.

---

На тоненьких ножках, с котёнком  
в руках, поспешает она,  
и лёгкой приправою к тонким  
добавлена чуть кривизна.

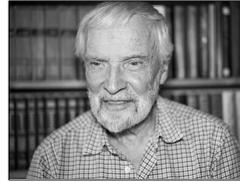
Ей вслед — так игрива походка —  
присвистнул строитель с лесов,  
и счастливо дышит красotka,  
не ведающая часов.

День солнца и ласковых выдач  
упавшего с неба тепла.  
Не так ли, Борис Леонидыч?  
За шиворот капля стекла.

Снежок возле дерева талый,  
и песню заводит свою  
улыбчивый нищий: «Пожалуй,  
я умер, поскольку — в раю».

# Владимир АРРО

/ Майнц /



## БЛАГО ЖИЗНИ (Записки бездыханного)

4 марта 2017 г.

Со вчерашнего вечера — в Университетской клинике Майнца по красной кнопке. Кончилось дыхание, ничего не помогало, лез на стену. Еще сомневались — нажимать, не нажимать. Ленинградские манеры: не тревожить людей; пока приедут, само пройдет. Были через 5 минут с кислородом, с каталкой два амбала из «Мальтузианской скорой помощи» — люстра меж их головами качалась. Уложили на каталку и повезли без разговоров. Дыхательный спазм.

Сначала — палата реанимации, над головой много аппаратуры, — всё мерцает, потрескивает, экраны постоянно выводят графики, меняются цифры... Лежал один, весь опутанный пластиковыми трубками, рядом на стойке капельница — два флакона. Аппарат искусственного дыхания — чистили легкие несколько раз. Постоянно кислород идет через ноздри. Прикатали на тележке тяжелый рентгеновский аппарат. Молодая женщина-врач говорила с дочерью Ксенией по телефону. У меня инфекция в легком. Результат исследования будет в понедельник. Пока дают антибиотик от бактерий, но, может быть, там засел вирус. Это такой грипп, говорит она. У нормальных людей он проходит быстро. У злостных курильщиков, как ваш папаша, всё намного сложнее. Да еще онкологическая операция на легком шесть лет назад даром не прошла. Одним словом, обращаться за помощью таким больным надо заблаговременно. Всё висело на волоске...

\* \* \*

В соседней палате какой-то араб в паузах между надрывным кашлем протяжно звал: — Али-и!.. Али-и-и!.. Оказалось — жену из холла — их не пускают. Галя до поры тоже сидела там, потом ушла за вещами. Возможно, Козьма Прутков когда-то тоже был в такой ситуации. Иначе с чего бы он написал:

На мягкой кровати лежу я один.  
В соседней палате кричит армянин.

\* \* \*

В комнату по ошибке зашла старуха — беззубая, в космах, страшная, как смерть. Я даже закричал на неё: — Фальшь! Фальшь! (Что значит — ошибка.) Она, помешкав, ушла. Вот так однажды начнешь выгонять, а она останется.

\* \* \*

Вместе с Галей приехали Ольга с Дайной, наши помощницы. Кажется, в семье наблюдается рождение новой традиции — чуть угроза жизни — устраивать в палате реанимации небольшой балаган. Началось это после той операции, когда, едва очухавшись от наркоза, я сказал голосом позднего Брежнева (а на самом деле, подражая любимому артисту Шакурову): — Испытываю глубокое удовлетворение. — Сказал — и снова заснул. Жена и сын не удержались от смеха, вызвав неодобрение окружающих. Вот и сейчас соседи, наверное, думают: чего они там хохочут, когда человек концы отдаёт. Галля: — Пасту тебе привезла, щетку... — А зубы? — Какие зубы? У тебя разве не с собой? — Какие получше с собой, а похуже — на полке. — Ха-ха-ха!.. Поезжай за зубами, а то и не поесть будет. — Зато я тебе трусы, майки положила. — Какие майки! Ты меня в пионерлагерь, что ли, отправляешь? — Ха-ха-ха! — Отдал жену на осмеяние, бедную мою Галю. А кто меня этих шесть лет, с прошлой больницы, берёт? Забывчивая...

Сам тоже хорош: на дочкину свадьбу ехал, новый пиджак в машину положил, а брюки оставил. Был в летних, белых. Явился на торжество в Витиных штанах, речь говорил, а низ еле прикрыт, не застегивается. Что новые родственники подумали? Речь была всего лишь одна. Обед — без музыки, под лязг столового серебра и дребезжанье посуды. Без криков «горько». Без танцев. Таковы здешние правила. Такова *система*. Пожалуй, я в нее в тот день не вошел. Хотя за речь меня многие хвалили.

\* \* \*

Вечером перевели наверх, в отделение пульмонологии, в отдельную палату, так как я, вероятно, носитель чего-то, опасного для других больных. Ко мне вход только в маске, халате и перчатках. Дней 10 пробуду здесь, потом, как говорят, реабилитация в другом городе.

Поздно вечером, по пути с дачи, приехали дочь Ксения с Жилем, как я их не отговаривал по телефону. Нашли дежурного врача, та взяла документы и быстро вошла в курс дела. Минут 20 объясняла особенности моего гриппа. Лёгкие ослаблены операцией, говорит она, многолетним курением, поэтому злодею легче осваиваться и выживать. Почему надо лежать: бациллы (?) при сотрясении начинают размножаться. Ничто их не берёт. А так, при

покое, уходят сами. Куда — я так и не понял. Сказала (уже вторая!), что напрасно не бил тревогу раньше, жизнь моя вчера была на волоске. Деликатность подвела, главная наша ленинградская ценность. (Хотя в иных случаях я субъект довольно бесцеремонный). Дети уехали в темноте. Зять включил мне приемник, настроил на волну HR-2, любимую мою радиостанцию «Культура» (Жила — тоже!), и теперь в палате негромко звучит классическая музыка, ангельский (или — архангельский?) звуковой фон мира сущего, который являет себя так и этак.

*5 марта 2017 г.*

Ночью много писал. Но и писал — капельница качает в меня раствор литрами. В больнице, как всегда, просыпается творческая активность. Как сигнал Ему: ну, погоди, не спеши, дай пожить, может быть, еще пригожусь! Буду вести хронику, а в параллель записывать житейские байки, какие придут в голову. А там, глядишь, посетят важные мысли. Может, на что полезное и набреду. А для чего Ты создал нас, если не для рефлексии, Отче?

## БЛАГО ЖИЗНИ

Значит, так, думал я, пытаюсь осмыслить свое положение: не сколько часов назад, судя по всему, меня чуть не покинуло благо жизни. А что же это такое, что называется не только благом, но и чудом? Не иначе, как взаимодействие органов, а вернее, животворящих систем. Кровеносная система, так?.. Нервная. Системы питания, выделения, размножения... Ничего не забыл?.. А также и органы чувств... Всё это, наверное, и составляет понятие «благо жизни». Но живут же люди без почки, с пересаженным сердцем, искусственным кровеносным сосудом. А уж тем более, без зрения, слуха и прочих чудес. Мнится мне, что в конце жизни мы похожи на судно, попавшее в шторм и вынужденное сбрасывать в море всё, что мешает движению. Кто сбрасывает желчный пузырь, кто простату, кто почку, кто ногу или глаз. Всё это наше родное, кровное, данное Богом навсегда, и всего жаль. Но тут, лёжа под кислородом, я понял, что главное благо жизни, которое Он нам дал, это дыхание. Дух. Его не удалишь, не пересадишь, не заменишь протезом. (Искусственные легкие это, как я себе представляю, чудо техники — вне организма). Нет, с дыханием природа не предусмотрела компромиссных решений. Даруя его, Бог запускает в действие всю жизненную систему. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Если Бог забирает, допустим, глаза, то он многое оставляет. Если же забирает дыхание — значит, берёт всё. И тогда говорят: «Испустил дух».

\* \* \*

А у меня в палате ночью, оказывается, даже уютненько: мягкое пятно света от экрана какого-то прибора, укрепленного на стойке — как раз достаёт до моей тетради. Тихий классический джаз по HR-2. А из темного угла доносятся знакомые до боли чмокающие звуки — будто там лежит калачиком мой эрдель Аксель и яйца свои вылизывает. Это в склянке бурлит, пузырится кислород, который через ноздри поступает в легкие, где его не хватает. Ну, что ж, Олег Ефремов с кислородными трубочками театром руководил. А уж перышком скрипеть они никак не помешают.

Теперь я понимаю, что имели в виду начальники, когда в прежние времена уговаривали меня переделать то одну, то другую пьесу: — Ну, сделайте это, что вам стоит. А то ведь как может получиться — перекроют вам кислород годика на два... Зачем вам это надо?

\* \* \*

Лёгкие — материя эфемерная. Как утренняя паутина. Как фуги Баха. Как хорошая пьеса. (Ай, молодца, — красиво сказал!) Альвеолы — вообще звучит, как цветы, например, анемоны — кажется, в них и плоти нет, один дух. Даже не верится, что всё это можно было создать из глины. Лёгкие — единственный вид потрохов, из которого и блюда не приготовишь, так мало в них плоти. Слышал, что идут у хороших хозяек в пироги. Не знаю, не пробовал. И не собираюсь. Говяжьки лёгкие покупал на Мальцевском рынке для Акселя. Часть варил, часть упрятывал в морозильник. Он ел с удовольствием. Перед нашим отъездом с продуктами в Петербурге было плохо. Мы мясо не ели. Только для Акселя покупали либо легкие, либо мясные обрезки. И тем и другим сами пренебрегали. Но наперед никогда не знаешь, что доведется съесть.

## О СУБПРОДУКТАХ

В Афинах нашу маленькую делегацию местные драматурги однажды повели в популярный ресторан, который специализировался на блюдах из субпродуктов. Делегация-то наша была всего из двух человек. Виктор Сергеевич Розов представлял старшее поколение драматургов тогда еще Советской страны. Я, судя по всему, был включен в делегацию как персонаж не то чтобы молодого, но нового поколения этой профессии — на молодого я никак не тянул. С нами была еще молодая дама, представительница Общества охраны авторских прав, которое и организовало нашу поездку.

Хозяева старательно читали меню, переводчик переводил. Тут были традиционные блюда из потрохов разных животных и птиц. Попадались и экзотические, изготовленные из хвостов, ушей, языков, губ, вымени и прочих частей организма. На какой-то позиции

хозяева переглянулись. — А это что? — спросил приметливый Виктор Сергеевич. — Переводчик склонился к нему и что-то сказал. — Ага, понятно, — удовлетворенно отреагировал Розов. — А от какого животного? — От быка. — Ну, так что будете есть? — завершив чтение, спросили хозяева. Получалось, что в пищу не идут только рога и копыта. — А вот это самое... от быка и попробую, — сказал Виктор Сергеевич.

Мы с Виктором Сергеевичем Розовым исповедовали довольно различные взгляды на драматургию, хотя я и считался его учеником, поскольку когда-то посещал его семинар на Высших литературных курсах. Здесь, конечно, не место вдаваться в подробности, к тому же в книге о театре (*«Занавес открывается»*. М., 2012) я уже об этом писал. Но тут я почувствовал, что наши вкусы решительно сходятся. И терпеливо ожидавшим греческим драматургам сказал: — То же, что и Виктор Сергеевич. — А вы? — обратились они к даме. — Она, скромно потупившись, заказала что-то из куриной печенки.

В продолжение трапезы спутница наша с какой-то смущенной насмешкой на нас поглядывала. — Как печенка? — спросил безжалостный Розов. — Так себе, сказала она. — Обыкновенно. Как в Москве. — Вернетесь из Греции в родное учреждение и рассказать будет нечего. — Мы молча ели. В ней шла борьба, это было видно невооруженным глазом. Видимо, она размышляла: что больше нанесет ущерба ее имиджу — то, что она *это* ела или что она *этого* не ела. ВААП ведь организация строгая. — Это хоть съедобно? — спросила она. Розов сказал: — Вы же видите, с каким увлечением Володя уплетает. Да и мне нравится. — По ее лицу было видно, как затухает в ней схватка дамских приличий и человеческой любознательности, рушатся последние между ними преграды. И вот они рухнули. — Ну, тогда скажите, пусть принесут и мне. А можно полпорции? — Половину нельзя, — строго сказал Розов. — Только целый.

Так что зарекаться не следует. Жизнь всему научит. Можно сказать, нам еще повезло. Едят же другие делегации улиток, червей и жуков.

*6 марта 2017 г.*

Идут ко мне врачеватели и идут, сменяя друг друга. Кто с градусником, кто с лекарством, кто с уколом. С уборкой, меню, ингалятором. Как и в прошлые мои больничные посещения, начинает казаться, что я здесь единственный пациент, а не один из многих. И что вообще немецкой медицине ни до кого нет дела, кроме меня. Входить ко мне можно только в плаще, шапочке, перчатках и в маске — всё салатного цвета. Одноразового пользования. Одеваются строго в прихожей. Лиц я не вижу, тем более улыбок. Но по глазам понимаю — люди приветливы и желают мне только добра. Так и хочется сказать иной посетительнице: открой личико! Но боюсь, что в

немецком переводе это бы не произвело впечатления. Тем более, что фраза вообще не укладывалась в здешнюю *систему* отношений. Могли бы истолковать ее как сексуальное домогательство. Всё равно, как девушку по заду похлопать. А я знаю, как в Европе к этому русскому развлечению серьезно относятся. И не посмотрели бы, что пациенту почти 85 лет и что он дышит на ладан. А не преступай. Держись на почтительном расстоянии. Такова *система*.

\* \* \*

Пишу себе — днем и ночью, как графоман. Тишина, покой. Кислород поступает. Я сам по себе, болезнь сама по себе. Кричу жене в телефон: — Как в Комарово. — Какая корова? — Да нет, Ко-ма-ро-во! — Почему дура? — Я говорю: процедура!.. — Курорт! — Что за урод?.. — Ну, что поделаешь, мы иногда и без телефона с нею друг друга не понимаем.

#### КАК РАСПАЛСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Мне кажется, человек в моем положении, ничем не озабоченный, вполне может позволить себе записывать всё, что придет в голову. Давно собирался поразмышлять над своей жизнью в Германии. Но как-то не получалось. Возьмешься, бывало, за какой-нибудь эпизод или за какую-то тему, и вскоре откладываешь: нет, пожалуй, немцы обидятся. А потом за другую — и с тем же результатом: нелзя, русские могут обидеться. А когда за третью, то и вовсе в тот же момент спохватываешься: ой, не дай бог, евреи обидятся! А это вообще уже плохой тон — обидеть евреев в Германии. Тем более и сам имеешь к этой нации отношение, а в характере повышенную обидчивость. Но вот в этой истории никому не будет обидно — всем достанется поровну.

Тут ведь как: приезжаешь и оказываешься в водовороте беспкойства и неустроенности народов. Люди ищут в Европе место, где можно устроиться, чтобы почувствовать себя человеком. Чтобы работать, желательно, по специальности. Чтобы семья была в безопасности. Дети чтобы учились и радовались. Жена чтобы приоделась и, наконец, почувствовала себя женщиной. Многие по этим соображениям облюбовали себе Германию. Тем более, что тут процветает идея мультикультурализма, то есть, равенства всех культур. Не без проблем, конечно, но — в общем и целом. Кого только тут нет. У жены на языковых курсах были пришельцы из Турции, Ирака, Югославии, Украины, Молдавии, Казахстана. Не говоря уже о России. Вот и у нашей семьи помаленьку сложился круг друзей-приятелей, представителей разных этносов. Все национальные обиды остались у них позади, торжествовала дружба народов, европейские ценности — идеи толерантности, демократии и просвещения.

А вот — как бы ни так! Что-то, видно, все-таки нас подтачивало, саднило, какие-то старые болячки не заживали. А многие обиды и впрямь нельзя было простить. И не успели мы оглянуться, как все разошлись по национальным квартирам. Первым оскоромился мой друг, профессор из Москвы, еврей, всю жизнь писавший в паспорте «русский». Ну что ж, я тоже был русским по паспорту, а в отличие от профессора, и по менталитету. И у него, и у меня были русские жены. Но самое главное, что позволяло нам считать себя русскими — это культура, язык, русская словесность, вошедшие в кровь и в плоть, а не то, чтобы кое-как усвоенные. И вот он принес статью «Евреи в науке». — То есть, как? — спросил я, — при чем тут евреи? Ты же европейский ученый и, по-моему, всегда утверждал, что наука не имеет национальных границ. Физика твоя любимая, химия, физиология... — Это да. Но игнорировать особую роль евреев в мировых научных открытиях тоже неправильно, — ответил профессор. И зачитал свое сочинение мне, а потом и в еврейской общине.

Затем проявился другой наш друг, обрусевший немец, приехавший со своей женой-гречанкой из Казахстана — еще недавно он был там директором школы. — Как так? — время от времени вопрошал он. — Мы, этнические немцы, приехали на свою историческую родину, получили гражданство... А кто преуспевает?.. Особенно в устройстве детей?.. Те, кто имеет лишь вид на жительство. — И найдя единомышленников, стал издавать — журнал на двух языках — немецком и русском. — Что же ты делаешь! — взывал я к нему. — Ведь тебя же используют! Пламя потушено, но головешка зловонная ведь еще тлеет. — Нет-нет, — отвечал он, — у нас вовсе не национализм, а просто национальное достоинство, и разгуляться националистам я не позволю... — Его не спросили. И моргнуть не успел — они тут как тут. Больше тысячи подписчиков журнал не нашел и через несколько лет закончил свое существование.

А третья наша подруга, скрипачка из Тбилиси, — «восьмого — восьмого», когда российские танки чуть не дошли до ее родного города, пришла к нам в слезах. — Всё! Не хочу больше ничего о России слышать!.. — И заиграла на скрипке песню про «Тбилисо». — Но вас это не касается, вас я всегда буду любить. — Тогда многие грузины, прежде любившие нас и любимые нами, высказались в таком духе. Их можно было понять.

— Ну, что ж, — сказал я жене, — распался наш интернационал. Остались мы только вдвоем без обид и предубеждений. Будем жить, храня свои ценности. Они у нас общие, не правда ли?.. — Так и жили, гордясь своей широтой и терпимостью. Особенно я — как старый борец с угнетением малых народов.

А в какой-то вечер жена вбежала в мою комнату и закричала: — Ура-а!.. Крым — наш! — Как это ваш? — спросил я. — А вот только что передали: Крым вошел в состав России. — Позволь, но он

же принадлежит Украине! — Мало ли что, Севастополь — город русской боевой славы!.. А Ялта? А Коктебель?.. Причем тут Украина?.. — И я понял, что остался один.

И тогда я вышел на Домскую площадь, встал возле колонны посредине под яркими звездами и хотел запеть «Интернационал». Но опыт мне подсказал, что эта песня, хоть и волнует, но до добра не доводит. И тогда я запел «Оду к радости» Шиллера и Бетховена, изображая из себя и солистов, и хор.

— Радость, пламя неземное,  
Райский дух, слетевший к нам,  
Опьянённые тобою,  
Мы вошли в твой светлый храм.  
Ты сближаешь без усилия  
Всех разрозненных враждой,  
Там, где ты раскинешь крылья,  
Люди — братья меж собой!..

Мне показалось, что люди, бродившие по краям площади и в боковых переулках, идут на мой голос, а скорее, на знакомую всем мелодию — и подхватывают ее, вплетают в пение и свои голоса. И вот уже вся площадь поет:

Обнимитесь, миллионы!  
Слейтесь в радости одной!  
Там, над звёздной страной, —  
Бог, в любви пресуществлённый!..

К концу пения, я обнаружил, что остался один.

Да ну его к черту, думал я. Чего городить помпезные гимны. Не всем они понятны. Не каждому по душе. Есть и проще варианты. Например:

Русский, немец и поляк  
Танцевали краковяк.  
Русский вытащил бутылку.  
Хлоп поляку по затылку!  
Немец вытащил наган,  
Хлоп поляку по зубам!..

Ну, а дальше — кто чего знает.

Слушайте, а это не про пакт Молотова-Рибентропа, когда немцы и русские договорились растащить Польшу? Но русским и немцам тогда тоже досталось.

\* \* \*

Приходила Ольга. Оказывается, Галя минувшей ночью побывала здесь же, в приемном покое, по «скорой». Сделали рентген —

чисто. Кровь — в норме. Грипп кончился, вирус побежден, но кашель и болезненное состояние будут еще долго — вот такие следы. Нужно лежать. Отпустили домой. Будем лежать оба, я здесь, она, слава Богу, — дома. Без помощи ее не оставят. Перенервничала из-за меня, сейчас, по словам Ольги, успокоилась. Вообще Галя, человек с виду спокойный, подвержена эмоциональным срывам в ситуациях самых заурядных. Скажем, во время футбольного репортажа. Или на вокзале. Или в ожидании гостей. А уж на моем творческом вечере когда-то, в доме писателей, была в полуобморочном состоянии, и выдержала лишь потому, что рядом сидела врач, наша приятельница, и держала ее за руку.

\* \* \*

Сюжет в духе фэнтэзи. Три планеты одной и той же системы, населенные людьми. На одной построили коммунизм. На другой царит капитализм. Но нет в мире совершенства, а потому существует преступность, нарушение запретов и норм. Ни там, ни здесь нет мест заключения: режимы гуманны. Преступивших и недовольных ссылают на третью планету — между ними. Плохо понимают, что там происходит, обследуют только с орбиты с помощью аппаратуры. Высадиться боятся. А когда случается вынужденная посадка, с удивлением обнаруживают, что там живут нормальные люди, благонамеренные и свободолюбивые. И нет у них никаких конфликтов, тем паче войн, в отличие от тех двух планет...

Или кто-то вроде нас — ни пойми что?

Писать не буду. Фэнтэзи — не мой жанр. Получится что-нибудь вроде «Багрового острова», который я недолюбиваю. Подарю кому-нибудь.

*7 марта 2017 г.*

Приходил врач типа «профессор», с особенными немецкими «понтами», в сопровождении русскоязычной медсестры Елизаветы из Караганды. Ничего у меня нет, никакого лихоимца коварного — просто воспаление легких на фоне недостатка кислорода в крови. Будут продолжать лечение антибиотиками через капельницу и вентиляцией легких. Для пациентов я более не опасен. А потому выкатили меня из одиночной палаты и перевезли в соседнюю, четырехместную.

\* \* \*

Знакомый мне коммунально-больничный быт — дружелюбный, слегка ироничный, заботливый. Вот и сейчас, едва я поплелся в уборную, держась за стойку на колесиках и волоча за собой шлейф из прозрачных трубок, — несколько голосов крикнули: — Ахтунг!

Ахтунг!.. — Два старика и один — на соседней кровати — мужчина средних лет, похоже, взявший надо мной шефство, невзирая на мои речевые каракули. Да уж не самый ли я старый в палате? Видимо, самый. Но не исключено, что одновременно и самый молодой.

Палата просторная, никто никому не мешает. Никаких запахов, никакой духоты. Всё налажено по лучшим европейским стандартам. Кровати запрограммированы на разные конфигурации. У каждого свой телевизор с наушниками. Над головами целая плата тумблеров и разъемов. Братья и сестры одаривают улыбками и душевной заботой. И всё же я заскучал по своему одиночеству — и по музыке, и по приглушенному свету, и по ночным писательским бдениям. А главное — по Акселю, который как будто лежит в углу и яйца себе вылизывает. Здесь тоже бурлящая, кипящая склянка гонит мне кислород в легкие, но она прямо над головой и эффекта такого не производит.

### ПРО АКСЕЛЯ

Из нас троих, собравшихся переехать на жительство в немецкую землю, ни один не имел ни малейших немецких корней. Было, правда, семейное предание, будто бы дальний предок моего отца по линии его мамы (моей бабушки) Амалии по фамилии Мольд пришел когда-то из тех краев в качестве оруженосца немецкого рыцаря, да так и осел. Настолько осел, что даже и погрузился, смешался с эстонцами. И когда в конце девятнадцатого века семье Мольд дали землю за Нарвой, в Петербургской губернии, как тогда многим давали, то им предложили вместе со сменой местожительства сменить и фамилию, чтобы было легче ассимилироваться. Так они стали Молодовыми. Но мы ехали в Германию по другой моей линии — по материнской.

А четвертый член семьи — эрдельтерьер Аксель имел немецкие корни, и не просто имел, а был элитой германского собачьего племени. Он был рожден знаменитой Пармой, а та, в свою очередь, была дочерью легендарной Женни, а та имела предком великую Бэсс, а в Бэсс текла кровь незабвенной Катьи и так далее и так далее, вероятно, вплоть до кайзеровских времен, уж не знаю, когда первых эрделей завезли на немецкую землю с их родины — Великобритании. И полное его имя было по документам — спокойно! — Аксель фон дер Хайнрихсбург.

И вот его мы решили оставить. Он жил с нами уже семь лет — больше половины назначенного ему собачьего века. Он был полноценным членом семьи, отзывчивым и чутким, назначив себе достойное, но и не последнее место в семейной иерархии. В нашей, по его представлениям, стае — он был вторым. После хозяина-вожака. И стоило хозяину уехать в командировку, как он без промедления, но и не суетясь, занимал хозяйское спальное место, положенное по су-

бординации первому — кушетку, предусмотрительно застеленную специальной накидкой, но с подушкой. В присутствии вожака он себе этого не позволял.

При всех непреодолимых различиях, мы были душевно близки. Из свойственных ему качеств характера, были и такие, которыми мы, к сожалению, не могли похвастаться: решительность, коммуникабельность, уверенность в себе. Но был и общий для нас недостаток — упрямство. Одним словом, — в семье как в семье.

И вот решено было его оставить. Не потому, что мы этого хотели, а потому, что, как нам объяснили, мы были вынуждены. Там, куда мы ехали, нам предстояло несколько месяцев, а то и до года жить то ли в гостинице, то ли в общежитии квартирного типа, где нахождение домашних животных решительно возбранялось. Дети работают — к ним тоже его не поселишь. Ну, что делать?! Что дела-ать?!

И вот мы принялись от него отвыкать — по всем правилам предательства — скрепя сердце, притушив фибры души. Отводя взгляд, когда он, что-то чуя, заглядывал нам в глаза. Казалось, он спрашивал: «Что, вот это барахло вы заберете с собой, а меня оставите?»

Мы стали искать ему другого хозяина. Товарищ по профессии, тоже собачник, войдя в наше положение, порекомендовал мать с девочкой двенадцати лет, которые недавно потеряли собаку. Они к нам пришли, познакомились, посидели. Друг другу, вроде, понравились. А потом мы все пошли погулять. Немного погодя, я передал поводок девочке и пошел с ней рядом. Аксель тянул вперед. — Нравится тебе Аксель? — спросил я. — Да, нравится, — сказала она. — А вот ваш Саня так бы не поступил. — «Какой еще Саня», — подумал я и тут понял, что она имеет в виду героя моей книги «Мой старый дом». — Ты думаешь? — спросил я как можно равнодушной и перенял поводок у девочки, моей читательницы. И уже понимал, что в этот миг судьба Акселя была решена. Мне никогда так не было стыдно. Я чуть не заплакал, сраженный этим детски-наивным, но совершенно убийственным доводом: ты, дядька, как нас учил?!

Ну что ж, — думал я — будем спать в парке — я на скамейке, он возле меня, на подстилке из веток. А то палатку поставим. Лето обещают теплое. Как-нибудь проживем с грехом пополам. Зато не расстанемся.

В парке нам спать не пришлось. В первый же день Акселя увезли в семью Алексея, старшего сына. Там он и прожил в любви и заботе два месяца. Моя невестка Оксана брала его с собой на работу: она ехала на велосипеде, а он трюхал рядом. Трое моих внуков, когда позволяла школа, принимали его на свое попечение. Так и продолжалось, пока мы не получили квартиру. С нами он прожил в любви и заботе еще пять лет.

\* \* \*

Мой «молодой» сосед, которому оказалось 65 лет, постоянно отдает кому-то распоряжения по телефону. Иногда это звучит как выговор, иногда как пространное нравоучение. Со мной он добродушен и немногословен. Да ведь со мной особо и не поговоришь.

Возле окна располагается красивый старик с седой опрятной бородкой. В ногах его, повернутое спинкой к нам, стоит кресло, в котором день напролет сидит жена его и, видимо, своим красавцем любит. Возле них на подоконнике стоит круглое зеркало в металлической рамке. И больше ничего нет. Для меня это стало загадкой. Что мы берем с собой, когда за нами приезжает «Скорая помощь»? Или при пожаре? Всё, что угодно, но только не зеркало. Не знаю, я бы не взял.

Второй старик, еще более благообразный, с удлиненным горбоносим лицом, лежит на подушке в профиль, и выглядит так значительно, что с него можно лепить барельеф. На первый взгляд есть в нем что-то имперское, высокомерное. Такие лица помещают на денежные купюры высокого достоинства. Или на медали. Но когда замечаешь, какую чужь он смотрит в постоянно включенном окне телевизора, понимаешь, что не надо усложнять.

Вообще все три моих соседа — славные люди, благонамеренные граждане, и я ничего против них не имею. Если уж по справедливости говорить — я из них уязвимее всех: без гражданства, без языка. Не только самый старый, но и самый вредный старикашка: всё замечаю и всё записываю.

\* \* \*

Ко мне подсел долговязый молодой человек в зеленом халате с длинными волосами, собранными на затылке в пучок. — Меня зовут Штефан, — душевно проговорил он, разделяя слова и тщательно их артикулируя, как если бы я был инопланетянином, не знающим никакого языка. Но я и так хорошо его понимал: он «медбрат» этой палаты и готов прийти мне на помощь в любую минуту, стоит лишь нажать на эту кнопку. Голос его звучал негромко и вкрадчиво и что-то он мне напоминал... Ах, да вот что!.. Много лет назад на Всесоюзном радио, в детской редакции, работал артист Николай Литвинов. Он подходил к микрофону и вот таким же душевным, вкрадчивым голосом обращался ко всем детям страны и к каждому в отдельности: — Здравствуй, мой маленький друг! А сейчас я расскажу тебе сказку... — Ну, конечно, это был он, милый и добрый сказочник.

А медсестра, смуглая стройная девушка второй молодости, остановившись вблизи моей кровати, сделала книксен. И представилась: — Мишалина. — Мессалина? — спросил я. — Найд! — поморщилась она. — Мишалина!..

8 марта 2017 г.

Утром эта сладкая парочка — Стефан и Мишалина — устроили в палате маленький ураган или что-то вроде танцевального шоу. Они двинулись от одного пациента к другому, как шаровые молнии, вспыхивая и затухая, пересекаясь и плавно обтекая друг друга, совершая необходимые замеры и процедуры. Лица их были вдохновенны и приветливы, как в утро светлого Христова праздника, движения рук пластичны и неторопливы. Халат Стефана развевался, но едва он приблизился к моей кровати, движения его и речь пришли в неспешное и вкрадчивое состояние. Он склонился надо мною, и старательно артикулируя слова, проговорил: — Здравствуй, мой маленький друг. А сейчас я расскажу тебе сказку...

\* \* \*

Обед в немецкой больнице по качеству и разнообразию блюд, нестандартности приготовления и даже наличию некоторых излишеств в виде приправ можно поставить вровень, я думаю, с уровнем средней руки ресторана. Ну, не того, где танцуют танго и пьют коллекционные вина, а дневного, обеденного. У меня небольшой ресторанный опыт, можно сказать, ничтожный. Но казенной пищи я на своем веку поел достаточно. Так что авторитетно свидетельствую: как в ресторане. Не хуже. А вы думайте, как хотите. И не спешите попробовать.

Но и там и здесь есть одно общее свойство, покуда для меня необъяснимое: к обеду не полагается хлеба. К завтраку — да! Целых две свежие хрустящие булочки. К ужину — да! да! Два ломтя черствого черного хлеба, почему-то дико холодного. Но на обед — хоть ты тресни! — хлеба тебе не дадут ни крошки. Даже если у тебя на закуску селедка под рюмку шнапса. Даже если ты заказал, что там?.. Винегрет или кислые щи! Будь любезен, поешь без хлеба, так принято, не обижайся, гутен аппетит! Нет, конечно, ты можешь «покачать права», как у нас говорят, и хлеба тебе принесут — белого или черного. Но в ту же секунду сработают сигналы распознавания «чужой-свой», и ты выпадешь из *системы*, потому что *система* хлеба к обеду не предусматривает. Почему? Откуда я знаю.

## ИЗ СТРАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В первый раз я посетил Германию, когда мне было 35 лет, то есть, через два десятка лет после Победы. Я впервые, а потому в сильноном волнении, пересекал границу своей страны. Я ехал в составе группы молодых ленинградских писателей по линии комитета молодежных организаций (КМО). Сначала мы пересекли границу дружественной Польши. Затем границу дружественной ГДР. Новичкам зарубежного туризма полагалось пересекать лишь границу друзей,

чтобы не искушать провокациями врагов, которые, несомненно, ждали их, неискушенных, там дальше, на западе. Волнение умножилось еще и тем, что мы ехали не просто в «дружественную ГДР», а в Германию.

Что скрывать, двадцать лет прошло, а я ещё был в состоянии войны — душевно! — с этой страной и с этим народом. Да и вся наша группа была не подарком для принимающей стороны. Сергей Давыдов успел послужить солдатом Армии-победительницы. Виктор Соснора побывал в партизанах. Бабушка и дедушка Аси Векслер погибли в Бабьем Яру. А я был блокадником, едва не умершим от голода. Вслед за братом и отцом. Да и вообще по нашей семье война проехала, как хотела — девять человек близких родственников погибло ни за что, ни про что, а десятый остался на всю жизнь инвалидом. Свой счёт был и у остальных. В соседнем купе, где ехала молодежь, потренькивала гитара, шутки дорожные время от времени возникали, но какие-то натужные. Нарастала тревога. Что говорить — не за развлечением ехали.

Девица, встретившая нас на Восточном вокзале Берлина со скромным букетиком роз, после скупых приветствий сказала: — Зовут меня Инга. Я работаю с группами капстран, иногда с русскими. Сейчас я выдам вам немного денег, но три марки с каждого, если вы не возражаете, мною будут удержаны. Они пойдут на цветы, которые вы завтра будете возлагать на могилы советских солдат. — Кто-то спросил: — А вы что, за нас уже всё решили? — Инга удивилась. — Так принято. Все русские возлагают.

Ничто далее нас так не бесило, как эта холодная деловитость и педантизм, от чего, казалось нам, шла прямая дорожка к вещам более сложным и опасным, которые волей-неволей крутились в нашем сознании и от которых, вероятно, и рождалась наша тревога. Мы еще не догадывались, что — ничего страшного! — это просто *система*.

На обед нам подали мясной бульон с яйцом. Естественно, без хлеба. — А где яйцо? — спросил кто-то, гоня ложкой белковые хлопья по тарелке. — А где хлеб? — поддержал другой. Тогда солдат Сережа Давыдов, басисто, как он умел, сказал пожилой официантке: — Матка! Яйки, брот! — Нам принесли хлеб. — Инга смущенно молчала. Такой русской группы ей еще не попадалось. Но главные открытия ждали ее впереди.

Измученные видами бывшего «фашистского логова», звуками военных оркестров на Унтер-дер-Линден, играющих при всех режимах одни и те же марши и вальсы, посещением тюрьмы Плетцензее с ее гильотиной посреди крытого двора, крюками и рояльными струнами, свисающими со стропил, мы еще не нашли ответа ни на один вопрос. Они лишь умножились. Стоя у витрин магазинов, кто-нибудь непременно спрашивал: — Слушайте, а кто победил?

И наконец, из всех щелей жизненного и делового уклада, окружившего нас, лезла та же неумолимая, обязательная для всех, раздра-

жавшая нас *система*, — «орднунг» — только с другим идеологическим наполнением, с иными знаками и фетишами тоталитарности. Сама система ни в чем не была виновата, она служила лишь формой для сущности, заданным алгоритмом поведения. Она была вроде бега часов, которые могут равнодушно отмерять время смерти и время рождения, футбольного матча и воздушной тревоги, но сами сущности не меняют.

В Бухенвальде наша подавленность не была для Инги удивлением — это входило в программу. Она лишь не могла понять, отчего эта странная группа русских так взволновалась, когда благообразный, тщательно одетый служитель, объявил, что внутрь крематория люди будут заходить партиями, поскольку у него ограниченная пропускная способность. Что же в этом дурного, что для экскурсантов установлен определенный порядок? А иначе будет хаос и никто ничего не увидит. Но совсем доконала нас стеклянная — во всю стену — витрина, за которой были старательно рассортированы и выставлены тонны темных и светлых женских волос, тысячи детских игрушек, стоптанная обувь, мужская и женская, в несметных количествах, сумочки, очки и прочее, и прочее, и прочее... что осталось от побывавших здесь когда-то людей. Казалось, их ужас передался этим вещам да так и застыл за стеклом в безмолвном крике. Кем надо было быть, чтобы здесь *работать?*..

Мы поехали в гостиницу и напились вдрызг, выпили всё, что у нас оставалось. Женщины плакали, с кем-то случилась истерика. Инга растерянно пила и плакала вместе с нами. Но было что-то сильнее нашего общего горя, что заставило ее к определенному часу привести себя в порядок и объявить нам, что у подъезда нас ждет автобус. — Куда? — Мы должны ехать в домик Гете. — Какой домик, что ты говоришь? — Но он у нас по программе. — Женская часть группы, снизойдя к ее растерянности, стала собираться. Погрузились кое-как в автобус и мы. И это было большой ошибкой, что вскоре Инга и сама поняла...

На обратном пути она зашла в магазин и купила несколько бутылок вина. Вечером мы продолжали горько пьянствовать. Соснора продал кому-то купленные накануне часы и принес водку. В соседней комнате, где собралась молодежь, еще долго не утихала гитара. Возможно, в эту ночь русский хаос пересилил систему. Инга сошла с тормозов, взбунтовалась против неё. Это привело ее через несколько недель в Ленинград по медицинской надобности, где заодно она хотела вновь увидеть поразившую ее группу. Но почти никто не откликнулся, боль рассосалась...

Подробнее об этой поездке можно прочитать в очерке «Германия вооруженным взглядом». (*«Дом прибежища»*. СПб. 2002)

9 марта 2017 г.

Утром Мишалина повезла меня на сидячей каталке, оснащенной баллончиком с кислородом, куда-то вниз, в лабораторию на тестиро-

вание. Стефан, стоявший в коридоре в группе коллег, попросил всех посторониться, а затем вытянулся во фронт и отдал мне честь. Я салютовал ему сдержанным взмахом руки, как это делают уставшие от забот и чинопочитания генералы. Он оценил это и изобразил подобострастие. Все засмеялись.

### ДЕЛО ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Однажды с другом Сашей обходили сквер неподалеку от его дома. Сквер был закрыт на ремонт и перепланировку. Работы явно подходили к концу: дорожки были набиты гравием и песком, скамейки расставлены, имелись столики для игры в шахматы и пинг-понг. Но чего-то явно не хватало, отсутствовало завершающее кредендо, какой-то торжественный финальный аккорд. Я сказал Саше: — Середина сквера совершенно плешивая, ты не находишь? Такое важное место, всё на виду — и ничего, пусто! — Саша меня поддерживал: — Я бы там разбил фонтан. — Хорошая мысль! — сказал я. — Или роскошную клумбу! — Тоже неплохо. Но у меня другая идея. Памятник! — возгласил я. — Ну, что ж, — сказал Саша. — Можно и памятник. Только кому? Гёте — уже есть. Шиллеру — есть. Да всем есть. Вплоть до римского императора Траяна. — Нет, не всем, — сказал я. — Нет в Майнце памятника гению человечества, величайшему другу Германии — Ленину! — Саша засмеялся.

А чего смеяться, я всерьёз. Столько, сколько Ленин сделал для немецкого народа, может быть, не сделали и его вожди. Потому что вся его деятельность, начиная с апреля 1917 года, была направлена на сбережение немецкого народа. Любой ценой! Ценой утраты огромной части территории Российской империи. Ценой распада русской армии. Ценой сепаратного мира и потери союзников. Ценой братоубийственной гражданской войны. Так бывают щедры — даже во вред себе — только русские люди.

— Можно и Ленину, — сказал Саша. — А можно и Сталину! — подхватил я. — Кто больше сделал для вермахта, снабжая его едой, бензином, редкоземельными металлами и прочим, гоняя эшелон за эшелонам целых два года, вплоть до войны? А сколько немецких жизней он сохранил, вовремя ликвидировав командный состав Красной армии?

— Да? Ты думаешь? — спросил Саша. — Ну, тогда уж и Мао Цзедуну. — А Мао-Цзедуну за что? — За то, что ни один китаец не стрелял в немца. — Ну, хорошо, — сказал я. — Можно и Мао-Цзедуну. Но точно — не фонтан!

Сейчас там нет ни того, ни другого, ни третьего. Есть детская песочница. Ну, и к лучшему, я думаю.

\* \* \*

Вечером к моему соседу Гельмуту приходит жена, такая же, как и он, моложавая. Вряд ли это с ней он разговаривает строгим по-

учающим голосом по телефону. Между ними лад, это ясно. Они уютненько усаживаются рядом — он в кровати, она в кресле — перед телевизором, лицом к окну, ко мне спиной. Принесенные ею лакомства и какое-нибудь питьё создает им полную иллюзию, что они дома. И проводят дружный семейный вечерок. Очень мне нравятся.

*10 марта 2017 г.*

Тайна настольного зеркала в круглой оправе мною разгадана. После всех утренних священнодействий двух младших медсестер над малоподвижным телом красавца — всех этих обмываний, массажей, смены памперсов и простыней, он лежал, умиротворенный, держа в одной руке зеркало, в другой ножницы. Всё, что ниже бородки, до самых пяток, он отдал на попечение медицинского персонала, страховой кассы, и, чего уж там — государства в целом. Но вот эту седую щетку, которая окаймляет подбородок упругой подковкой, никому не мог доверить и решил самолично лелеять и холить ее до последнего, а там хоть трава не расти... Жена одобрительно наблюдала.

А с другим соседом, с венценосным профилем, две хрупкие девушки-медсестры проделывали те же манипуляции: мыли, меняли, на счёт «айн-цвай-драй!» двигали тушу. Не позавидуешь, какая работа, и для мужчин-то мало подъёмная, тем более, что фактура у пациента не лишь бы какая — имперская. И вот когда всё было закончено, и он лежал, вздёрнув орлиный нос, а девушки наводили последние штрихи, любуясь своей работой, в палату вошли два амбала в форме «йоханнитер-скорой-помощи». Они поставили рядом с его кроватью каталку и стали значительного господина на неё перетягивать с помощью простыни. Ему предстояло отправиться в другой корпус. А девушки стояли и растерянно смотрели, как исчезает их пациент и их труд. И едва его увезли, они громко, захохотали, комкая свежее постельное бельё и швыряя его на пол.

Вот так и рождается постмодернизм. От отчаяния. А отчего же ещё.

## БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Старшие медсестры, младшие медсестры! Сестры палатные и их помощники. Сестры процедурные и операционные! А также, соответственно, братья. К вам обращаюсь я, друзья мои. К среднему и младшему медицинскому персоналу. Потому что вы мне очень нравитесь. Потому что вы самые главные в этой медицинской системе. Потому что вы столько для меня сделали за шесть моих больничных лёжек, что я до сих пор, с вашей и Божьей помощью, жив. И превозмогаю.

И всё это старательно, дотошно, настойчиво, с приветливым выражением лица, как будто вы всю жизнь меня знаете. До сих пор не могу понять, чем я это заслужил.

Что подкупает — в майнцских больницах нет воркотни, унылости и даже ритуальной почтительной тишины. Вспышки смеха в разных концах коридора постоянно ее нарушают. И как они живительны для ослабшего организма и духа лежащего больного!

Особенно жизнерадостна атмосфера, царящая в УНИ-клинике. Ну, а как еще, когда коридоры полны молодежи — практикантов, студентов, начинающих врачей. Да и медперсонал в основном молодой и юный. В ординаторской, когда им случается в короткие паузы собраться всем вместе выпить горячего кофе, хохот стоит, как на вечеринке. Это понятно. Нужна разрядка. Целую смену — тяжелый, порою малоприятный, изнурительный труд. Иногда сделанного за день хватает лишь до утра. Приходится лишь удивляться, с какой легкостью утром, подойдя к пациенту, они начинают всё сначала.

В католических больницах (а я был в обеих) обстановка, конечно, посуше, построже. Утро начинается с богослужения. Но зато здесь царит интернационал. Католики из разных стран мира приезжают не столько на работу, сколько на послушание. В клинике святого Винсента за мной ухаживали афроамериканка, индонезийка, литовец. У каждого из них свои резоны для радости и печали, поэтому массовых вспышек веселья здесь не возникало. Очень активны в клинике волонтеры. Из палаты в палату движется библиотека на колесах. Ходит милая девушка с цитрой и играет — только тебе! — волшебную музыку. А иногда появляется женщина с фотографиями кошечек и собак: не хотите ли завести себе нового друга? Но трогательнее всего мне показались ночные дежурства родовитых, богатых, воспитательно ухоженных дам. Они бесшумно являлись к вам в палату, скромно одетые, благоухающие — нет, не духами — ночным кремом глубоко эксклюзивного происхождения, в скромных драгоценностях, мерцающих в полутьме. Обаятельно улыбаясь, они спросят о самочувствии, не могут ли они чем-нибудь вам помочь. И одарив еще одной лучезарной улыбкой, расправят одеяло у вас ног, — так начальство расправляет ленты на венках, — с сознанием значительного, потаённо-сакрального дела.

Незадолго до последнего своего ухода в больницу где-то в интернете я прочел письмо русской пациентки, только что вставшей с немецкой больничной койки. Она жаловалась на бесчувственность персонала, его не улыбочивость, равнодушие к больным. То ли дело на родине — и улыбнутся тебе, и про самочувствие спросят, и скорейшего выздоровления пожелают.

В чем тут дело? Ведь мы же с первых посещений наших отечественных больниц и поликлиник запомнили громкие повелительные голоса медсестер, скупые, не окрашенные ничем, кроме нетерпения, вопросы врача, не перестававшего что-то писать, склонив голову, вплоть до нашего ухода. Ну, о гардеробщиках и санитарках я уж не говорю. О них еще Шукшин написал: что с нами случилось? И тогда — при всех райкомах, народных контролях, профсоюзах — упра-

вы на них не было. Как же это теперь, в стране, где господствует чистоган, произвол и беззаконие, вдруг они явились в обличии ангелов и херувимов?

Для меня ответ ясен. Эта дама не нюхала общедоступной народной медицины — ни тогда, ни теперь. Она с деньгами. Там, на родине, она пользовалась платными медицинскими услугами и денег, видимо, на это не жалела. А поскольку улыбки и доброе отношение в этих учреждениях, как и почти всё остальное, стало товаром, то дефицита в них она не испытывала. Ну, а здесь, получив желаемое, она, предполагаю, с «обслужкой» вела себя так же, как при выкла дома, — высокомерно, а то и по-хамски. Ведь за «свои деньги» — а почему нет? Вот за это, видимо, «братья и сестры» улыбками ее и не удостоили. Этого они не терпят и не прощают. Они — не «обслуга». Они граждане.

В системе здравоохранения России сейчас много нового. Повсеместно происходит "оптимизация". Это открытие состоит в том, что в регионах увольняется часть врачей. Зато их зарплата распределяется между оставшимися. Так в пределах одного и того же фонда повышается средний уровень заработка врачей в целом по всей системе. Или, например, в каком-то отдаленном и малонаселенном районе закрывается больница, поликлиника, родильный дом или даже фельдшерские пункты. Естественно, их ресурсы передаются другому району. А время пребывания пациента на больничной койке сокращается. Статистика опять-таки улучшается. Часто, правда, появляются сообщения, что то в одном, то в другом месте видели объявления: «Больница убедительно просит пациентов приходить со своим постельным бельем». Или даже такие: «Пациенты без своих бинтов и йода приниматься не будут».

Но это мелочи. Не всё так плохо. Вот газеты пишут, что в Москве будет построена новая клиника, оснащенная всеми мировыми новинками медицинского оборудования. На территории так называемой «Кремлевской больницы» запланировано трехэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров. В нём будет бассейн, конференц-зал и прочее. Правда, палат будет только десять. Из них две — по 200 метров каждая. Общая стоимость проекта 3 млрд. рублей. Странно. Для кого бы это?

### СУДЬБА КАРДИОЛОГА

В той, «писательской» поликлинике, что я посещал еще в те, прежние времена, работал врач-кардиолог высокой квалификации Аркадий Миронович. Когда поликлиника прекратила свое самостоятельное существование, он перешел на работу в одну из самых престижных петербургских больниц. Прошло немного времени, и он стал там главным кардиологом.

Случилось так, что понадобилась оперативная помощь его жене. Он, естественно, положил ее в свою больницу. И вот настал день

операции. Её уложили на операционный стол, дали наркоз. Аркадия Мироновича, естественно, и близко не подпускали, и он коротал время в своем кабинете. И надо ж было такому случиться что в эти минуты привезли какого-то богача — банкира или нефтяника — сопровождавшие потребовали срочного оперативного вмешательства за любые деньги и поставили у операционной охрану. Что было дальше?.. Десять секунд на ваши варианты — и я продолжаю.

Подготовленную к операции женщину под наркозом сняли со стола и отвезли в соседнее помещение. Оперировали богача. А она лежала, дожидаясь своей очереди. Видимо, добавили наркоза. Аркадию Мироновичу, обеспокоенному затянувшейся операцией, отвечали по телефону, что всё в норме. Но когда он, не выдержав, пошел к операционной и увидел охрану, поднял шум. Главный врач, приобняв его, увел в свой кабинет и сообщил ему, что жена его скончалась.

Что стало с Аркадием Мироновичем? Он был жив до недавних времен. Но с того дня ничего не помнил и никого не узнавал. Сын его работает главным кардиологом одной из больниц Израиля.

*11 марта 2017 г.*

Утром самостоятельно мылся, чистил зубы, но вот на бритье дыхания не хватило, пришлось вернуть кислород и уйти восвояси в свою берлогу.

Галя рвется ко мне, но Ольга ее не пускает, и правильно делает. Прислала куриный бульон в термосе и морс в бутылке из-под водки «Абсолют». Это кстати, потому что «ресторан» начинает надоедать. Врач по лечебной физкультуре увидела бутылку: — А это еще что? — Схватила ее и стала обнюхивать. Она понимает, что за этими русскими нужен глаз да глаз. Так и норовят разрушить систему.

\* \* \*

Вот, оказывается, кем он командует, мой молодежавый сосед Гельмут, вот на кого ворчит. Кроме жены, все пришли по случаю субботы: дочка с зятем, внучка, типичная Брунгильда в юности, внук в куртке почтальона «Почты Германии». (А зятек-то у меня покрасивше будет). Всё семейство, рассевшись вокруг стола, шумно победало тем, что принесло с собой, один лишь Гельмут с важностью поглощал кулинарию нашего «ресторана». Потом выпили кофе, что можно получить в коридоре. Потом шумно ушли. Я, вздохнув, взялся за свою тетрадь... И вдруг — нате! — они снова здесь и опять с едой. Все, кроме внука. А я еще себя спрашивал: чего он на них лютует по телефону? Вон какие внимательные. А чтобы боялись и почитали.

### ДОМАШНИЙ ДОКТОР

К нему привел меня Генрих Дауб и представил как «знаменитого русского писателя» («шрифштеллера»). Доктор Цонхен был

единственным врачом в своем «праксисе», ему помогали лишь три сестры, а поэтому прием новых пациентов на постоянное обслуживание был ограничен. В эти дни я искал ответа на вопрос о происхождении мучившей меня боли в правой ноге. Избавляться от нее я начал еще в Петербурге с помощью электрофореза, парафиновых обертываний и прочего. Боль отступала и возвращалась, вдобавок появлялись признаки онемения. — Я знаю, что у вас! — воскликнул русскоговорящий доктор, к которому я обратился. — У вас ишиас!.. Вот вернусь из отпуска, и мы займемся его лечением. — Сказал — и укатил. А ты как хочешь. Мне уже больно было не только ходить, но и сидеть.

Доктор Цонхен был впечатлен и моей профессией, и ногой и, усадив нас с женою за стол, достал с полки анатомический атлас.

Всё, что он говорил, означало следующее. Всякое движение наших конечностей — рук или ног — зависит от импульса, посланного своим позвонком. Правда, ни один из позвонков не пошлет импульса своей конечности без одобрения головного мозга. Получилось, что будь ты лев, или кенгуру, или просто человек, прыжок твой возможен лишь тогда, когда в действие вступит вся система. Полет божественных сил от одной части организма к другой был очевиден под руками доктора Цонхена, распростертыми над анатомическим атласом. Упругие силовые линии от позвонка до кончиков ног вершили на наших глазах жизнь, чудесную и непредсказуемую.

Доктор сказал, что ему всё ясно, проблема моя затаилась между четвертым и пятым позвонками, но следуя заведенному порядку, он посылает меня на томографию. Получив на другой день снимки, он тут же позвонил мне домой и велел без промедлений ехать на такси в УНИ-клинику, где уже была договоренность об операции и где меня ждали. Так всё и было — меня осмотрел главный врач нейрохирургического отделения, крупный вальяжный швед, и без долгих разговоров отправил в палату. Несколько дней прошло еще в каких-то анализах и проверках. Тут случился и мой день рождения — приехали Ксения с Виктором, Галя принесла пирожки и малосольные огурцы. Мы вышли на улицу, на лужайку, и там они выпили кока-колы за мое здоровье. Жара была дикая, они сидели в тени на пожухлой выгоревшей траве, а я в силах был только стоять, переминаясь с ноги на ногу... На следующий день меня оперировали. Когда меня повезли, какая-то сила заставила меня вздернуть руку и крикнуть: — «Аванти!» — Что по-итальянски означает: «Вперёд!» Все засмеялись.

Через неделю я уже мог ходить, прихрамывая, но правая нога почему-то стала чуть короче и суше. Зато опасность онемения, другими словами, паралича миновала. Через несколько дней мы явились к моему доктору с благодарностью, а чем благодарить, не знали. Тем, чем благодарят у нас, здесь не принято. На полках его кабинета стояло множество сувениров. Матрешки у нас не было. Рус-

ской водки тоже. Он сказал: раз вы писатель, то напишите мне стихотворение. Я вернулся домой, благо надо было только перейти улицу, взял свежее издание «Дома прибежища», а по дороге сочинил стишок, которым и надписал книгу:

Я избежал паралича,  
Спасибо, доктор Цонхен!  
Ходил бы, ногу волоча,  
А так — танцую с женой.

Галя, как могла, перевела ему надпись, и доктор смеялся, а уточнив какие-то слова, просто хохотал. Таких сувениров он еще не получал. И вдруг, посерьёзнев, на чистом русском языке стал читать, глядя нам в глаза:

Однажды в студеную зимнюю пору  
Я из лесу вышел. Был сильный мороз.  
Гляжу, поднимается медленно в гору  
Лошадка, везущая хворосту воз...

И еще множество строк вслед этим. Оказалось, что доктор наш в недалеком прошлом жил в ГДР и когда-то, в школе имел уроки русского языка. Он признался, что смысла прочитанного не понимает и даже не может перевести ни одного слова, но фонетически стихи запомнил на всю жизнь, и они ему очень нравятся.

С тех пор он встречал меня одной и той же фразой: — Добрый день! (По-русски.) — И далее: — Танцен мит фрау?» И когда мы оказывались в кабинете втроем, обязательно звучали стихи Некрасова.

Доктора Цонхена вывела из строя болезнь Паркинсона. Я по его совету перешел к врачу в соседнем квартале, и он отрекомендовал меня так же, как когда-то это сделал Генрих Дауб. Работавшая в этом «практисе» русскоговорящая женщина-врач спросила меня: — Как же вы друг с другом общались? — Она хорошо знала доктора Цонхена и почитала его. — Хорошо общались, — сказал я. — От сердца к сердцу. — Она недоверчиво покачала головой.

Но это было похоже на правду. Он усаживал меня рядом с собой и терпеливо кормил с ложечки мелко протертой кашицей немецких слов, тонкими ломтиками фраз и даже хрящиками медицинских терминов. И не было случая, чтобы я его не понял.

*12 марта 2017*

Готовясь к переезду в Германию, мы, естественно, заглянули в пучину немецкого языка. Опытный педагог Елена Дмитриевна Аверинцева, доцент, кандидат наук, за какие-то сто часов привела нас на первый уровень системы речевого общения. По ее оригинальной методике, начальным и базовым механизмом является умение узна-

вать и произносить речевые штампы. — Именно из них состоит живая диалогическая речь, — говорила она, — с которой вам предстоит с первых же шагов столкнуться.

А куда от них денешься? И в немецком, и в русском речевом обиходе множество таких стертых пятак, которые упрощают общение, позволяют добиться результата, не заморачиваясь поиском слов.

В пособии, которое нам предложила Елена Дмитриевна (Общение в быту. СПб. 1996), оказалось 810 штампов немецкого языка и столько же русских эквивалентов. Стоило их усвоить, утверждала она, и все чиновники, продавцы, официанты Германии — у вас в руках. Небрежно роняя, одну за другой эти ходячие монеты, или еще говорят, прописные истины, вы можете вскоре сойти за своего, а то и войти в систему.

Сегодня я вынул из этого роскошного перечня избитых выражений 40 образцов, выписал их на карточки и бросил на сукно. Вот что у меня получилось. (Здесь нет ни слова, придуманного мною, кроме тех, что в скобках, в драматургии это называется — ремарки).

#### РОКОВАЯ НОВОСТЬ. (Пьеса на двоих)

Он. — Удели мне минутку внимания. Ты уже слышала новость?

Она. — Что случилось?

(Он шепчет Ей на ухо.)

— Что ты хочешь этим сказать?

— Это, должно быть, правда.

— Откуда ты знаешь?

— Я утверждаю со всей ответственностью, что я это видел.

(Он продолжает шептать.)

— Как жаль!.. Не мог бы ты мне объяснить?..

— Да слушаешь ли ты, что я говорю?

— Пожалуйста, без подробностей.

(Он шепчет.)

— Понятно?

— Ясно, я поняла. Это на него не похоже.

— Что ты об этом думаешь?

— Это меня не касается.

— Послушай!

— Я не хочу в это вникать.

— Это и тебя касается.

— Мне это глубоко безразлично.

— Тебе это кажется.

— Я не могу в это поверить.

— Минутку! Дай мне договорить.

*(Он снова что-то шепчет.)*

- Разве это возможно?
  - Я отвечаю за каждое мое слово.
  - Вот тебе и на! Я этого не ожидала.
  - Жаль, но ничего не поделаешь.
  - Боже! Какой сюрприз!
  - Могло кончиться хуже.
  - И что я должна с этим делать?
  - Не принимай близко к сердцу.
  - Этого мне только не хватало.
  - Успокойся, пожалуйста!
  - С меня довольно!
  - Признай, наконец, что я прав!
  - Мне становится плохо при одной мысли об этом.
  - Моя точка зрения такова...
- Она. — Всё, больше не могу!.. *(Падает в обморок.)*  
Он *(в оцепенении)* — Этого я от тебя не ожидал...

*Занавес*

Оказалось, что с помощью этой коллекции банальностей можно не только общаться, но и стать драматургом. А что, некоторые так и пишут.

А уж говорят многие именно так, иначе и не умеют. Есть целые профессии, целые сферы деятельности, где годами, десятилетиями мусолят одни и те же заезженные выражения. А уж если это еще подкреплено профессиональными канцеляризмами, то живого слова там век не услышишь. Послушаешь иного чиновника, силовика, пресс-секретаря — уши вянут. «В данный период времени», «денежные средства», «имеет место», «подчеркнул со всей остротой», «находился в состоянии алкогольного опьянения», «находимся в правовом поле» и так далее. Начальство вообще не прочь ввести не только единомыслие, но и единоречие народа в виде словесных клише. Так легче управлять. Скажешь: «Говорю вам это с предельной откровенностью» — и всем всё понятно, все довольны. Хотя, черт его знает, врёт или нет? (Конечно, врёт!) А уж если пообещаешь: «Будем мочить в сортире!» или: «Вор должен сидеть в тюрьме», то высокий рейтинг тебе обеспечен.

А что с этим делать? Как что, бороться, протестовать. Я уж не знаю, как относятся к казенным речевым штампам в Германии, а в России городская молодежь их на дух не переносит. В бурлящей, то и дело меняющейся стихии общения в порядке борьбы со словесной рутинной появляются различные молодежные сленги, хорошо замешанные на иностранной лексике. Возникло также сложное, вероятно изысканное, с хорошими корнями, (по-моему, идущее от Гоголя, Алексея Константиновича Толстого, Зощенко и Платонова) стилистически-речевое явление как «стёб». Множество словесных выкрута-

сов принесли блогеры, которым, правда, часто изменяет вкус. Резвятся с русским языком рэп-исполнители и многие другие. Традиционно в русском языке прекрасно себя чувствуют иностранные заимствования, которые тоже становятся штампами. Носителями их прежде была учёная публика, но теперь они доступны и простым людям. Я от одного писателя-деревенщика за один вечер услышал столько французских выражений, что ушел с впечатлением, будто в Париже побывал. Тут были и «тет-а-тет», и «ва-банк» и «карт-бланш», и «селяви» и многое другое. Да еще по-латыни: «воленс-неволенс».

А иногда впечатление такое, что один и тот же народ говорит на разных языках и друг друга не понимает.

Россию что выручает в этом сопротивлении — присущее ее людям чувство юмора. Оно воспитывается словесностью и языковой средой с детства. Сомневаюсь, что немецкие книжки для детей перевиты такой затейливой канителью первоклассного юмора, такой многозначностью слов, как русские. Хармс (кстати, германofil), Олейников, Маршак, Драгунский. Голявкин, Григорьев, Успенский, Остер... Да много еще. Это волшебники речи.

Редкий дедсадовец не знает, что такое «прикол», «прикольно». Сам слышал от малышей. А словечко «клёво» гуляет в подростковой среде во множестве вариантов: круто, хипово, кайфово, супер, сто процентов, сто пудов. А вот как у немцев с чувством юмора и со словотворчеством — кто его знает.

Но доминирующим пластом русской речи вот уже сто лет остается блатной сленг, «феня». Её жуткие штампы проникли во все сферы жизни — от школы до Кремля, от армии до театра, от журналистики до дипломатии. Причины этого срама, этого позора много раз обсуждались, выводы сделаны. Чего уж их тут повторять. Историю страны не переделаешь.

В речевом общении немцев трудно представить тюремный жаргон. Да оно у них и вообще, по-моему, более защищено и консервативно. На мой непросвещенный взгляд, немцы общаются между собой более многословно и церемонно. Там, где мы тратим три слова на клишированное выражение, они — пять. Мы пять — они восемь. Мы, не расслышав, произносим какое-нибудь вульгарное «А?» или «Что?» Они — церемонное «Ви битте!» Похоже, что немцам комфортно живется с речевыми штампами, и они не так уж и настроены с ними расставаться. Ведь штампы унифицируют и укрепляют систему. Сплачивают народ.

*13 марта 2017 г.*

*Вчера вечером были у меня Ксения с Жилем и внук Виктор. Я пожаловался Жилю: — Профессор возле меня не останавливается. — Вот и хорошо, что не останавливается! — воскликнул Жиль. — Значит, дело идет на выздоровление.*

Виктор убедил меня, что оно пойдет быстрее, если я соглашусь подключить себе телевизор и радио. Достал из кармана наушники и подключил. От телевизора я все-таки отказался. А любимая радиостанция HR-2 Культура снова зазвучала.

### НЕМЕЦКИЙ ВНУЧОК

Как он вырос, мой паренек — он уже молодой, уверенный в себе мужчина! У меня есть любимая фотокарточка, где мы сидим рядом у нас на балконе и подкручиваем усы — я свои, он свои. Теперь он снова без усов и без бороды. А я всё еще с бородой и с усами.

А в первый раз я увидел его, когда ему было чуть больше года. Он родился и сразу стал гражданином Германии. Жили они в Висбадене, на мансардном этаже. Дома говорили только по-русски. В их семье, когда я приехал в гости, было модным, как и в России, словечко «типа», словесный сорняк. Внучок ползал по полу, подымался на ножки, падал, снова полз. Вот встанет на ноги, — говорил отец, — тогда, типа, кричи караул, всё будет на полу, до чего, типа, рука дотянется. — Мама ему возражала: — Ну, не держать же его из-за этого, типа, в манеже.

Мы поехали на гору Нероберг, к Елизаветинской русской церкви. И там, на клочке земли, посреди Германии принадлежащем России, я вынул внучонка из коляски, взял за ручку и сказал: — Ну, пошли!.. — Этот миг тоже запечатлен на фото. Меня и сейчас охватывает гордость, когда я вижу, как свои первые в жизни шаги он проходит рядом со мной, держа меня за руку. По русской земле.

Ну, а потом, годы спустя, я ездил один раз в неделю в Висбаден и забирал внука Витю из школы. Мы шли к автобусу, и подросток внук на перекрестке всё еще с готовностью вкладывал свою руку в мою. Мы заходили в музей. Или гуляли по парку. Или сразу ехали на окраину, в их арендованный дом с маленьким садиком. Там играли в футбол. Потом в шахматы. Потом в «Монополию». Мы бросали кубик, и я с удивлением наблюдал, как внучок мой лихо оттяпывает у меня то дома, то земельные участки, строит на них отель, сдает его в аренду, платит налоги, берет в банке кредит... — Смотри-ка, что делается! — мысленно восклицал я. — Того и гляди капиталистом вырастет. Или банкиром. — А внучок подбадривал меня, продувшего всё состояние: — Дедушка, думай на голову!

До сих пор думаю. Но всё такой же банкрот.

Виктор не стал ни капиталистом, ни банкиром. Больше того, когда в мире вспыхнуло и пошло гулять по континентам и странам движение «Оккупай Уоллстрит!», наш девятнадцатилетний Витек стал одним из организаторов протестных акций во Франкфурте, финансовой столице Европы. Они поставили палатки напротив оперного театра и «пошли в народ». — За что воюем, внучок? — спросил я как-то, проходя мимо. — Понимаешь, дедушка, эти финансовые маг-

наты когда-нибудь погубят человеческую цивилизацию. — И так далее: про вопиющее неравенство, финансовые аферы, наживе на горе людском. Ну, слава Богу, думал я, хоть что-то унаследовал от меня — общественный темперамент. Было, конечно, тревожно за него, ведь власть не любит слишком надоедливых и берет их на заметку. Но когда они уже готовились свернуть палатки, приехала дама, оказавшаяся бургомистром города Франкфурта, и спросила их, не могли бы они еще месяцек подождать: уж больно хорошо эта акция туризм стимулирует. Это в Москве пылкие власти, повинувшись неясному страху, разогнали «Оккупай-Абай» на бульваре возле памятника Абаю. А здесь молодежный протест включили в *систему*.

Очень рано и с завидной легкостью Виктор освоил компьютер, с которым я до сих пор на «вы». (Он, кстати, мне его и наладил.) Уже в школе, в компьютерном классе, пока все пыхтели над своими приборами, он быстро решал индивидуальную задачу, и мы с ним раньше всех уходили домой. Наш приятель из московской Академии наук Илья Амитон, побеседовав с ним, сказал: «Да-а...» И удивленно качнул головой.

После школы он поступил на работу в американскую рекламную фирму, где уже скоро как двадцать лет работает Ксения. Руководители посмотрели, подумали, посоветовались и через несколько месяцев открыли под него специальный отдел. Время от времени он представляет фирму и лично себя на всегерманских и международных конкурсах по этому делу (а по какому — я и сам не знаю.) Когда я прошу сформулировать тему его выступления, он, подумав пару минут, произносит: — Понимаешь, дедушка... — И потом замолкает. — Ну, ладно, — говорю я, — не напрягайся. А чего привез? — Привозит он то «золотую» звезду, то серебряную пружину, то какую-то женскую статуэтку. — А это еще кто такая? — Женщина. — Может, богиня? — Нет, — говорит, — просто женщина. — Ладно, — говорю, — нам и такая нужна. — Кстати говоря, она скоро материализовалась: рядом с Виктором теперь еще и Виктория, Викки.

И вот он сидит возле меня со страдальческим видом. — Ты чего накуксился? — говорю я. — Не переживай. Скоро поправлюсь. — Не отключая кислород, спускаю ноги на пол, сажусь, а потом и встаю, опираясь на стойку капельницы. Меня покачивает, за мною тянутся трубки. — Ты куда? — спрашивает Виктор. — Куда-куда... куда царь пешком ходит. — Пойдем я тебя провожу, — говорит он.

Внучок Виктор берет своего дедушку за руку и ведет его в сортир.

*14 марта 2017 г.*

Красавца с зеркалом выписали. Сочли, видимо, что подстригать свою бородку он может и дома. А в остальном жена ему поможет.

На его место положили почтенного бауэра, доставленного откуда-то из германской глубинки на вертолете, который каждые полчаса приземляется на крыше главного корпуса клиники. Он и мыслью,

и чувством всё еще там, у себя в поместье, и, видимо беспокоясь за семью, хозяйство, скотину, часто звонит домой. Речь его звучит как-то невнятно, по-моему, это какой-то местный диалект — вместо «я» он говорит «ё». И чувствуется в его голосе и во всей его повадке гордость за то, что о нём так позаботились.

## СИСТЕМА

Нет, не речевые штампы создают и цементируют *систему*. Главный строительный материал в ней — штампы общественного поведения. Каждая жизненная ситуация чревата хаосом, пока не будут выработаны типовые каноны взаимоотношений людей друг с другом внутри нее. Баланс между «я» и «они». Компромисс между «хочу» и «должен». Регулируют их вертикаль законов, институтов, гласных и негласных договоренностей.

Для верующих эта вертикаль начинается с закона Божия, данного при сотворении. Не убий, не укради, не прелюбодействуй и так далее. То есть, с закона нравственного.

Для всех прочих — с государственной Конституции. А для всех без исключения — с рукотворного Закона, в том числе, гражданского и уголовного кодекса.

Далее, я думаю, идут правила общения, то есть, правила устной и письменной речи.

Потом, наверное, гигиенические императивы, всевозможные санитарные ограничения.

Я не знаю, на каком месте в шкале приоритетов находятся законы взаимодействия человека с природой. Но конечно, они возникли раньше, чем правила дорожного движения. Вот ехал на-днях по четырехполосному автобану на окраине Майнца, возле стадиона. Две полосы — в ходу, две — ремонтируют. Хозяйка машины посетовала: — Да, тут надолго эта канитель. — Я спросил: — А в чём дело? — Да ходы укладывают под автобаном для каких-то особенных муравьев. Тут их дорожка, а они в красной книге.

Вот такие дела. Неважно, насекомое ты или лань, кошка или скворец — государство не даст тебя в обиду.

Регулируется содержание домашних животных, выгул собак, оплата труда, карьерный рост. Есть, как всюду, техника безопасности, противопожарные требования, правила поведения на воде... Я, вероятно, много чего пропустил или перечислил не в том порядке. Но не в этом ведь дело.

Заканчивается всё, как я понимаю, — неписаными правилами и обычаями поведения людей в быту: за столом, на прогулке, в общественном месте, в гостях, в учебной аудитории, в зрительном зале, на пикнике — одним словом, всюду и везде. То есть, этикой.

Наряду с прописанными правилами есть устоявшиеся поведенческие штампы, такие же, как в языке. Будет странно, например, ес-

ли в вагон поезда войдет притихшая компания молодежи. Согласно общепринятым стереотипам, в дороге она должна вести себя шумно, отвязано, мешать пассажирам. Громко смеяться даже если на это нет особой причины. В компании всегда найдется модератор, который позаботится о соблюдении статуса. И будьте уверены, в нужный момент все будут скандировать или свистеть, или ржать, а кто-нибудь обязательно пропоет по-тирольски. Я это несколько раз наблюдал.

Поначалу меня удивляло, почему такие законопослушные и опрятные немцы в дни карнавала, словно безумные, швыряют мусор на тротуар, бьют бутылки, а то еще и писают возле чьих-то дверей. А ничего особенного — просто в эти дни такие обычаи. Какой же карнавал без смешения «верха» и «низа», без безобразий!

Так что поведение человека и социальных групп в обществе в основном предсказуемо.

Ну что ж, это принято всюду в Европе. Свои поведенческие стереотипы царят, например, в старейших университетах. Владимир Набоков, будучи первокурсником Кембриджа, вынужден был вести себя, как предписывал кодекс: бил фонари и писАл непристойности на стенах, хотя очень этим тяготился. Старшекурсникам так поступать, естественно, возбранялось.

*Система* — общее детище европейской цивилизации, возникшее задолго до Объединенной Европы. В иных странах, например, во Франции, Италии, Испании, как подсказывает мне мой скромный опыт, относятся более либерально, чем в Германии, к соотношению системы и национального темперамента. Там чаще поступают по-своему, спонтанно, сгоряча, наперекор тому, как принято. Но общность основных моральных и этических ценностей и привела их к объединению. *Система* создает упругую, нерушимую форму (формулу?) жизни. В конечном итоге, это вопрос выживаемости.

Зарегулировано, в той или иной степени, всё, что только возможно. В свободном полёте остаются, пожалуй, только два человеческих свойства: талант и инициатива.

А есть те, кто не принимает эту систему? Как с ними? Есть. В Германии они бродят как неприкаянные из города в город, нестриженные, небритые, чаще с собаками. Они спят на поролоновой подстилке где придется, собака на своей подстилке, — рядом жестянка для мелочи. Живут на то, что соберут. Или вот сидят у нас в Майнце по скамейкам в начале бульвара и без конца пьют пиво, (между прочим, не самое дешевое!). Они протестуют против системы, но государство относится к ним лояльно, на пиво даёт, за бродяжничество и попрошайничество не преследует. Иногда кажется, что и они часть системы.

Точно так же я смотрю на молодежные всплески протеста, связанные чаще всего с музыкой, танцем, модой, прической, стилем поведения — это всё не подрывает систему, а скорее разнообразит, украшает ее как декоративный элемент.

Так что в общем и целом *система* незыблема. Хорошо это или плохо?

Я человек стихии, импульса, настроения. Я жуткий враг конформного поведения. Обожаю людей, которые говорят нешаблонным, ярким, неожиданным языком. Но левое полушарие подсказывает мне, что дважды два — всё-таки четыре.

Вот когда люди принимают всю эту вертикаль условий, церемоний и ограничений, тогда и наступает Свобода. Царство Свободы ведь не бывает для одного человека, оно реально, если доступно для всех. А много свободных людей — это и есть демократия.

Господи, куда меня занесло, я ведь не трактат пишу, а всего лишь делюсь своими житейскими наблюдениями, довольно поверхностными. Вернусь лучше ближе к жизни, к живым и лично испытанным ощущениям.

\* \* \*

Кандидат медицины Виктория, как было начертано на бейджике ее халата, брала у меня кровь из вены, похоже, впервые. Была в сильном волнении, раскраснелась вся, но у нее получилось. Радостно рассмеялась, когда я ее поздравил.

*15 марта 2017 г.*

### ПРО УЛЫБКУ

Как приятно рано утром встретить на садовой дорожке бегуна, который, приблизившись, скажет тебе «гутен морген» (чаще — просто «морген», а у нас на юге и вообще «моржен») и обдаст улыбкой. Улыбки в общественной жизни Германии играют особую коммуникативную роль, имеют множество оттенков и назначений. Одно дело, когда ты улыбнешься матери, ведущей за руку своего малыша — улыбка твоя полна восхищения, и не просто, а с каким-то намеком, что малыш лучше всех из встреченных ранее. Другое дело улыбка, адресованная хозяину собачки, которую тот ведет на поводке. Здесь, кроме умиления, есть еще толика юмора, доброй иронии: ах, какой красавец! Но какой, должно быть, шельмец. Мне случилось, когда я шёл с Акселем, встречать одобрительные улыбки в свой и его адрес, но тогда я еще не знал, что должен в знак благодарности тоже улыбнуться в ответ.

Но пройти мимо ребенка или собачки с равнодушным лицом... Это не дело.

Дурной тон — войти в лифт, не улыбнуться и не поздороваться. Улыбка по праву назначена общественным договором и почтальону, и уборщице, и кассиру, и водителю трамвая, и полицейскому. И я гарантирую, что получите добрую улыбку в ответ.

Тебе непременно улыбнется женщина в толпе или в метро, если ты остановил на ней взгляд. Некоторые русские туристы истолковывают это как желание познакомиться. А то и обещание. Ничего подобного! Попробуйте-ка в ответ на такую улыбку «подбить клинья», получите такой отпор, что мало не покажется.

Многим, пребывающим вне *системы* и уверенным в своей неподдельной искренности, это дает повод говорить об искусственности этих «системных» улыбок. Я, признаться, тоже так думал. Вспоминаю, как в конце восьмидесятых, еще в Ленинграде, в нашем доме открыли финский сетевой магазин «Стокман». Полки в нем, в отличие от наших магазинов, ломились, дразнили изобилием. Правда, все там было намного дороже. Кроме молока фирмы «Валио». Вот за ним мы туда и ходили. Подходишь, как водится, хмурый, к полке с молоком — берешь пару пакетов, кладешь в корзинку, отводя глаза от прочего товара — пока всё, как у нас. А вот у кассы начинается что-то незнакомое и даже подозрительное. Красивая русская девушка, прошедшая курс где-нибудь в Турку, с лучезарной улыбкой, как будто всю жизнь тебя ждала, страстно восклицает: — Здравствуйте! (что можно истолковать как: «Наконец-то!»). И с тем же выражением, выложив сдачу и чек: — Спасибо вам за покупку! — А то еще и хороших выходных пожелает. Затем в конце кассы молодой человек уложит молоко в фирменный пакет и тоже улыбаясь, поблагодарит тебя за покупку. А потом скажет интимно, как приятелю: — Заходите еще!

Ты выходил на улицу своего прекрасного, но погибающего голдного города с первоклассным молоком всемирно известной фирмы, с красивым пакетом, и чувствовал себя... как бы это сказать... ну, в общем, обосранным.

Нет, чтобы принять улыбку европейского человека и истолковать ее правильно, надо освободиться от предубеждений. Прежде всего, что все хотят тебя обмануть. И что всё продаётся. И нет ничего святого. И каждый за себя. А что все улыбаются, так это привычная гимнастика лицевых мышц, не более.

Но теперь я знаю, что «системная» улыбка, подаренная тебе незнакомым человеком, несет великий сигнал, яркий импульс, который заряжает всю житейскую атмосферу на целый день.

Даже если у тебя и у меня есть проблемы, ты посмотри, какое прекрасное утро! Как пахнет воздух. И как плывут облака. Давай не будем отчаиваться. Это всё чушь — что человек человеку волк. И никоим образом не волнует. Ты мне верь. А я доверяю тебе. И, если что — можешь на меня рассчитывать.

И это правда! Это истинная правда! Много раз мне доказанная. Испытанная мною.

И не беда, что это всё «системные» улыбки, предписанные негласными правилами поведения. Это как температура на градуснике. Улыбаются, — значит, 36 и 6. Общество здорово. Запас положитель-

ной энергетики, накопившейся в обществе, сказался в проблеме с сирийскими и прочими беженцами, когда немцы встречали их улыбками, аплодисментами и другими знаками внимания. Что было дальше — это другая тема.

Но, черт возьми, что мы за люди, что утром выходим из дому хмурыми, входим в толпу, заведомо считая ее враждебной, и только наводим на всех тоску. Сколько раз я себе говорил и сколько раз мне говорила жена: расслабься! Расправь морщины на переносице. Утепли взгляд. Посмотри дружелюбно на всякого, кто тебе встретится.

Нет. Идешь насупленный. Идешь изгоем и понемногу злишься. На кого мы злимся? Скорей всего, на себя.

\* \* \*

При походе в туалет было тяжело с дыханием. Сопровождала сестра. Едва вернулись — сразу ингалятор. Кто это будет делать дома? И что? Надо знать, уметь. Гале будет только хуже со мной. Неужели я не смогу вне больницы? Мне отсюда не выбраться?..

16 марта 2017 г.

Ночи тяжелые, тело затекает от долгого лежания. Воздуху мало.

Был профессор со свитой, но меня посещением не удостоил: а что толку, если не поговорить. Зато кандидат медицины Виктория послала мне яркую эксклюзивную улыбку в утешение.

## СИСТЕМА-2

Кроме отсутствия языка, за двадцать лет у меня возникало много поводов, чтобы чувствовать себя вне *системы*. Нет, законов я не нарушал. А так, по мелочам. То в студёный и ветреный день выйдешь в кепке, когда все, даже мои ровесники, в жидком венчике волос, ходят с обнаженными головами. То в теплый день наденешь сандалии с носками, когда все, кто в сандалиях, обязательно без носков. То в трамвае шикнешь на школьника, который дерет глотку прямо над твоим ухом. А то, напротив, молчишь сам, будто в рот воды набрал, когда все вокруг, отвечая карнавальной колонне, что есть мочи орут: «Хэла-ау!». Тут нет мелочей, всё важно — смотри в оба! И если я, допустим, лежу на больничной койке, а в шкафу лежат два полиэтиленовых пакета с вещами, то какой же я человек системы — у меня что, нет денег на чемодан? Или на сумку? Не уважаешь!..

Главный принцип системного существования: делай как все! Поэтому, если объявлен день роликовых коньков, то весь город встает на ролики, от мала до велика. Кто с детскими колясками — тоже. А если ты сам в коляске, то на роликах тот, кто тебя везет. Ну, а если нет у тебя коньков или нет сил, то стой, будь добр, на краю тро-

туара и скандируй вместе со всеми, хлопая ритмично в ладоши и приседая, когда проносятся лидеры гонки. Или те, кто их догоняет. Или те, кто и вовсе отстает. Придай им бодрости, и тебе засчитается...

Пойдешь в кино, прошу тебя — купи кулёк поп-корна, не обеднеешь. Зато будешь как все. Жуй! Жуй, когда тарачишь глаза на экран! Жуй!

Ну, а в октябре, в знаменитый пивной праздник «Октоберфест» посиди за длинным столом персон этак на сто, положи руки соседям на плечи, покачайся вместе со всеми. (О, боже!..)

Ну, кому какое дело, что ты со студенческих лет убежденный нонконформист, не терпевший даже хорового студенческого, обязательно беззаботного, пения. Про какую-нибудь «бабку Любку» или про какой-нибудь «чемоданчик». И что в филармонии на концертах никогда не хлопал в лад, а всегда поперек. И что никогда в отпуске не лежал вместе со всеми на пляже, а копал огород где-нибудь в черноземном Суздальском ополье, или босыми ногами месил грязь проселочных дорог, пробираясь к истокам Волги. Ты здесь не сам по себе, а член хорошо структурированного общества, филигранно отлаженной *системы*. Умерь гордыню, подчинишься правилам. Не разрушай форму. Будь, как все.

## ВETERАН

Вчера вечером к нам в палату на свободное место доставили старичка с Восточного фронта. Старичков с Восточного фронта я сразу узнаю. Откуда я их знаю? Разве я видел их в форме, в пору бытности их солдатами или офицерами во время последней войны?

Ну, конечно же, видел, иначе я бы с такой уверенностью не говорил.

Это было году в 44-м. Мне было двенадцать лет, когда я их в первый раз увидел не в кино, а вживую.

Из заблокированного Ленинграда мы с мамой попали на Урал. Под Свердловском, неподалёку от деревни Коптяки, в окрестностях которой закопали последнего царя династии Романовых и его семью, был посёлок СУГРЭС. Ну, ясно, что жизнеобразующим центром в нём была тепловая электростанция, построенная в 30-х годах людьми из бараков, в которых теперь жили мы. Дымили четыре трубы, накрывавшая посёлок и всю округу сизой шелковой мантией гари. Кроме электричества, побочным продуктом её деятельности был кипяток, горячая вода, которую можно было использовать для отопления. Подземные коммуникации в виде горячих труб частично уже были нами освоены: мы в этих теплых коллекторах зимой вполне комфортно прогуливали школу. Но трубы надо было вести дальше — в Пышму, километров за десять. И вот на рытье траншей для этих труб работали мужчины в серо-зеленых мундирах с погонами и петлицами, в пилотках или с непокрытыми головами. Стояли последние дни лета.

У многих были закатаны рукава. Это были типичные «фрицы», каких нам показывали в кино. Смотреть на них издали было можно, а приближаться не разрешалось. Было страшно, но влекло к ним неудержимо, тем более, что, разогнувшись в траншее, они, подзывая нас, махали руками. Мало-помалу наладилось общение, страх пропал, а на его место явилось, неведомо как и из чего образовавшееся сочувствие. Они кидали нам самодельные зажигалки, наборные мундштуки, значки, еще какие-то мелочи. А мы, швыряли в траншею картофелины, турнепс, луковицы и даже краюхи хлеба.

...Новому пациенту, наверное, было под девяносто. Молодость его пришлось на сокрушительно поражение. А может быть, и плен. В облике многих старичков, особенно с Восточного фронта, так и запечатлелось, — и не ушло с годами — бывшее разочарование. Воинственный дух молодости следа не оставил. Вместо него какая-то зябкость, как будто они еще не отошли от тех лютых русских морозов, не отгрелись. Был и протест, неизвестно кому адресованный. С ним я столкнулся в 1968 году, когда в первый раз попал в Германию.

Мы ехали в пригородном поезде из одного города в другой. Пожилой немец, сидевший на лавке напротив, услышав русскую речь, вдруг побагровел, вынул челюсть и замахал ею перед нами, шепеляво выкрикивая: — Сталинград! Сталинград!..

Мы пересели на другую сторону, но он не унимался, что-то выкрикивал и бубнил, бубнил и выкрикивал...

— И чего разошелся, — сказал поэт Сергей Давыдов. — Сидел бы дома и был бы сейчас с зубами...

Новый старичок был долголицый, худой, с длинными, давно не стриженными и не мытыми патлами. Его сопровождала семья — женщина лет сорока, — видимо, внучка (а может быть, поздняя дочь?), судя по внешнему сходству, — её муж и ребенок лет пяти, правнук или внук ветерана. Теплоты в отношениях всех четверых не было, как не было и улыбок, адресованных нам, соседям. Была лишь озбоченность и плохо скрываемое облегчение — никому не нужный одинокий старик пристроен, останется здесь. Женщина усадила сына за стол и дала ему ужин — какой-то салат в коробочке с пластмассовой вилкой. Он поел и вскоре они ушли.

Солдат сел на краю кровати и, достав мобильник, стал кому-то названивать. Жидкие засаленные пряди волос свешивались по обе стороны головы. Бодрым голосом он, видимо, говорил собеседнику о том, где сейчас находится, и вскоре прощался традиционным словесным штампом: — Чу-ус!.. (Что-то вроде нашего «пока!»). Потом позвонил второму абоненту... Потом третьему... И каждый раз прощальное «чу-ус!» звучало все менее приветливо и беззаботно. А по канонам системы оно должно быть произнесено с бодростью, с оптимизмом и даже беспечностью. И вот эти краски в голосе старика раз от раза тускнели, блекли... Нет, старый солдат явно никому не был нужен. Не интересен, не нужен. Безразличен, постыл. Никому. В целом мире.

Видимо, кроме меня. Я был моложе его на какие-нибудь пять лет. Но у нас была общая история. И я ему сочувствовал. И мне показалось, что я его узнал — это он звал меня тогда из траншеи.

*17 марта 2017 г.*

Медсестра Елизавета из Караганды пришла в сопровождении женщины-врача и сказала: — Вот ваша врачиха!

Мы поговорили. Это был уже третья женщина-врач, гладко зачесанная, с кичкой на затылке. Я подумал, что отсутствие интереса у женщин-врачей к прическам говорит о хороших перспективах немецкой медицины.

### МЕДАЛЬ

Первую свою Золотую звезду я получил за разгадку операции «Кроссворд». Это когда связной сообщил мне, что Центр не может настаивать на возвращении товарища Юстаса в Германию... тьфу! — в Россию... Ну, в общем понятно, что это не про меня, а про Штирлица.

А со мной дело было так. Консул Российской Федерации позвонил мне из Бонна и сказал, что по решению Президента я и моя жена, как блокадники, награждены юбилейной медалью «60 лет победы в Великой отечественной войне». Он уполномочен вручить нам их, так вот не соглашусь ли я встретиться с ним завтра в Майнце (можно без жены), куда он приедет по своим делам... Нет, конечно, Центр не настаивает... — Соглашусь, — сказал я. — Время, фамилия, явка?.. — Время в восемнадцать часов, фамилия моя Птоломеев, а место, будьте любезны, сами назвать. — Главный вокзал, цветочный киоск, — выпалил я. — А место встречи изменить нельзя? — спросил консул. — Дело в том, что я не на поезде, а на машине. — Условились встретиться у фонтана в конце бульвара Кайзерштрассе.

Он возник точно в назначенный час из кустов, отделявших фонтан от проезжей части, и, не здороваясь, спросил: — Ваша фамилия? — Я назвал себя. — А жены? — Не утаил и эту. — А ваша? — Я же сказал: Птоломеев! Вот ваши медали! — И вернулся в кусты. — Я крикнул вдогонку: — Но здесь в ста метрах гестапо! — Берегите себя! — ответил мне он уже от машины.

Я сжал по медали в каждой руке, — две медали это уже была агентурная сеть — и, перемещаясь от одной группы кустов к другой, никем не замеченный, миновал мрачное здание по правой стороне бульвара с привинченной к нему медной табличкой: «В подвалах этого дома, где помещалось гестапо, замучены сотни граждан города Майнца»...

А через пять лет раздался звонок и молодой мужской голос сказал: — Говорит консул Российской Федерации из Франкфурта! Решением Президента вы награждены медалью «65 лет победы в Великой отечественной войне»! — Уже? Так часто? — спросил я. — Таково решение Центра. Завтра я буду у вас дома в пятнадцать часов.

Жена испекла пирог. Я купил бутылку коньяка. Поставил три рюмки. Когда прозвенел звонок, я, чисто выбритый, в новой рубашке, распахнул дверь: — Прошу!.. — Ну, что вы... — услышал в ответ. — Вы у меня не один. Вот, получите... — И затопал по лестнице. И уже со второго этажа: — Поздравляю!..

А через пять лет письмо. Указом Президента вы награждены медалью «70 лет победы в Великой отечественной войне»... Вручение состоится... Концерт ветеранов... Банкет... Сообщите согласие.

Но ехать мы отказались. И получили медали, по-моему, вместе со справками о нахождении в живых. Наше присутствие в побежденной нами стране ежегодно свидетельствовал нотариус. Иначе пенсию из России не присылали.

А за год до этого нам еще вручили медали в честь семидесятилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это — да, это мы заслужили. Приближали как могли. Экономили для страны хлеб. Себе 125 грамм, излишки — для победы.

Так что, если прибавить еще полученные до этого, то медалей у меня полная грудь. За победу. Над Германией.

Только тогда — почему я здесь? Что я здесь делаю?

Выйти, что ли, как-нибудь при полном параде и пройтись с видом победителя?

### СИСТЕМА-3

*Система* не дает мне покоя, ну, что ты будешь делать. За двадцать лет, прожитых здесь, она и очаровывала меня, и раздражала, и ставила в положение чужака, и приходила на помощь в трудную минуту. Я хочу понять ее.

Сегодня ночью подумал, что, составляя вертикаль факторов, которые ее образуют, я многое упустил.

Сразу после Конституции и Закона нужно было сказать о государственной символике — флаге, гимне, эмблемах, всевозможных управленческих терминах — они почитаются всеми немцами и тут не нужно принимать закона об уголовной ответственности за искажение гимна — никому и в голову не придет его исказить. Если ты не знаешь слов или смысл их тебе безразличен, то какой же ты гражданин?

А как можно не расслышать в общем звучании государственного оркестра такой мощный инструмент, как налоговый кодекс? К нему немцы относятся с чрезвычайным почтением — и те, кто платит пятнадцать процентов налогов, и кто сорок пять. Нарушить его — это значит потерять лицо и моментально вылететь из системы. Хорошо, если не в тюремную камеру.

А другая священная корова системы — личная собственность. Поди-ка, преступи черту, где написано: «приват», посмотри, что дальше будет. Я однажды поднял большую красивую шишку, упавшую на тротуар с незнакомого хвойного дерева, стоявшего в палисад-

нике. Мой спутник, русский немец, сказал мне, что я должен быстрее вернуть шишку на место, так как она принадлежит владельцу дома, так же, как и дерево. А то ведь могут быть неприятности.

Непривычным для русского глаза при первых же шагах по немецкой земле будет единообразный стиль оформления. Оформление — чего? Да всего! Жизни! Городского пространства, рекламы, киосков, автобусных остановок, магазинных витрин, парадных подъездов, почтовых ящиков, площадок для мусорных баков, цветочных вазонов. Всё имеет форму, оформление, стиль! Он очень прихотлив и разнообразен, этот дизайнерский стиль, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается общий знаменатель. Никакой броскости. Никакой аляповатости. Классические пропорции, сдержанные цвета, благородные линии, строгие шрифты. Стилевое и цветовое сочетание с тем, что слева и что справа. Ансамблевое единство живого и рукотворного, цветов и камня, асфальта и травы. А главное — никакого хлама ни вблизи, ни вокруг. За двадцать лет я не встретил ни одного позабытого кирпича, ни одного перекошенного фонаря, ни одной лужи. Холодильники — да, стоят. Телевизоры стоят устаревших моделей. Мебель стоит — классика и модерн, прессованная стружка и орех, гостиные гарнитуры с велюром или зеленой кожей, как в английском парламенте. Правда, стоят недолго, пока не подоспеет или новый хозяин, или уборочная машина, которая всё это слущивает и перемелет.

Вот это системное оформление жизни и быта, выполненное в уважительном отношении к человеку, было знакомо нам, еще советским гражданам, по Эстонии, но у себя дома мы в нем не жили. Едва автобус, скажем, «Ленинград — Тарту» пересекал реку Нарву, мы, только что проехавшие Ленинградскую область и побывавшие в Ивангороде, попадали в иной, гармоничный, желанный, волнующий мир. Удивляло всё. Удивляло и радовало. Тогда еще, не потерявшие надежд, твердили: ведь можно! Вот прогоним *этих*, и у нас так будет. По сути дела, за этим, — за праздником для глаз, за душевным отдохновением, за глотком свежего воздуха мы туда и ездили. Ну, еще за керамикой.

Краеугольным принципом бытовой эстетики этого мира можно считать такое условие: ничто, уже однажды использованное, «не первой свежести» не может быть приспособлено «как-нибудь». Всё должно быть новое, с иголки и использоваться только по своему назначению. Наш, русский, принцип: «и так сойдет», «а это мы к этому приспособим» — вызывает у них только недоумение.

Эх, не понимают они нашей жизни и души русского человека. Недаром ведь говорят: что русскому хорошо, то немцу — смерть. А что же русскому хорошо? А что немцу? Вот кому что — надо разбираться.

*18 марта 2017 г.*

Сегодня воскресенье. К моему соседу из германской глубинки, из полей и лесов в окрестностях Кобленца приезжали сын, невестка

и внука. Судя по тому, как нарядно они были одеты, пострижены и причесаны, выбираться с насиженных мест им приходится нечасто — видимо, хозяйство не отпускает. Пока взрослые оживленно и громко общались, девочка в нарядном платье, которое, как и полагается в деревне, было куплено чуть-чуть на вырост, катала по всей палате чей-то ролятор.

Сам глава семьи принимал гостей с достоинством: демонстрировал, как с помощью пульта меняет свою конфигурацию кровать, показывал, к чему подключен, какие приборы. Он и болел с достоинством, лишней раз кнопку вызова персонала не нажимал, управлялся сам. Подхватив одной рукой чемоданчик с сосудами, к которому был подключен, а другой двигая стойку капельницы, шел, куда следует. Был он нескладен — приземист и кривоног, что выдавало в нем землероба. Таким же нескладным и корявым оказался и сынок, тоже, видимо, пахарь и сеятель. Гости тихо пообедали тем, что привезли, отчитались в делах по хозяйству и через пару часов уехали. И вот теперь он сидел на краю кровати с кульком в руках и жевал, жевал без конца чипсы и помес — угощения из картофеля, которых в обычной жизни, конечно, себе не позволял, считая их детским баловством, и которые посетители сочли лучшим приношением для больного.

#### ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ

Я спросил как-то у своего зятя Жилия: — Скажи, а немецкий бауэр мог бы построить самолет? — Мы проезжали красиво расчерченные, ухоженные поля. Желтым ровным пламенем, простираясь до горизонта, светилась необъятная плантация рапса, широкую полосу пашни украшали сине-зеленые султаны лука-порея. Лён, овес, капуста-брокколи, картофель были посеяны и высажены с превеликим почтением. — А из чего? — после долгой паузы спросил Жиль. — Из подручных материалов. — Жиль снова задумался, видимо, мысленно перебирая, что может оказаться у бауэра под рукой. Наконец, он сказал: — Я думаю, что бауэру лучше заниматься землей, сельскохозяйственными культурами. Птицей, скотом. А самолет кто-нибудь другой построит. — Может быть, ты и прав, — сказал я. — Но у нас не все так считают. Потому что у нас, в разных местах России, то один крестьянин, то другой строит летательный аппарат. Сообщения об этих происшествиях время от времени появляются в газетах. — Жиль снова задумался. — А зачем? — наконец, спросил он. — Объяснение, которое они чаще всего дают в суде, такое: в соседней деревне тещу пугнуть. — Помолчав, Жиль сказал: — Ну, это другое дело. — Сказав так, Жиль принял на себя чужую мужскую заботу. Вошел в положение, проявил солидарность. Своей озабоченности на этот счёт он не имел. (Вот и на-днях, в женский праздник, он купил две охапки мимозы — одну для жены, другую для тещи.) И разумеется, рассказом моим был впечатлен. Я и сам долго переживаю, ко-

гда встречаю газетный отчет об очередном воздушном происшествии и его виновнике. Поражает меня больше всего даже не сам полет, а неременная формулировка милицейского протокола: «...нарушая спокойствие граждан...». Как будто главная мечта русского народа — спокойствие. И ни слова о том, что он осуществил вековую мечту земляного невольника, русского пахаря — взлететь! И летать, как птица! Даже ценой падения.

*19 марта 2017 г.*

День с нарастающим ритмом движения. Ходил чистить зубы и обратно почти без одышки. Позже — мылся в душе, с головой — почти всё сам. Может быть, это уходит воспаление легких. Температуры нет, показатели крови хорошие. А вечером — брился, стоя у зеркала. Ресурсы мои явно возросли.

### ГРИБНАЯ ОХОТА

Ну, почему, почему здесь нельзя нарвать букет полевых цветов и идти с ним по городу! Как я любил, пока был ходок, рвать ромашки и зверобой на пустыре за плавательным бассейном, смолки и колокольчики на берегу Рейна, у спуска к воде, между камней.

Но этот букетик лучше спрятать в сумку, если не хотите показаться «чужим». «Свой» купит цветы в магазине или на рынке, и букет будет обернут фирменной бумагой. Для системных букетов тоже есть свой стандарт — и в подборе цветов, и в способе укладки — тесно, головка к головке, так что цветок мигот теряет индивидуальность — и в обертывании его бумажным воротником. Я не покупал таких букетов, они мне были чужды, разве что иногда дарили. Другое дело — дикий букет. Поставленный в подходящую стеклянную или керамическую вазу по законам японской «икебаны», он открывал неприхотливую красоту каждого цветка в отдельности, а вместе напоминал веселый ситчик цветущей лужайки. Только пчёлки над ним не хватало.

Настоящий член *системы* также никогда не снизойдет до сбора грибов, встреченных на лесной дорожке, как бы они не исхитрились заявить о себе и привлечь внимание. По-моему, здесь даже отсутствует волнующее каждого россиянина словосочетание «грибная охота». Древние русичи — народ-собиратель. Грибы, ягоды, дикий мёд, липовое и дубовое лыко, берёста, съедобные и лечебные травы шли не только на внутреннее потребление, но и на продажу. От кого я унаследовал этот инстинкт, даже не знаю.

Когда мне надоедал чужой урбанизм, я вставал затемно, в шесть часов, садился в автобус и с пересадкой в Висбадене ехал до конечной станции, в лес, на Солнечную гору (в Зонненберг). Пока я добирался, на горе светало. Мне шел седьмой десяток, и я без особого труда забирался по крутой верхней дороге на вершину гряды,

вдоль дубовых и буковых рощ, уплывающих все ниже и ниже по крутому склону, к ручью, к шоссе, по которому бесшумно сновали игрушечные автомобили. Лес втягивал меня и завораживал своей многозначительной тишиной, сознание моё становилось сомнамбулическим, воздух пьянил настоем прелой листвы, внимание становилось чутким к каждому шороху — от шуршания птицы в листве до стука упавшего желудя.

В лесу я был один. Это было настоящее лесное одиночество, нарушаемое лишь скрипом деревьев, стуком дятла или всполохом крыльев, да еще внутренним диалогом, который ты произвольно ведешь в лесу — даже непонятно с кем. Здесь были находенные, глазами обшаренные грибные полянки, тропинки. Пока ехал, как убежденный оптимист и лакировщик действительности, представлял каждое такое местечко в его лучшую пору — с семейками белых, россыпью лисичек и даже ярких жизнерадостных рыжиков. Бывало, после таких галлюцинаций приезжал в совершенно пустой лес и возвращался ни с чем. Но чаще — с добычей. Особенно в сезон опять, когда они дружно глядят на тебя с каждого пня, с каждого упавшего дерева и умоляют: возьми нас! Ведь пропадем! Возьми!

На восьмом десятке приходилось уже прислушиваться к перебивам дыхания, к биению сердца. Но я не сдавался. Я завел трость. Она служила опорой, а в некоторых случаях и крюком, цеплявшим гриб на склоне, после чего он самоходом катился прямо в корзину.

Грибная страсть вела меня наверх и на девятом десятке, — правда, в самом начале, пока еще окончательно не одолела одышка. Эти два-три восхождения, напоминавшие не грибную охоту, а скорее какой-то цирковой трюк, вроде ходьбы по наклонному канату — с балансированием, с частыми остановками, рискованными шагами — наполняют мою душу гордостью до сих пор.

Вот, к примеру, как я встречал день рождения жены и, кстати, свой юбилей. Как всегда, встал в шесть. Приехал на Зонненберг еще в утренних сумерках. Однако быстро светало.

И вот на нижней, более отлогой дороге, обследуя зорким, всевидящим взглядом горный склон справа, я заметил нечто похожее на шляпку белого гриба-перестарка. Трость до него не доставала. Подняться по склону на встречу с грибом казалось сложным и рискованным делом. Азарт молодой, страсть первозданная, а кости-то старые! Неровен час, что-нибудь поломаешь. Например, шейку бедра. А то и просто шейку. Страсть пересилила. Как я держал равновесие на сорокапятиградусном склоне, одному Богу известно. Но был вознагражден. Вокруг перестарка тихо существовали еще четыре шоколадно-головых крепыша. Произошло это на 10-й минуте моего попадания в лес, а все остальное время стало безгрешной и бескорыстной прогулкой. Несколько перестарков, парочка молодых еще обнаружилось, но в целом прекрасный, гостеприимный горный лес ничего,

кроме запахов, птичьих голосов и двух стремительно летящих ко-  
силь, предложить не мог. И слава Богу. Я и так вернулся еле живой.

Через несколько дней хвастался петербургскому другу:

*Я уже нашел семь белых грибов и на Галино рождение соорудил  
знатную похлебку, до сих пор стоит запах. В лесу (на горе под Вис-  
баденом) чуть концы не отдал, но своего добился. Тебе — того же!*

Легкомысленный друг отвечал:

*Дорогой Вова! Я не понял — чего ты добился в лесу под Висба-  
деном, чуть не отдав концы? Сперва подумал о сексе. Поздравляю. К  
юбилею это хорошо! Других трактовок не принимаю. Обнимаю. По-  
пов. Без грибов.*

Сразу видно, что он не грибник, и что у него другое на уме. Хо-  
тя и написал повесть «Грибники ходят с ножами».

Но была у меня в этом лесу еще одна тайная страсть... А, может,  
игра?.. Нет, скорее фантазия. Я вдруг воображал себя... — чёрт зна-  
ет, почему! — бежавшим из лагеря военнопленным. И вот я бегу, бе-  
гу. Куда бегу — я не знал. Но я знал, что за мною погоня. И я видел  
отлично, что этот лес меня не спасет, выдаст! Он весь просматрива-  
ется насквозь, и в нем негде укрыться. Нет ни подлеска, ни кустов,  
ни бурелома, как в русском лесу. Одни деревья, стволы, открытые от  
подножья до кроны. Что же делать?.. Изредка между ними возлегает  
большой, укрытый мхом, камень. Разве что — за ним?.. А они уже  
догоняют!.. Можно зарыться в лесную подстилку, скопившуюся  
здесь, бог знает, за сколько сезонов... А они всё ближе!.. Нет, надо  
свернуться калачиком и катиться кубарем до самого ручья. А там —  
как Бог даст!.. Я не успокаивался, пока мысленно не пролагал себе  
подходящий маршрут.

От кого мы всё время прячемся? От кого бежим? Ведь за нами  
давно уже никто не гонится. Никто! Никто! Никто!

*20 марта 2017 г.*

Первое утро, когда я не нуждаюсь ни в чьей помощи, допингах  
и так далее. Бодро встал и легко прошел в туалет, где лихо проде-  
лал всё, кроме чистки зубов — кто-то из выбывших стариков прихва-  
тил мою щетку и пасту, из-за которых в реанимации две недели на-  
зад мы устроили балаган. Значит, всё дело в воспалении легких, ко-  
торое, наконец, отступило. Хоть спокойно, под радиомызыку позав-  
тракаю, а там и Галя придет. Все больше мерещится романтический  
запах украинского борща из шестнадцати компонентов и анафемски  
аппетитные пирожки, которые Галя почему-то называет «московски-  
ми». А также собственноручно приготовленная капуста-провансаль.

К слову сказать, мой зять Жиль, наполовину француз, родом из  
Прованса. Говорит, что никогда о такой капусте не слышал. А друг

из Висбадена, в прошлом москвич, попробовав, сказал: — Слушайте, это что-то из детства... По-моему, это капуста-провансаль.

Ну что ж. Каждый живет в своем заблуждении.

## СВОБОДА И ВОЛЯ

Один мой гость из Петербурга подвел итоги своего пребывания на германской земле так:

— Всё понятно. Свобода у них есть. Но у них нет воли. А что это за жизнь, когда всё по регламенту? Я ведь не тварь дрожащая, а право имею...

Это он повторил то, что заронил в нас Фёдор Михайлович Достоевский в те ещё времена, когда мы были спелёнуты страхом не то, чтобы перед законом, а скорее перед беззаконием. Да что вы, какое право!..

Честно говоря, я и сам думал так. Но не всегда. По молодости просто не задумывался, жил в смирении. Правда, однажды сорвался на институтском профсоюзном собрании — какая-то сила подняла меня с места и бросила на трибуну на защиту студентов, проживающих в общежитии с крысами и плесенью на стенах. Председатель обозвал меня демагогом и дал понять, что это не всё, чего я заслуживаю... Всё могло быть, время было суровое.

А потом долго не мог понять значение слова «воля». «На свете счастья нет, но есть покой и воля» — это что Пушкин имел в виду? Ну, «покой», допустим, понятно, а вот «воля» — это что такое? Волевое усилие? «Волевой характер»? «Сила воли»?

Лишь потом до меня дошло: он имел в виду возможность совершать поступки без принуждения, вольно, по внутреннему велению. Воля — это то, что не имеет ограничений, это спонтанный поступок без причины и плана. Это удовольствие следовать за причудами, капризами, тонкими реакциями своего существа. Импровизация в слове и деле, мысленное прозрение, душевный порыв — вот что такое воля. Творчество — это воля — и даже своеволие в чистом виде и в высшей степени. Оно рождалось на наших глазах даже в отсутствие гражданской свободы, под угрозой физического уничтожения. Примеров этому в нашей истории тьма, а самый яркий из них — Шостакович. Уж как старательно он изображал из себя невольника, покорного слугу тогдашней системы, — такого, как все. И выступал, и подписывал, и в президиумах сидел. Но свободней его, смелее, своевольнее не было никого. Это становилось ясно после исполнения каждой новой симфонии. И тут уже начальство делало вид, что всё понимает: да, замечательно, музыка «наша», прославляет, мобилизует... Правда, случился однажды сумбур вместо музыки, но это было давно. И ему простили.

А еще он умел налить себе стакан водки и выпить его в два приема. Ради удовольствия. Воля и удовольствие — ведь однокорен-

ные слова. Покажите мне в Германии композитора такого уровня да чтобы он еще мог выпить шнапса в один присест больше тридцати трех граммов.

Воля выше свободы, потому что она остается с тобой даже тогда, когда тебя свободы лишили. В казарме. В лагерном бараке. В тюремной камере. Достоевский называл это подпольем. Здесь, где ты невольник, ты, оказывается, волен делать все, что захочешь. Ты волен думать, переживать, вспоминать, мечтать, читать стихи, крыть матом недругов, фантазировать, напевать любимую арию, перевоплощаться в любого героя. Ненавидеть и любить, предаваться печали и радоваться. Ты можешь в любой момент совершить поступок, которого от тебя не ждут. Ты можешь покрыть свое имя позором или славой. Ты хозяин себе, ты сам по себе, хотя и несвободен. Воля будет с тобой до конца, до смертного часа. Недаром есть выражение: «последняя воля».

Что это был за фильм — где-то в 60-х — и какой страны производство не помню, но финальный поступок героя и ныне перед глазами. Представьте: сидит скорбный господин на стуле возле постели умирающего родственника, распахнув от плеча до плеча газету. И вдруг эта газета в его руках начинает тлеть, а потом полыхать огнём. Он в ужасе отбрасывает её, и мы видим того, кто на смертном одре: в руках у него зажигалка и он смеется... Прямо хохочет! Вот — человек исполнил последнюю волю — и умер. Сделал то, чего от него ни герои фильма, ни зрители не ожидали. О, какая завидная смерть!

Свобода же с тобой лишь до тех пор, пока ты не преступил закон. Или не слёг.

Свобода — надёжна, стабильна, похвальна.

Воля — случайна, рискованна, под подозрением.

Что же лучше? Чему отдать предпочтение?

Да ничто не лучше, не хуже. Они — две стороны одной и той же медали. Кому какая ближе.

Ах, какой прелестный пример двуединства свободы и воли, закона и случая сохранила байка из давно минувших времён!

Барин у станционного зрителя спрашивает:

— Лошади будут?

— Обязательно! — горячо отвечает зритель. А затем потише, разведя руками: — Но не наверноЕе...

Всё понимал человек.

\* \* \*

### **Алексей АРРО**

#### **РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ**

В Рязани, штат Кентукки, живет моя сестра,  
И я решил со скуки, что в гости мне пора.

На пароход «Титаник» билет я заказал.  
«Прощай, родной Оксаник», — жене своей сказал.

«Титаник» натолкнулся на глыбу изо льда.  
Когда же я проснулся, кругом была вода.

Кипучая пучина и тонущий народ...  
И что ж я, дурачина, не сел на самолет?

Как будто «Наутилус» в пучину я нырнул.  
Сознание помутилось, но я не утонул.

Как выплыл я на сушу, с тех пор штаны сушу.  
Поймал большую тушу, теперь ее тушу.

Шумит волна морская и тушится бизон...  
Видать, судьба такая, что стал я Робинзон.

Бизоном пообедав, прилягу на траве.  
Надеюсь, людоедов здесь нет на острове.

Я дом себе построю, бизонов приручу,  
И я от вас не скрою, назад я не хочу.

Мустанги одичали, хоть были лошадьми.  
Как лошади вначале приручены людьми.

Легко мы приручались печеным калачом,  
Хоть в церкви не венчались, печалюсь ни по чем.

Бизоны и мустанги скучали по жене,  
Как я по той Оксане и как она по мне.

Я тоже одичаю, подобно лошадям,  
Я по жене скучаю и по другим людям.

Но нет теперь резону по прошлому скучать.  
Так дайте ж Робинзону спокойно одичать.

*1998. Мёнхенгладбах*

*21 марта 2017 г.*

Пришел очередной практикант — брать кровь. Ремень надел с трудом. Дезинфекцию забыл, сбегал. Пластыря не нашел, зажал кровь тампоном: сама остановится. На прощанье чихнул — я поздравил. Ушел, оставив на тумбочке все причиндалы.

Идет новое поколение?

## СВОБОДА И ВОЛЯ-2

Что ж это за народ, который ценит волю выше, чем свободу?

А вот тот, про который Федор Михайлович мог написать: да что ж вы, господа, не понимаете, что для него  $2 \times 2 = 4$  и не жизнь вовсе, а

начало смерти? (Имел в виду вообще человека, но прежде всего русского, которого лучше всего знал). Потому что, русский человек все сделает, чтобы отыскать это  $2 \times 2 = 4$ , подвиги совершит, океаны переплывет, жизнью пожертвует (своей, добавим мы, и чужими!), но как найдет, так сразу и заскучает... По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении цели... Ну, нашли, выстроили, а дальше-то что? Ни язык не показать, ни кукиш. Один удел: стать фортепьянными клавишами, чтобы по нам стучали, как им вздумается.

Достоевский не был свидетелем, а мы с вами были. Дважды! Как что дальше? Ломать!.. С тем же остервенением, с каким строили. Рушить до основания, а затем... Некоторые умники ныне спрашивают, каламбура: а зачем? А затем, чтобы снова искать. Потому что поиск и есть содержание и цель жизни, а вовсе не его результат.

Ну, а насчет разломать... вы не беспокойтесь. Разломать иногда что-нибудь тоже приятно, успокаивает нас Достоевский. И вообще у русского народа замечается странное — для наблюдателей со стороны — качество. Вместо того, чтобы сделать что-нибудь выгодное для себя, он иногда делает себе во вред. Не любит, видишь ли, одно лишь благоденствие, а любит еще и страдание. Да больше того — иногда любит страдание больше всего остального, до страсти. Потому что страдание и есть причина сознания, побуждение к поиску, а стало быть, выгодно человеку. Поэтому, по мнению Ф.М., человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. А как иначе? Иначе — значит отказаться искать и строить? А зачем тогда жить?

Так что, говорит Ф.М., я согласен, что  $2 \times 2 = 4$  превосходная вещь, но и  $2 \times 2 = 5$  премилая иногда вещица.

Ну да, вяло соглашаемся мы, если она снова не ведет нас к химере, к утопии, к самоуничтожению... Россия только и делает, что ставит эксперименты над собой и своим народом.

Пушкин, как говорится, не читал Достоевского.

Ну что ж, и Достоевский не читал Солженицына. А то б они знали, что бывают времена, когда нет ни свободы, ни счастья, ни покоя, ни воли, а есть один произвол. Дело в том, что «воля» и «произвол» тоже растут из одного корня. (Только, умоляю, не говорите мне о жертвах произвола при самодержавии! За весь 19-й век по политической статье был казнен 41 человек.)

А как сейчас?

А так — любимся на очередной «венце творенья». Построили властную вертикаль, встали с колен, вырастили криминально-олигархический капитализм, единоличную диктатуру, отдали все ключевые посты офицерам внутренней службы, перессорились со всем миром, носим хоругви, вернулись в средневековье за духовными скрепами. Всё, чего добились на баррикадах и в словесных баталиях в 90-е, летит в тартарары!.. А как же воля? — спросите вы.

А то сами не знаете. Чтобы иметь на нее право, нужно подать заявку за пять дней. Даже если кто-нибудь умер. Без заявки, спонтанно, волю может проявить лишь один человек.

Что же делать?

А что делать — народу нравится. Испытывает глубокое удовлетворение и чувство превосходства над всеми.

Ой, что-то он не договаривает, народ!.. Прикидывается.

Это с ним бывает. Он ведь артист. Скоморох. Комик. И правильно, говорит, что у него 40 миллиардов. А как же, ведь всё на нём! Чечня, Сирия, футбольный чемпионат. Крым, а что Крым? Если бы не мы, то Америка. Ну, и что, шесть дворцов. Значит, надо. У царей, что ли, не было? Не пообедем. А как не быть двадцати миллионам за чертой бедности? Ведь Америка гадит. Англичанка гадит. Франция, и та гадит. Господи, не оставь, помоги!..

Потом как жахнет!.. И дворцы, и кресты полетят. И все удивятся: откуда?

Воля-волюшка — наша долюшка,  
Да иной мы долюшки  
Не хотим,  
В синеве кружим  
Стаей быстрою,  
Нашей волюшкой дорожим! — поют в народе.

Ох, опасная это публика. Особенно молодежь...

А нам что делать, которые в подполье? Мы ведь тоже народ.

Как что — кукиш показывать и язык, как они показывают нашей Конституции и нашим правам. Помнится, Эйнштейн тоже язык показывал, когда своё выстроил и все закричали: виват! А он им — язык! Вот такой язычище!

Так что, ничего больше искать и строить не будем? Станем фортепьянными клавишами? Штифтиками? Винтиками?

Да разве мы себе хозяева? Будем делать, что суждено. Как закодировано. Никуда не денемся.

*22 марта 2017 г.*

Врач подтвердил выписку в понедельник. Сейчас долечивают, наблюдают, сравнивают показатели. И потом решат — подбирать аппарат или отправлять домой без кислорода, чего я боюсь. Пока динамика моей болезни, переходящей в выздоровление, их удовлетворяет.

### СВОБОДА И ВОЛЯ-3

Вот маньяк.

Свобода, благоденствие через подсчёт, через план, через систему — продукт левого полушария мозга, где и помещается это злополучное  $2 \times 2 = 4$ .

Воля — продукт полушария правого, где зарождаются художественный образ, метафора, энергия заблуждения, музыка, мистика, способность мечтать, любить, фантазировать, верить — одним словом, всё иррациональное, чем одарена наша натура.

Таков, видать, и весь наш народ: мечтатель, мистик, выдумщик, легковер, способный во имя своей веры (или — неверия?) многое совершить — как во благо себе, так и во вред. Как доброго, так, однако, и злого.

Откуда это идет? Тут без генетики, видно, не обошлось.

Страсть к иррациональному, к нарушению причинно-следственных связей пытливые умы нашего отечества заметили уже в русских сказках, то есть, в детстве нашей литературы. Если европейские три поросенка в зависимости от своего прилежания и вложения сил получают вполне заслуженный результат, то в русской сказке курочка-ряба, да и другие герои ведут себя необъяснимо. Вы посмотрите, что они делают. Снесла курочка золотое яичко. Дед и баба бьют-бьют золотое яичко (зачем?), а разбить не могут. А мышка пробежала, хвостиком махнула — оно упало и разбилось. Это что ж получается, чем меньше сил затратишь — тем лучше результат? Нет, не так нас учили три поросенка. А курочка-то о чем думает куриными своими мозгами? Не плачьте, говорит деду и бабе, снесу вам другое яичко, не золотое, а простое. То есть, как не плачьте? Что же они, слабоумные, разницы не понимают? Полный абсурд!

А что это за Емеля, которому всё достается по его «хотению» и по щучьему велению? Мечта о волшебном достижении счастья вместо тяжелого труда (как у иноземцев) — вообще красная нить русских сказочных размышлений. Она не ушла с веками, возвращается в разных формах, хотя и называется теперь (с оттенком презрения) — халявой. У героев немецких сказок таких привилегий нет. «Ohne Saat keine Ernte». (В переводе с немецкого: «Как потопаяешь, так и полопаяешь»).

А кто ж такой Иванушка-дурачок, оказавшийся на поверку самым умным и самым положительным? Опять нарушена европейская логика. (Французы говорят: Если человек дурак, то это надолго). Но у нас по-другому. По-моему, Иванушка-дурачок этот вообще прародитель любезных русскому сердцу «лишних людей» в литературе, как сейчас говорят — «лузеров» — всех этих Онегиных, Печоринных, Чацких, Треплевых, Войницких. Тайная симпатия русского народа к Иванушке—дурачку, победившему предприимчивых, рассудительных братьев, так и вошла с ним в 21-й век, невзирая на разгул и победное шествие дикого рационализма. А уж русская интеллигенция ни за какие ватрушки не променяет своего возлюбленного Илью Ильича Обломова — такая в нем фатальная глубина, такая сакральная сила, хотя он и лежит на диване при занавешенных окнах. («Не понимаете!.. Его же надо понять!»). Нет, не променяет ни на кого, тем более на Штольца с его системой.

По Достоевскому — система удовлетворяет лишь одну, рассудочную потребность человека, воля — всю натуру целиком.

К системе может быть много претензий и главная из них в том, что в коллективе человек утрачивает индивидуальность. А ведь это самое дорогое. Система склонна нивелировать личности, только и ищет возможности постричь всех под одну гребенку, а то и scomандовать им: «ать-два!». А то ещё и «...шаг влево, шаг вправо, стреляем без предупреждения!..» Знаем, проходили!.. Роковая склонность и немцев, и русских к коллективности — что поделаешь, тут они схожи! — окрасила кровью весь двадцатый век.

За системой нужен глаз да глаз. И не только в виде законов и установлений, но и неограниченной воли людей, выражаемой свободными выборами, митингами, демонстрациями, забастовками, общественными расследованиями, бесцензурным голосом прессы, карикатурами, анекдотами. И даже, извините, фигой и языком. Вот только тогда ее продуктом становится благоденствие. Благоденствие — о-о, какая это роскошь, если для всех и для каждого!..

Воля в чистом виде — тоже опасная штука. Множество свободных, ничем не ограниченных волей это вольница, анархия, хаос. Это главенство тех, у кого кулак крепче и глотка сильнее. А позже — у кого больше денег.

Как ни крути, на «хочу-не хочу» в обществе не проживешь. Всё равно получается, что каждый что-нибудь обществу «должен». Хорошо, если то, что ему нравится или что он лучше умеет. А бывает независимо от этого: должен и всё! Например, защищать родину. Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим. Каждый, кто служил в армии, это проходил. И ничего, терпимо.

Получается, что без системы воля никак невозможна. Так же, как система без воли. Пусть лучше живут вместе, дополняя друг друга. Видимо, они так и задуманы. Слушайте, а может, немец и русский — не противоположность друг другу, а взаимное продолжение. А почему нет? Вот пишут, что ирландцы (кельты) и русские — как близнецы-братья. И то их роднит, и это... Легкомыслие, любовь к приключениям, к бродяжнической жизни, к застольной беседе, юмор... А с немцами, если мы и противоположности, то это ведь тоже единство, так нас учили.

*23 марта 2017 г.*

Слушайте, а я ведь больной! И мне нельзя волноваться. Лечение и так затянулось. Как хочется домой, к столу, на балкон, в парк под балконом. Да страшно. Воздуху не хватает. Чуть отключу свои трубки — кажется, вот-вот задохнусь. Дышать, дышать!.. Воздуха мало!..

Вот привезли на свободное место нового старика. Капельница с двумя флаконами. Кислородные трубки в ноздрях. Аппарат искусственного дыхания каждые три часа. То же, видимо, что и у меня — недостаток кислорода в крови. Лёгочное воспаление.

И что же? Чуть освоился, оклемался — сел перед тумбочкой, тетрадь вынул и ну давай записывать! Мать честная, так это же наш человек, свой. Никак, писатель? Моё отражение? И внешность подходящая, и самодостаточность явная — вон, чуть въехал, сразу стал себя нитью обматывать, кокон вить, отделяться. И глаза ясные — отражают постоянное биение мысли. Жаль, не поговорить. И на меня, тоже пишущего, не обращает внимания. Ну, и правильно делает. Это я тут за двадцать дней одичал, то и дело оглядываюсь вокруг себя, ищу компании. А он, видно, дорвался до одиночества.

Ну, что ж, не буду мешать, займусь своим делом.

### РАЗРУШЕНИЕ ФОРМЫ

Федор Михайлович Достоевский, как известно, чрезвычайно почитаем на Западе. В Висбадене, что неподалеку от Майнца, вхожу как-то, понимаете ли, в курзал, — туда-сюда всё интересно, вдруг смотрю: табличка — «Зал Достоевского». Вот где, оказывается, «Игрок»-то задумывался! А не здесь ли он платье Анны Григорьевны проиграл? (Нет, не здесь — в Баден-Бадене).

(В скобках не могу не упомянуть и такого обстоятельства: в этом зале мой сын Константин однажды проиграл «Картинки с выставки» Мусоргского на одном из заседаний Общества Достоевского).

Я это к чему вспомнил, что как-то не вяжется любовь немцев к порядку, к целостной форме с таким, скажем, высказыванием их кумира, разумеется, вложенным в уста героя:

«Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится».

М-мда...

Могли бы уж мы перенять западную систему с ее улыбками, приветствиями при входе в лифт, так ведь что-то так и подмывает, когда останешься один, поджечь пластмассовые кнопки на пульте. Или по стене полоснуть. Разве нет?..

Так что поулыбаться можно, ножом-вилкой управиться, без ушанки, там, на легкий морозец выйти, а остальное — извините — каприз мешает.

Но и улыбка у нас пока специфическая.

Особенность нашей актуальной системы какая в отличие от немецкой или даже от наших, прежних? А в том, что немцам даже в голову не приходит: главные преступники это те, кто поставлен системе эту охранять, то есть, люди в погонах. То одного, то другого сажают. Да с каких должностей! Начальник управления противодействия коррупции. Главный тюремщик страны. Начальник управления собственной безопасности. И так далее, и так далее... Стало быть, это они первые разрушители формы, закона, регламента. Никогда,

как говорится, не было такого, и вот — опять! В этом наша беда. Но и большая надежда... такая большая гарантия самораспада. Подавят-ся. Друг друга сожрут, перебьют. В окно выбросят. Так что чего уж нам глотки драть, сатиру писать, подставляться на митингах. Это слишком изысканно. Много чести. Достаточно и пролет Литейного моста поднять прямо под окнами петербургского ФСБ с изображенным на нем фаллосом — а вот этого не хотите?

Вот такая улыбка, простите. А, кстати, за неё арт-группа «Война» получила международную премию. По-моему, по заслугам. До сих пор внутренне хохочу — не могу успокоиться. Да что я, говорят, весь Большой дом хохотал.

Не зря еще Лесков говорил: жить в Европе удобно, а в России забавно.

А в остальном — мы за форму, за правила. Только — если для всех. Тогда, может быть, и с капризом управимся.

Или вот еще.

В нашем отечестве — что ни день, то новый запрет. Того нельзя, этого... Самим можно всё — украсть два миллиарда долларов, вырубить реликтовый лес, проход к морю перегородить, на человека наехать и его же сына отдать под суд. У них ведь тоже каприз. Неукротимая тяга к разрушению.

Все остальные должны пребывать внутри формы. А чтоб она не развалилась, надо ее подпирать, укреплять неустанно. Законами, уговорами, показательными процессами. Полицейскими автозаками. Страхом. А теперь вот еще и национальной гвардией. Этого нам еще не хватало.

Больше всего они боятся бесконтрольной воли. Типа волонтерского движения. (Эх, пропустили тимуровское, поздно родились!) Или каких-нибудь неформальных клубов. Или, упаси Бог, толковища на улице или на бульваре, вроде «Оккупай Абай!». В общем всего, что в цивилизованной системе называют гражданским волеизъявлением.

Стихийная воля, она от кого исходит в первую очередь? Естественно, от молодежи. Когда системы становится слишком много, воля так и прёт, так и брызжет изо всех щелей, тянет к хаосу и разрушению. Возникают арт-группы. Рождается сленг. «Приколы» всевозможные. Ну там, мошонку к мостовой приколачивают. Появляются новые формы публичного протеста: флешмобы, перформансы, хепенинги. Поди, уследи за ними.

Теперь каждый пятиклассник знает, как эту систему унылую обдурить. А почему нет? Учителя в избирательных комиссиях жульничают, разрушают выборную систему. А мы им стихотворение расскажем сверх школьной программы: «Маленький мальчик нашел пулемёт. Больше в деревне никто не живёт».

Надо ж, какие шустрые, мы так не умели. Самое большее — могли классную доску чесноком натереть.

Молодежь и при монолитной советской системе была самым чутким приёмником новой формы и последовательным разрушителем старой. И умела находить короткую дорогу к цели. Что объединило ее с западной молодежью в 60-е? Джинсы. Что разрушило идеологические барьеры в 70-х? Битлы. Поп-культура. Что навсегда выбило российскую молодежь из-под надзора в 80-х? Всемирная паутина. Что навсегда связало людей поверх всевозможных барьеров? Коммуникации. Всякие гаджеты, смартфоны, айфоны, скайпы, ютьюбы, социальные сети. Всё! Они непреодолимы.

Так куда мы денемся? Мы обречены вползать в мировую систему, наполняя общую для всех матрицу своим уникальным содержанием. Балдёж, стёб, чувство юмора, неприязнительность в быту, способность выживать в нечеловеческих условиях, русская удаль, гениальный поэтический дар, музыкальность — пусть это будет нашим вкладом в многоцветную палитру этого мира. Русский менталитет давно уже пора объявить национальным достоянием, как украинцы, к примеру, объявили то, что им дороже всего — сало.

Мы бы давно уже были в этой цивилизационной системе, если бы нас не придерживали. Что русский этнос слабее финнов? Жили столько лет вместе, в одной империи. С неба звёзд они не хватили. Богатством не славились. Талантами тоже. Как-то я имел неосторожность в общении с моими эстонскими друзьями похвалить финнов за продвинутость в этих самых цивилизационных вопросах. — Да ты что! — вскричали они. — Финны не знали, что такое постельное белье, это эстонцы им объяснили.

Посмотрел в интернете — всё так. Спали на земле, шкурами укрывались. Ну, что поделаешь... Но это было давно. Сейчас — рафинированная цивилизация.

Что с нами случилось, что нам теперь приходится их догонять? Кто виноват?

В первую очередь, конечно, начальство, черт его подери... с его утопией... с его «все, как один, в едином порыве...» Сами верили, нет? Да Бог с вами!.. А многим успели внушить, что мы самые-самые, впереди планеты всей, и люди в других странах вот-вот поймут, что и у них иного выхода нет, поскольку это неумолимый закон истории... Надо лишь чуть-чуть подтолкнуть, объяснить, а где надо, нажать. Ну, там, пугнуть. Кое-кого изолировать...

Опутали народ «сетью политического просвещения». Пастыри наши, ораторы, подпевалы — все еще живы...

Всё берегли нашу девственность, на запад не выпускали. А уж если выпускали, то всё делали, чтобы мы чувствовали себя там людьми без достоинства, внутренне и внешне зависимыми, подотчетными, жалкими — всё равно, кто ты — рабочий или народный артист. Чтобы не забывали: от того, как ты себя сейчас поведешь, зависит твоя дальнейшая жизнь.

Но и сам народ, особенно его крестьянская и происходящая из него маргинальная часть общества быстро уставала на западе, боялась нарушить правила, в музеях скучала, отталкивалась от непривычных форм жизни, отводила глаза от витрин. И всё туда, туда норовила — на фломаркт, по-нашему, на барахолку.

Но вот пал занавес, каждый мог ехать, куда его глаза глядели. Тратить, что заработал. Или украл.

Быстро наездились.

Та же болезнь, что диагностировали Достоевский, Тургенев, Чехов, размышляя на тему «русские за границей»: комплекс неполноценности и спесь.

Ну, а что делать? В систему ихнюю не войти. Волю не проявить. Так на черта она сдалась, эта заграница, если ты там не можешь натуру свою раскрыть, а становишься почти сходу человеком второго сорта, прихлебателем. А на самом-то деле — у них всё проедено, продано, предано. Нет перспектив. А у нас всё в сохранности. И всё главное еще впереди. Мы и без них проживем.

Потом это называли русский ресентимент.

Ну, ладно, привыкнем. У себя построим систему. Суверенную. Вот только *этих* заменим. А с ними и главный принцип устройства: человек — на первом месте, а не государство с его бюрократией. И даже не общество. А Человек.

Конституция у нас хорошая, умными людьми писана, начнем соблюдать.

Законы, если пену последних лет сдуть от взбесившегося принтера, то и они терпимы при условии, что следовать им будут неуклонно все и без исключения.

Нравственные законы тоже понимаем, не первый год на свете живем. Кто хочет, пусть повторяет за бородатыми мудрецами-пророками, жившими тысячи лет назад: не убий, не укради, не прелюбодействуй... Кому мало, для тех существует великая русская литература, созданная в сходных моральных и нравственных категориях.

Но вот есть камень преткновения, есть. Ох, боюсь, нам его сходу не преодолеть. Потому что он дремучий, вековой, весь лишайниками и мхами покрылся... А главное — все к нему притерпелись. А не преодолев его... ну, что ж, говорить не о чем.

Идешь по улице европейского города. Илиходишь в трамвай. Или в магазин... То и дело тебя свежей душистой волной обдает... И больше, извините, ничем...

Ну, вы понимаете, о чем я. Пора, пора уже государству на горячую воду для всей страны раскошелиться, на всеобщую канализацию, на европейский подход к сбору и утилизации мусора. Чтобы ты еще родиться не успел, а тебя уже ждет душ, ванная, теплая уборная, чистое жизненное пространство. А не выгребная яма.

Трубы — лежат по горам, по равнинам, по странам и континентам, по дну рек, морей, океанов. Северный поток, Северный-2, Юж-

ный... Голубой поток, Турецкий поток, Сила Сибири. И еще десятка два магистралей. Это ж сколько стали ушло, какая прорва техники, людской энергии, материалов!

А проложить в отечестве трубы с несравненно меньшим расходом металла, чтобы у всех был водопровод и канализация, за все сто лет так и не удосужились. В русских селениях 80 процентов людей живет без канализации, треть без водопровода и газа. Все — без горячей воды. Все!.. В городах и поселках необъятной страны — ненамного лучше. Ну, какой дизайн, какая икебана с удобствами во дворе?

А вдобавок — бездорожье: непроходимые лужи в центре городка или поселка, непроезжие ямы, вязкая грязь и скользкие, хлипкие доски, брошенные кое-как. Какие улыбки, какой дезодорант, вы что? Тут в воздухе висит не душистая волна, а поголовное нарушение языковых правил — сплошной неформат. Мат-перемат!.. И пьянь беспробудная. А вы как хотели? Человек без канализации — в принципе, варвар. Ему реформы не нужны, он их не потянет. Он из-за этого убиваться не станет, а уговорит себя, что и так сойдёт. Сыты будем — и ладно. Наши отцы и деды и не такое терпели. Начальство это знает и пользуется: то и дело сообщения — там водоразборную колонку торжественно открыли, с разрезанием ленточки, с шариками, тут фонарь уличного освещения, а где-то в Тверской области даже помойку...

Господи, неужели Россия и не жила еще на своём долгом веку? В просторных жилищах. На крепких дорогах. В чистоте и комфорте. В красоте. С бытовыми машинами. С компьютерами. С техникой для труда и для отдыха. С красивой одеждой. Чтобы народ радовался, а не боролся за выживание?

Вот не дают нам приобщиться к западной цивилизации — и всё. К восточной — пожалуйста. Некогда им. Они заняты. Им надо нефть, газ продать и валюту распределить.

*24 марта 2017 г.*

К писателю моему уйма людей пришла, человек пять. Пожилая фрау, молодая фрау. Молодой человек и двое мужчин средних лет. И все как один интеллигентного облика — с мыслью в глазах и деликатного обхождения. Один, который из средних, стулья перетаскал, всех усадил, а сам остался на ногах — сесть не на что. Молодой ему уступает, а этот — нет-нет! Ни за что. — Истинный филантроп. И вот пошла у них беседа. Один говорит — все слушают. Потом другой говорит — никто не перебивает. И каждый адресуется к моему старику, к писателю: что он скажет? И тут до меня дошло: господи, да это же заседание кафедры! Только выездное. Филантроп постоит-постоит, потом пройдет, на подоконник присядет. Когда мимо меня идет, эдак — зырк-зырк! — острым глазком: чего это он там пишет?

И вот уже улыбается — вовсе не системной улыбкой, нет-нет. А такой, когда своего узнают, собрата по сословию. Ну, что ж, может быть, кафедра филологическая. Всё бывает.

Я задремал, а когда проснулся, они все еще заседали. Похоже было, что молодой делает доклад. Наверное, он соискатель, и они обсуждали его реферат. Вероятно, мнения разошлись, судя по темпераментному обсуждению. А мне тут в уборную приспичило. Но не пойдешь же мимо ученой компании в таком виде, толкая стойку перед собой и волоча шлейф пластиковых переплетений. Тут филантроп мимо прошел, мы снова друг другу поулыбались. Когда ж, ду-маю, вы уйдёте?..

Наконец, засобирались. Все встали. Филантроп тяжелые стулья по местам растаскивает. Прощаются. Женщины даже целуют своего заведующего в лоб. Все к дверям, а соискатель все еще договаривает... Я уже ноги с кровати свесил... Вот он пошел, наконец. Нет, вернулся... Получишь ты свою степень, получишь. Нет, говорит, говорит... Он заметил мое нетерпение, ушел.

Я встал, наконец. Потащился. И пока тащился, вопрос сочинил... как это по-немецки?.. — Кафедралише митинг? — Завкафедрой вскинул брови, секунду усваивал, и заулыбался:

— Найн, найн! Дас ист майне фамилия!

Я поплёлся дальше. Чёрт-те что... Шерлок Холмс хренов...

## РАЗРУШЕНИЕ ФОРМЫ-2

Когда долго живешь в немецком пространстве, все время мысленно сравниваешь, прикидываешь, примериваешь — что бы нам подошло? По содержанию у нас много общего, но вот по форме...

Не любит русский человек формы. Тесно ему, некомфортно. То ли просторы необозримые ввели его в заблуждение. То ли русский размах. То ли застенчивость. А может быть, пылкость, с которой он чужое перенимает. Но почти всегда поверхностно, торопливо, постепенно остывая к новшеству.

Да еще запутали его, умники.

В системе ведь следить все время надо, чтобы было единообразие, соответствие одного другому, логика. Например, если есть сенаторы, то должен быть и сенат. А где он? Нету сената. Есть Совет федерации, заполненный, видишь ли, сенаторами. Или, скажем, если уж назвал главу губернатором, то и править он должен губернией, а не областью. Если город из Свердловска стал Екатеринбургом, то и область (а лучше — губерния) должна стать не Свердловской, а Екатеринбургской. Точно так же и Петербург оказался почему-то на территории Ленинградской области. И глава города здесь не мэр, а губернатор, хотя к области (губернии) не имеет никакого отношения. А в Москве — мэр. Чувствуете, какой разброд? Точно кто-то нездоровый убежал из лечебницы и всё перемешал.

А уж если мэр, то чтобы и сидел в мэрии, а не в городской администрации, тем более — не в правительстве города. А не хочешь — не называй. Назови по-русски: градоначальник, городской голова, да уж на худой конец и — городничий, всё лучше будет. Мэр, видишь ли... А назвал, так уж соответствуй.

Или, к примеру, муниципалитет... (Так и слышу диалог: — Теть Маня, куда пошла? — Ай? — Куда пошла, спрашиваю? — А в энтот... как его... муцилитет, прости господи.). Чего мудрим, спрашивается, чего ради Христа одалживаемся у Франции? Когда есть же хорошие русские слова — волюсть, управа.

Вот с этого и начинается разруха в головах. Да простит меня господин Вилинбахов, Государственный Герольдмейстер, председатель Геральдического совета при Президенте РФ и прочая, и прочая, и прочая... Кстати, как мы теперь друг к другу должны обращаться: господин или товарищ? Или так и этак? На дворянском гербе Георгия Вадимовича Вилинбахова уже в наше время вместе с изображением его государственных наград почему-то появилось слово «братцы», (смотри Википедию). Так, может быть, «братец», а?.. Ну, не «браток» же!

По-моему, здесь тоже нет упорядоченности, какое-то двоемыслие, если не сказать, раздвоение личности.

Или вот, государственная символика.

На герб Российской Федерации снова двуглавый орел залетел. Что он сегодня здесь делает? То же, что во времена Российской империи? Высматривает, где бы еще отхватить кусок территории? Или зорко следит за порядком и слева, и справа, чтобы никто не свалил? Готов, чуть что, сорваться с места и влиться всеми когтями и клювами в спину и в шею. Но разве Российская Федерация империя? Наша птица теперь скорее белый сокол, чем орел, как и было до заимствованного из Византии двуглавого.

Ну, а с гимном вообще странная история. Текст гимна трижды перелицован одним и тем же автором, хорошо известным эластичностью своей гражданской позиции — а это признак того, что душевно-го волнения текст не содержит, оно выветрилось, если и было, от суеты и безверия. Больше того, текст гимна рассчитан не на всех граждан страны, а на людей верующих, скорее всего, православных. «...храняемая Богом родная земля...» — это что? Вы хотите, чтобы в почти поголовно атеистической стране, какой весь двадцатый век была, а боюсь, что в немалой части и осталась, Россия, все люди пели эту строку искренне, с душой? Это невозможно, уверяю вас. Это возможно произнести только в одном случае — подавив в себе чувство правды. Мысленно сказав себе: я лгун. Ну, а если ложь допустима в отношении государственных символов, то она расползется и далее, во все поры государственного организма. Государство, хотите или нет, начинается с правды, чести, благородства, высоких помыслов, воодушевления. А не со спецопераций. Таким оно предстаёт и

заявляет себя всему миру — Россия не исключение. Символы всего этого — флаг, герб, гимн. Получается, что разруха в головах россиян изначально заложена.

*25 марта 2017 г.*

Вчера события развивались так. Сразу после ухода гостей, старику стало плохо. Видимо, дыхательный спазм, мне знакомый. На вызов пришла медсестра, сменила кислородный режим, надела маску. Но старик выгибался, шарил руками вокруг себя. Маска бурлила. Я физически ощутил его состояние, так что меня даже передёрнуло. Пришел медбрат, вдвоем они, громко переговариваясь, пытались помочь ему, но ничего не выходило. Тогда они, позвонив куда-то, спешно покатали кровать прочь из палаты, видимо, в реанимацию...

К вечеру его не вернули. Лежу и думаю: как он там? Почему так долго? Специально встал, подошел к его шкафчику, открыл — нет, сумка здесь. Спросил у его соседа-бауэра: где он? Тот беспечно махнул рукой: Нах хаузе! Ну вот. А члены кафедры, оказавшиеся ближайшими родственниками, тоже, наверное, беспечно машут рукой: он в УНИ-клинике, на излечении! Где же он на самом деле?

Во время обхода подошел врач с переводчиком. — Если сегодня тест даст хорошие результаты, завтра отправитесь домой. — С кислородом или без кислорода? — А это в зависимости от показателей.

Пока я не представлял себе, как буду дальше жить без кислородной поддержки. У меня был свой показатель — утренний поход в туалет. Дыхания хватало лишь на половину процедур, которые я планировал. Дальше начиналось удушье, сердцебиение. И всё это на фоне небывалой физической слабости.

Ну, что ж, говорил я себе, пока болезнь протекает в лучших традициях МХАТа. В прошлый раз — кровохарканье. В этот — кислородный баллончик. Ну и что ж, что трубочки в ноздрях, Олег Николаевич с ними театром руководил. Даже почетно.

Покатали меня вниз, в лабораторию. Там встречают с улыбками, поскольку я завсегдатай. И вот через полчаса радостно вручают листок с цифрами, диаграммами: аллес окей! Супер!

То есть, как аллес окей?.. А, впрочем, черт его знает.

Держу листок перед собой, как охранную грамоту. Штефану, Мишалине показываю: Нах хаузе! Нах хаузе!.. Штефан привычно встаёт во фронт: — Йа, майн герр! — Я отдаю честь. А сам думаю: как бы, господа хорошие, мне снова к вам не загреметь.

Вхожу в палату. И чтобы два раза не вставать, сразу открываю шкафчик коллеги. Сумки в нем нет. — Где он? — спрашиваю сопровождающего. Тот машет рукой: — Там! — Ну, так я и предполагал. Когда они хотят что-то скрыть, они делают это без свидетелей, темнят. Нехорошая мысль, прежде мною гонимая, теперь поселилась в моей голове. Вот и про меня когда-нибудь так же скажут: —Там!

Вечером приехала дочь Ксения. Выслушала мои опасения, и в свойственной ей решительной манере нашла врача, привела в палату.

— Показатели хорошие, — сказал он. — Выписываем без кислорода. — Доктор, — сказал я. — Но я боюсь. — Разумеется, — сказал он. — Страх ваш понятен. Больше трех недель вы с кислородом. Но поверьте мне, это всего лишь из области психологии. К вашей дыхательной функции этот страх отношения не имеет. Мы вас вылечили. Цифры не лгут. Дальше дело за вами. Чем больше страха, тем меньше кислорода. Мой вам совет: спите сегодня без него.

Дочь уехала. Поздно вечером на свободное место рядом с бауэром прикатали кровать с очередным пациентом.

Что же я наделал, — думал я, прислушиваясь к собственному дыханию. — Я сократил их последнюю встречу. А это ведь был не соискатель, а сын.

*26 марта 2017 г.*

Я открыл глаза и вздохнул.

Прислушался.

Кислород над головой не журчал. Трубки под рукой не было — упала на пол.

Я дышал ровно.

Может, и в самом деле?.. Значит, благо жизни вернулось? Теперь главное — его не спугнуть. Дать понять, что его тут ждут. Что будут беречь. Расходовать экономно, лишь на самое необходимое. Самое — это что? Работа до последнего вдоха.

А кислородные трубки — зачем они? Это ведь переход в другое состояние жизни. Их много — по нисходящей. Боже, сколько есть форм выживания, борьбы за жизнь, за творчество и просто за созерцание! Самый нижний предел — английский физик-теоретик Стивен Хокинг, у которого для общения с внешним миром осталась лишь мышца щеки. Вот с помощью этой мышцы и управляемого ею и датчиками компьютера он приводит в восхищенное недоумение весь ученый мир планеты, делясь своими открытиями в области космогонии. Например, об излучении «черных дыр», которое теперь и называется «излучением Хокинга». По всем трудным случаям отношений человека с Вселенной обращаются к Стивену Хокингу.

Так что кислородные трубочки — это игрушки. Ну а если не обойтись, куда торопиться, успеем. До мышцы щеки мне еще далеко.

Я позвонил домой. За мной ехал сын Костя.

После завтрака принесли документы. Велели собраться и перейти в комнату ожидания.

Я попрощался с ветераном, с бауэром и вышел.

В конце коридора у окна стоял филантроп. В комнате ожидания сидела вся кафедра, она же фамилия. Все уставились на меня. А я на них. В дверях появился филантроп, помахал мне рукой: аллес гут?

Я сказал: да, аллес. И вспомнил речевой штамп: — А как ваши дела? — Лучше, — сказал филантроп. — Он дышит сам.

Вот как? Значит, и к нему возвращается благо жизни.

Ну ладно, думаю. Дай ему Бог. Мы с ним еще напишем то, что нам суждено.

— Будьте здоровы! — сказал я и встал, потому что за спиной филантропа появилась голова моего сына.

ИВАН И ФРИЦ (*Пьеса на двоих*)

— Фриц, ты не спишь?

— Нет. Чего тебе, Ванья?

— А какой был гроссе-гроссефатер Володя?

— Он был прикольный. Говорят, он на свадьбу своей дочери Ксении без штанов пришел.

— Да ну!.. (*Смеется.*) А как же его пустили?

— Ну, не совсем без штанов, а в чужих. В штанах дедушки Виктора, которые не застегивались...

*Пауза.*

— Фриц, а правда, мама говорила, что я в Россию не поеду?

— Да, я слышал.

— А почему?

— Потому что ты в этом месяце много сидел за компьютером. А сам обещал...

— Ну, что же в этом плохого, а, Фриц? Вот дедушка Виктор, он же тоже много сидел за компьютером. Теперь у него институт в Санкт-Петербурге. Может быть, и у меня будет...

— Ишь, чего захотел.

*Пауза.*

— Фриц.

— Ванья, я уже задремал.

— Энтшульдигунг. Я только хотел спросить, у гроссе-гроссефатера Володи что, своих штанов не было?

— Были. Он как раз накануне свадьбы новый костюм купил.

— Ну, так и что?

— Не знаю... По-разному рассказывают. Одни говорят, что он взял его с собой в машину на плечиках, чтобы не помять в дороге. А когда они с дедушкой Виктором во Франкфурт приехали, брюк под пиджаком не оказалось.

— Потеряли?

— Да нет, забыли в Майнце. Легенда такая...

— Ой, как интересно!.. А дальше?

— А дальше — дедушка Виктор дал ему свои брюки, но они не застегивались на животике, всё время спадали, и их надо было подерживать. А гроссе-гроссефатеру Володые речь говорить. Как самому старшему за столом...

— Ух ты!.. (Хохо чет.). Во, клёво!.. (Хохочет.)

— Тише ты!.. Девчонок разбудишь.

*Пауза.*

— А у бабушки Виктории ресторан в Петербурге?

— Да.

— Круто!.. Мы однажды с мамой заходили. Но я был еще маленький. Помню только, там курочка между столов ходила.

— Это Курочка Ряба. Она и сейчас ходит.

— А зачем?

— Ты хоть помнишь, как ресторан называется?

— Как?

— «По щучьему велению».

— Это такая сказка?

— Да. Но у бабушки Виктории всё вправду.

— Как это?

— Посреди ресторана есть бассейн. И в нем плавает щука.

— Настоящая?

— А то!..

— И ее хотят съесть?

— Ничего подобного!

— А как?

— Человек подходит к бассейну и говорит...

— Что?..

— По щучьему велению, по моему хотению...

— А дальше?

— А дальше — кто чего хочет. Папа тогда сказал: — Супчику бы сейчас!.. Да с потрошками!..

— А потом?

— Только мы вернулись к столу, а там уже стоит супница с поварешкой... Пар клубится, запах такой!..

— И это всё щука?

— Ну да.

— А еще чего она может?

— Да всё. На каждом столе экран с меню. А в меню всё, что в эту минуту готовят в ресторанах России. Желания у людей ведь разные... Кто омуль закажет с Байкала. Кто оленину из тундры... А кому азу по-татарски захочется, прямо из Казани.

— Что, и из других стран можно?

— Нет, пока только из России.

— Во, класс!.. Фриц, а как это делается?

— Ну, чудак ты, Ванья! Вот для этого и есть дедушки Виктора институт. У них квантовый компьютер, вакуумные капсулы... И многое другое.

*Пауза.*

— Фриц!

— Ванья, ну сколько можно?.. Я опять задремал.

— Честное-пречестное, больше не буду. Ты мне только скажи, чем тогда на свадьбе дело кончилось?

— Ну, чем же ещё... Гроссе-гроссефатер Володя встал и произнес речь. Брюки все время спадали, но он их поддерживал. Речь всем понравилась.

— И никто не смеялся?

— Только жених с невестой хихикали. А так никто ничего не видел. Стол ведь был ему до пояса.

— Во, супер!.. *(Хохочет.)* Прикольно! Сто пудов!..

— Вот опять. Ванья, какой ты шумный!..

— Этшкульдиген. Я люблю этого... как по-русски... пра-прадедушку.

— А есть еще одна версия этой семейной легенды.

— Ой-ой, расскажи!..

— Будто он сделал это специально, чтобы подразнить родственников прадедушки Жилия.

— Кайфово!

— Ну, а третья версия...

— Ну, давай же!..

— Будто пра-прадедушка Володя одолжил у одного знакомого бауэра вертолет и слетал за брюками.

— Во, круто!.. А ты веришь?

— Как тебе сказать... В щуку ведь раньше тоже никто не верил.

*Пауза.*

— Вот курочку помню. А чего она ходит?.. Фриц, зачем она ходит между столиками?.. А, Фриц?..

— Ну, какой ты приставучий, Ванья!.. Мы будем спать?

— Будем!.. Ты только скажи про курочку.

— Ну, приедешь, поймешь.

— Да-а, приедешь... Меня ж не берут в Россию.

— А курочка Ряба ждет, пока кто-нибудь закажет блюдо, ею задуманное. Ну, а дальше — ты сам понимаешь.

— Что? Что?..

— Тому она снесет золотое яичко.

— Ой, да возьмите меня в Россию! Возьмите же... *(Плачет.)* Ну, почему?..

— Не плачь, Ваня..

— Да-а, не плачь... Как же мне не плакать?.. Давай вместе упроем маму!

— Ну, хорошо. Всё, спим! *(Поворачивается на другой бок.)*

*Пауза.*

— Фриц! Ну, последний-препоследний!.. Фриц, не сердись, а?..

— Ох, Ваня!..

— Фриц, а правда, что в России три краника, а не как у нас — один?

— Водопровод, что ли?

— Да. Из одного — простая вода. Из другого — газированная. А из третьего — газированная с сиропом?

— Правда. Спи.

— Фриц, а когда у нас так будет, в Германии?

*Пауза.*

— Папа говорит — никогда. Это по плечу только России.

*Пауза.*

— Фриц. *(Пауза. Тишина.)* А мне нравится гроссе-гроссефатер Володя. Он был прикольный. Жаль, что его с нами нет... а то бы...

*Тишина. Все спят.*



## Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

/ Мюнхен /

### ХОККУТАНКИ

#### *немногостишья*

\*

обещанье тепла  
пятнышко бурой земли  
цветами дымится

\*

под пикирующим ветром  
машет крыльями птица  
о чём?

\*

сакура цветёт  
ночью птица поёт  
одна к одной

\*

на газоне сорока болтает  
с ипохондрическим вороном  
всё не как у людей

\*

как наше слово отзовется  
в четырёх стенах  
не отражающих эха

\*

мартовский снег  
птиц распугал  
никак не может улечься

\*

пора выпутываться  
из паутины ветвей  
полузастящей небо

\*

в этот гулкий час  
светятся только кошачьи  
окна соседнего дома

\*

апрель не для писем  
подсознание не дремлет  
не может забыть  
к чему привели  
апрельские тезисы

\*

сначала цветы  
потом листья  
наоборотность напоминает  
что в мире  
неизменного мало

\*

все самолеты по-прежнему  
с Запада на Восток  
не возвращаются что ли

\*

клубящийся выдох истины  
вечнозеленая древность  
чайных листов

\*

еле приметным выдохом дыма  
лёгким дымом духов  
начальное прикосновение

\*

и нрав не ершится  
и хвост не пушится  
и надо бы, да ни на что не решиться

\*  
солнечный день  
воспоминая о нём  
тень тростника на стене

\*  
что грустнее  
чем получать послания  
которых не прочесть

\*  
«Печаль моя светла»  
«Мне грустно оттого»  
все стихи — об одном

\*  
именем Таормина  
отзываются мне почему-то  
эпоха Мин и путь Тао...

\*  
лучшее время года  
время стремительно-длинных дней  
и бесконечно-коротких снов

\*  
день становится ночью  
а ночь медлит  
полнолуние

\*  
древнейшая из черепах  
живёт недолго  
но медленно

\*  
посидеть под старым платаном  
попросить у дождя напиться  
подождать у погоды моря...

\*  
ворон клюёт промёрзлую землю  
сообщает о голоде  
ждёт чтобы я накормил

\*

пустые деревья  
стоячая река  
медленное эхо

\*

жёлтый платановый лист  
пятипалый след  
наступившего на душу зверя

\*

за два дня урагана  
ничего не случилось  
лишь деревья  
теперь не живопись  
а рисунки

\*

запах моря  
хруст прибрежных камешков  
сон о Коктебеле

\*

камешек на ладони  
с пятнышком соли морской  
чтобы вернуться

\*

с утра и до вечера дождь  
образ времени  
интеграл послевкусий

\*

сначала цветы потом листья  
южная формула  
теории относительности

\*

воздух времени  
не метафора  
когда воздуха нет

\*

кошки исполняют рок-мяузыку  
птицы говорят на эсперанто  
трудности взаимопониманья

\*

утки под окном  
никак не замолчат  
с упорством Льва Толстого

\*

графика оснеженных кустов  
черно-белые сны во сне  
с колким послевкусием на губах

## ETC

\*

День какой-то весь инакий,  
весь неправильный слегка:  
выйдем погулять с собакой,  
поскулим на кулика...

\*

Наследие Фридриха Ницше —  
синдром поехавшей крыши.

\*

...и с пера стекает лжа,  
коли нету куража...

\*

С годами всё туманнее видна,  
пусть даже и при оптике отличной,  
престранная пространная страна,  
в которой жить — антипатриотично...

\*

Игнорирую молву,  
подвожу итоги,  
очень медленно живу,  
как медведь в берлоге...

\*

Есть у меня одна идея:  
понять бы для начала где я?  
И что со мной потом понять бы,  
и ни на что бы не пенять бы...

\*

...остановите время — я сойду...

# Элина СВЕНЦИЦКАЯ

/ Киев-Донецк /



## НИКОМУ И НИКОГДА

Про это никому нельзя говорить — вообще никому. Никому, никогда в жизни, даже под пытками, даже под страхом смертной казни, надо молчать и молчать, до самого конца. Если бы кошка — с ней бы поговорить, только ведь потом она все равно будет задумчиво смотреть на меня и улыбаться... как будто что-то знает. Был бы плюшевый мишка — но нет у меня плюшевого мишки.

Мне надо молчать и только молчать. Мне вообще нельзя разговаривать — никогда и ни с кем. Потому что как только начну разговаривать — так сразу из меня и вылезает. Да, из меня вылезает абсолютно другой человек. Мне это человек неприятен, я не понимаю его и боюсь, но как только я заговорю — он появляется и говорит вместо меня, и я не знаю, как мне с ним жить. Просто с каждым днем его все больше, а меня — все меньше, но я даже не могу никому рассказать об этом — это же сумасшествие, самое обыкновенное сумасшествие.

Это самая обыкновенная улица, я ее видел тысячи раз, и автобус самый обыкновенный, а снег летит как манна небесная, мокрая манка сыплется с неба, залепила очки — и не видно ничего. Это самое обыкновенное собеседование, если в одном месте уволили — возьмут в другом, я же хороший специалист, я же многое умею, я сейчас все расскажу — и закончится эта длинная яма с древесными корнями по бокам и желтой водой на дне.

— Здравствуйте, меня зовут Георгий Юрьевич! И я вас очень рад видеть...

Вот и вылез из меня этот человек и говорит вместо меня, а я... а что я?

— Я доктор философии по психологии, экстремальная психология — моя специальность...

Я ничего не могу. Я только вижу, как улыбается директриса в кружевном шарфике, улыбается длинной улыбкой и качает головой.

— Мне шестьдесят три года, но биологический возраст моего организма — двадцать пять лет, я бегаю кросс и прыгаю на скакалке, и читаю без очков.

— Но вы же в очках...

— Так они без диоптрий, они мне нужны для другого.

— Не понимаю...

— На всякий случай, чтобы не загипнотизировать кого не надо.

— Так вы еще и гипнотизер?

— Да! И вы очень пожелаете, если не возьмете на работу потомственного дворянина!

Они сказали, что позвонят, но они не позвонят. Я бы тоже не взял на работу дворянина и гипнотизера. Может, это и правда — только зачем про это говорить? Я бы вот никогда бы не сказал — только кто же меня спрашивает?

По небу летят белые перья — а где-то прячутся лысые птицы с когда-то белым опереньем. Кто-то пишет все эти слова, которые я говорю, кто-то их написал неизвестно зачем — просто так, чтобы поиздеваться надо мной, чтобы посмотреть на мою идиотскую жизнь, которая вместо того чтобы стоять на месте, изгибается, как змея, и уползает в темноту, и там, в каком-нибудь углу, переворачивается на спину и дрыгает ножками. Кто-то все это пишет, гад, ему бы в глаза посмотреть...

И вот я смотрю в его глаза, а он смотрит в мои. Но это она — просто старушка, добрая, милая, прекрасная, сумасшедшая старушка — у нее нет никого, кроме тети и двоюродной сестры, вот они, тоже милые и старые, тихо ходят по дому, изгибаются, как былинки на ветру, хрустят сухариками. И она придумала меня — чтобы я ей скрашивал дни, крадущиеся, как кошки на мягких лапах, тающие, как сахар в бледно-желтом чае, пьющемся в ранних сумерках на поклябанном подоконнике. И то, что происходит со мной, ей не кажется трагическим, скорее — забавным. И когда я открываю рот и начинаю говорить, и из меня вылезает вот это всё — она тихо смотрит на меня и кивает головой. На окошке в белой вазочке две желтые розочки со скукоженными лепестками и старые газеты.

— Дорогой мой Гошенька! Гошенька мой милый! — шепчет она и смотрит в окно.

Может быть, со мной ей не так одиноко? Может быть, она меня любит? Может, она меня написала для того, чтобы любить? Но что же это за любовь такая, от которой мне так плохо? Разве же так любят, чтобы поиздеваться?

Да, но это ее жизнь, и пусть сочиняет себе в ней все, что ей хочется. И вот — ночь. И она, добрая, милая, прекрасная, сумасшедшая старушка сидит на кровати и смотрит в темноту. Есть одно хорошее лекарство, если его выпить, она будет спать, но оно закончилось — и нет его. А за окном — ни звука, ни огонька, но кто-то там ходит вокруг дома, ходит взад и вперед в кромешной тьме, ничего не

видя вокруг, всхлипывая и плача — безжалостно, неотступно, без слез. И она думает: Господи. Да что же это такое, Господи, это ведь все нарочно кто-то сочинил, и меня сочинил, и эту жуткую ночь, и всю эту жизнь, которая никуда не идет, только сделает шагок — и сразу набок завалится, а как только чуть поднимется — так опять захромает и упадет, и закатится глубоко под землю, в черную теплую глубину. Господи, да кто же меня сочинил?

А все очень просто — люди все сочиняют друг друга. И я тоже кого-то сочинил, и меня кто-то сочинил, а тот, кто сочинил мою старушку, был сочинен еще давно одной вредной филологиней-древницей, которая любила только древнюю литературу за ее абсолютную духовность. Мы все сочиняем друг друга, чтобы не было так одиноко, чтобы было кого любить. Так вот всё и происходит в этой жизни, а некоторые люди сочиняют себе сразу несколько людей, и тогда их называют писателями. Но с этими писателями все не так просто — они же еще и пишут. Это, между прочим, самое страшное, это гораздо страшнее, чем сочинять и говорить, даже когда ты откроешь рот — а из него сыплется всякая фигня. И не зря рядом с тем, что написано пером и даже шариковой ручкой, топор блуждает, им рубят — и щепки летят.

Писателей, между прочим, тоже кто-то сочинил. Я не знаю, кто это был, и они не знают, кто это был, но одно его письмо я нашел у себя в почтовом ящике — наверное, адрес перепутали:

«Здравствуйте, дорогие писатели и прочие недоразумения!

Пишу вам потому, что не могу не писать — в отличие от вас, которые не писать могут, но все равно пишут. Довожу до вашего сведения, что одиночество и отсутствие любви — это еще не повод, чтобы писать. Из этого ничего, кроме недоразумений, не получается. Если уж вам хочется писать — пишите жалобы, докладные записки, заявления. Не любит вас никто — заведите себе кошку или собаку, а еще лучше плюшевого мишку, он неживой, с ним проще. С наступающим вас Новым годом!»

...Но про это никому нельзя говорить — вообще никому. Никому, никогда в жизни, даже под пытками, даже под страхом смертной казни, надо молчать и молчать, до самого конца. Был бы плюшевый мишка — но нет у меня плюшевого мишки.

## НОЧЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

И всю ночь напролет мне снилось, что я расписываюсь. Какая-то хмурая комната, забитая бумажками, и на каждой бумажке я должна поставить свою подпись. И вначале моя подпись красивая, с кучеряшками и завитушками, а потом кучеряшки с нее постепенно облетают, и остается только две кривых линии и злобная точка.

Такие сны снятся многим маленьким людям. Тем, кто пишет и расписывается, врачам, учителям, воспитателям, преподавателям. Везде есть такие люди, их немало. Они — маленькие люди, вот им и снятся такие сны, потому что места у них в голове мало, ничего туда не влезает, кроме бумажек, которые надо подписывать.

Вот так и проходит ночь маленького человека. Вот так и проходит его маленькая жизнь.

Зазвенел будильник — и у маленького человека настало утро. Холод и темнота, и на соседнем балконе болтаются по ветру чьи-то серые кальсоны. Улица спорбилась за окном, обсыпанным водяными каплями. Качается фонарь. Хороший хозяин собаку из дому не выпустит. А маленький человек идет на работу.

Потому что надо работать. Длинная-длинная лестница с выщербленными ступеньками, на ступеньках бумажки, лушпайки от семечек, огрызки от яблок. Потом начинается темный коридор с обгрызленным линолеумом на полу. Кто его обгрыз? Студенты... На серых подоконниках — бумажные стаканчики от кофе. Затхло, грустно, заброшено. Где-то вдали — смех, визг и звонкий голос:

— А ну закрой свой влюбильник!

И тишина. Ничего и никого. В кабинете №666 сидит человек, который знает наизусть «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского. Его зовут Юрий Перельмутер, и он преподает основы научных исследований на кафедре дифференциальных уравнений. В кабинете накурено и шумно. Вот он сидит за письменным столом — маленький человек, огромные очки, лысина, мышинные хвостики волос на засаленном воротнике, скучное лицо.

«Как давно все это надоело — вся эта жизнь, обгрызенная и засаленная... — бормочет он тихо, а потом — еще тише: ...дается по парадигме следующего моего разговора со старухой-служанкой...Что такое солнце?... Солнышко... Нет, что оно такое?.. Солнце и есть... А почему оно светит... Да так, солнце и солнце, потому и светит...».

Господи, крутятся эти слова, крутятся в голове, а зачем? Зачем столько слов? Ведь не пригодилось же ни одно, никому не пригодилось... Ничего они не объяснили ему в его жизни, и учи наизусть, не учи, жизнь его идет сама по себе, катится под бледным солнышком, катится грязным комом по белому свету.

Но этот человек мне не приснился. Снилось мне — в который раз — мокрое поле, и по нему ходят, переваливаясь, важные и сытые вороны. А вокруг — ни деревца, ни кустика, только длинная равнина, полная травами и водой. И вороны идут беззвучно навстречу небу, черные и огромные, глядят в него стеклянными глазами, как будто молятся.

И опять утро маленького человека — темное и холодное. Когда надо идти на работу, работа хуже всей этой жизни, и остатки листьев раскачиваются на ветвях, и не хотят падать на землю, потому что нет там ничего хорошего. И опять обшарпанная многоэтажка педаго-

гического института, и пустые коридоры выморочного факультета, и кандидат педагогических наук и доцент, которого студенты почему-то окрестили Доцентром и который знает наизусть «Евгения Онегина» Пушкина. Да, знал и даже декламировал, только от его монотонного тихого голоса тянуло в сон и хотелось горячего чая. Он жил очень замкнуто, ни с кем не общался, поэтому никто не заметил, как его обычная неразговорчивость переходит в болезнь. Он ходил, согбенный и сутулый, по длинным коридорам, бормоча что-то невнятное себе под нос, кивая головой, выслушивал белиберду, которую рассказывали студенты, неловко расписывался в зачетках и продолжал свои блуждания по коридорам, забыв дорогу домой.

Нет, и этот человек мне тоже не приснился. Мой самый главный кошмар — это полная темнота. Она мне снится редко, но зато очень долго. Вот она вокруг меня — протяжная тьма, из которой никак невозможно выйти. Но я ведь и не иду никуда — дя стою. Я стою, а она распускается, как страшный цветок, и выбрасывает в стороны щупальца, и щупальца тянутся дальше и дальше. Я стою — она клубится вокруг, ночная вода, плывущая в руки и выплывающая из рук, и шевелится, и бормочет. Она бормочет о том, что вот — это мой главный кошмар, и мне никуда от него не деться, потому что он всегда во мне, а я — всегда в нем, и на самом деле это не сон, это самая настоящая моя жизнь, сон — это все то, что ек кажется явью. А жизнь моя называется — ночь маленького человека.

Ну и вот — я снова иду сквозь затхлый мир невнятного института, в который поступают только те, кому уже никуда не поступить. И вот еще один феномен — женщина, которая знает наизусть всю Ахматову. Молодой еще выучила, когда училась. Но нет, она не преподавательница, она — уборщица. Да, могла бы преподавать, но поглядела на все это безобразие — и решила: ну его нафиг, лучше тряпку тягать, долбают меньше, а платят примерно столько же. А Ахматова — да, хорошая поэтесса, красивые стихи писала, опять же — пострадала от культа личности.

Господи, вот люди — и вот тексты. И что же сделали люди с этими текстами? И что же мне делать с этими людьми?

## НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ

Один сумасшедший профессор говорил много лет назад, что в моих рассказах все люди — идиоты, нет ни одного нормального героя. Да, нормальных нет, не было и не будет. И не только в моих рассказах. Тот сумасшедший профессор тогда еще не строил себе иллюзий по поводу окружающих, — когда он понял, что все нормальные, его уже не было в живых. Но тогда он настаивал, что писатель должен рассказывать людям, как надо быть нормальными, а не добавлять к их дури свою собственную.

— Но как можно рассказывать о том, чего нет? — интересовалась я.

— Если человек должен быть нормальным — надо ему это показать. На то и талант, данный свыше, чтобы видеть то, что должно быть.

— Кому — должно? — недоумевала я. Мне и правда было непонятно, кто определяет, каким должен быть человек, и почему это надо — быть нормальным.

В общем, ничем наши дискуссии не заканчивались — сумасшедший профессор требовал, чтобы все были нормальными, а я, вполне нормальная писательница, как только начинала о ком-нибудь рассказывать — буквально со второго абзаца он оказывался с придурью, и вскоре эта придурь распространялась на меня.

Вот, например, эта старая женщина, Елена Петровна. Очень хорошая, если вдуматься, женщина. И к этому миру она имела большие претензии, только не могла их сформулировать. Потому и взгляд у нее был укоризненный и строгий, а походка подпрыгивающей. Единственным человеком, которому было можно хоть что-то объяснить, была ее старая кошка, которая никогда не выходила на улицу. Всю ночь она спала возле нее, и когда Елена Петровна просыпалась среди ночи, кошка тыкалась носом ей подмышку и подставляла живот. Приходилось ее почесывать, разговаривать с ней, сон исчезал, но это уже было неважно.

Она выходила рано утром в тихий двор с мусорным баком посередине, шла за хлебом и сыром в магазин через дорогу, потом садилась на лавочку у подъезда и долго сидела, глядя вокруг. В общем-то, она не делала никому ничего плохого, хотя могла. Но что-то было не так, все время что-то было не так в ее жизни, только она никак не могла понять, что.

Выла сирена скорой помощи, где-то вдали плакали коты, выползало из-за домов летнее злобное солнце — и пора было идти домой. А там был телевизор, который все время врал, никогда не говорил правды, но кроме него поговорить-то было ей не с кем. И когда становилось совсем жарко, она закрывала шторы и садилась перед телевизором, смотрела все подряд и вела долгие беседы.

— Прекратите драку! — махала она рукой на героев сериала. — Ну и что, что она тебя послала в жопу, а у тебя сегодня день рождения... Ты же мужик, черт возьми, поблагодари за поздравление и живи дальше.

— А вам не стыдно перед людьми, перед миллионами людей, которым вы лапшу на уши вешаете? — кричала она диктору, рассказывающему новости.

Потом она засыпала перед телевизором и просыпалась уже ближе к вечеру, когда жара спадала. Кошка спала около нее, про-

сыпалась, смотрела на нее желтым загадочным взглядом. Елена Петровна понимала, что кошку надо покормить, кормила ее, и кошка опять забиралась на руки и тихо мурлыкала.

Потом Елена Петровна выключала телевизор, выходила на улицу, садилась на скамеечку. Теперь она сидела не одна, а с соседкой со второго этажа, но сидели молча, говорить давно уже было не о чем, лучше уж с кошкой. Посидев до того времени, когда уже сгущались сумерки и начинались часы пик, она отправлялась на трамвайную остановку.

На улице было интереснее, чем во дворе, там ходили разные люди, диковинно одетые, все какие-то взвинченные, встревоженные, они пахли пивом, потом и одеколоном и, не глядя вокруг, влезали в вагоны, тащили сумки, плюхались на свободные места. Эта старая женщина старалась всегда занять два свободных места, и когда ей это удавалось, очень радовалась и садилась с краю, а на второе место клала пустой пакет.

Вагон постепенно наполнялся, и обязательно кто-нибудь спрашивал:

— Тут у вас не занято, бабушка?

— Не видите, занято!

Людей становилось все больше и больше, и около свободного места уже нависало несколько человек.

— Бабушка, блин, ну вам жалко, если я тут посижу?!

— Да, жалко, не хочу я чтобы тут неизвестно кто сидел, перегазом своим дышал! Оставьте меня в покое!

Так и шел трамвай по кругу. Люди крутили пальцем у виска и сходили на своей остановке, трамвай постепенно пустел, наваливалась ночь... Уже в полной темноте, усталая, но довольная, она возвращалась домой. Кошка встречала ее, нежно терлась о ноги.

— Вот так, — говорила Елена Петровна. — Программу выполнила.

Вот такая была старая женщина, моя соседка. У меня все соседи такие. На первом этаже живет гомик и алкоголик, каждые выходные у него онтологический кризис, он пьет водку, а потом выходит на балкон и читает стихи Есенина. А надо мной, на пятом этаже, живет бывшая фотомодель. Единственное, о чем она может разговаривать, — это диеты: кисломолочная, огуречная, гречневая, кремлевская. Но фотомодельного у нее остались только ноги, поэтому она всегда ходит в глухих свитерах с накидками — и в шортах.

А однажды, в пятницу вечером, когда большинство мужчин нашего микрорайона расслабляются после рабочей недели, даже я, привычная ко всему, чуть не умерла от страха.

Я сидела на скамейке в парке и вдруг услышала лай. Лай был страшен, как лай собаки Баскервилей на болотах, лай истошный и громоподобный. От него шевелились волосы и что-то обрывалось в животе. Лай неумолимо приближался. Я знала, что собакам нельзя

смотреть в глаза, и потому уткнулась глазами в землю и вжалась в скамейку. А лай приближался, душераздирающий, жуткий, уже скамейка шаталась. И тогда я открыла глаза.

По дорожке возле скамейки шел на четвереньках огромный лохматый мужик. Он шел и лаял, глядя мне прямо в глаза. Я закрыла лицо руками, бормоча: «Что это? Как это? Зачем это?».

Лай стих, и страх уполз на тараканьих ногах.

И вот теперь я снова вспоминаю этого сумасшедшего профессора, который говорил, что люди должны быть нормальными, и думаю: какая разница — нормальный или сумасшедший? Главное — чтобы человек был хороший! Вот Елена Петровна — ненормальная, но разве она не хорошая? И все ее соседи — ненормальные, тоже хорошие! И я, несмотря на то, что писатель, — все-таки хорошая! Мы все такие ненормальные, мы все такие хорошие!

## **ВСЕ ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, И ЕСТЬ СВИДЕТЕЛИ**

Мой главный свидетель — Миша Красиков, потому что именно он может подтвердить, что я была в городе Харькове, причем неоднократно. Потому что именно он водил меня по этому городу, показывал мне достопримечательности — в основном старинные дома с темными страшными подъездами, с лепными украшениями под потолком и запахом сырости. Он терпел, когда я останавливалась покурить, а это случалось через каждые полчаса. Я не помню, зачем меня занесло в Харьков, но он, наверное, помнит, только никому не скажет, даже мне, потому что мне это может совсем не понравиться.

Просто я была очень разной на протяжении жизни, точнее, у меня, как у кошки, их было девять или даже больше. И свидетели моих прошлых жизней, которых я иногда встречала, пробуждали во мне страх и недоумение. То есть я думаю — чем их меньше, тем лучше, потому что без них легче помнить то, что хочется помнить, и забывать то, что хочется забыть, и рисовать заново картинку своих воспоминаний — длинная улица, зажженная сигарета, непонятая поэтесса, уходящая в темноту, а потом утро, троллейбусная остановка, и вот она сидит с блокнотом на коленях, нервно курит и царапает очередной стишок.

Только я такая была не всегда. Помню, уже лет в двадцать я... Нет, ничего не помню, кроме исписанных вкривь и вкось блокнотов и троллейбусных остановок. Вроде я где-то училась, но вот где?... Нет, не вспомню... А лет в двадцать пять я, кажется, вышла замуж... или нет, это было раньше, но вот когда? И что же я все-таки делала тогда? Что-то делала, но вот что именно... опять ничего не помню.

Но вот когда мне было четыре года, родители забрали у меня мишку и отдали чужому мальчику. Ну и что, что это был его мишка?

Я честно его забрала, потому что со мной мишке будет лучше. Я его любила, а не таскала вверх ногами, как некоторые, я его кормила дохлыми мышами — самыми толстыми, самыми лучшими, я их сама собирала для него в подвале, я его купала в теплой водичке, я ему шерстку расчесывала маминой расческой — а они взяли и забрали!

Вот это я навсегда запомнила, уже много лет — как вспомню, так и плачу. А в тридцать лет... Второй муж, четвертый развод, маленькие больные дети, путающиеся под ногами, работа, работа, работа... Ничего не помню. А в сорок лет... Муж, кажется, четвертый, а развод, следовательно, шестой, а дети внезапно выросли, и я им нафиг не нужна, но это неважно, потому что — работа, работа, работа... И вспомнить вроде нечего.

Но нет, это же как раз в сорок лет я съездила в Харьков и познакомилась с Мишей Красиковым, и снова и снова мы заходили в старинные дома, невзрачные и обшарпанные, в сырые подъезды, и каждый подъезд пахнул крысами и холодом, и в каждом доме был роддом.

— Но почему? — спрашивала я.

— Видно, судьба у тебя такая, — разводил руками Миша Красиков и улыбался.

— Но ведь мы же шли в совсем другое место, — говорила я.

— Да, но тебе хотелось посмотреть вот этот дом, а потом еще следующий — и вот результат.

Когда я вернулась из Харькова в Донецк, оказалось, что у меня появилась новая болезнь — топографический идиотизм. То есть была она у меня и раньше, потому что писатели заболевают этой болезнью еще до рождения — но только сейчас я стала страдать, просто очень надоело, идя в одно место, приходиться в совершенно другое, будто тебя кто-то за что-то послал туда...

Шла я, например, на презентацию сборника стихов своей подруги в библиотеку имени Крупской, а приходила на пьянку в ресторан «Золотая рыбка», где мне предлагали станцевать на столе, раз уж пришла. Шла я в оперный театр, чтобы в конце концов насладиться искусством, а попадала в чью-то незнакомую постель. Я ходила по Донецку осторожно и неуверенно, как беременная, но совсем по другой причине — боясь сбиться с дороги и все время с нее сбиваясь. Я всегда понимала, что пространство — это очень запутанная вещь, но не подозревала, что в нем такая путаница! Около моего родного дома вдруг выросло несколько незнакомых улиц, которые вели неизвестно куда, а возле работы вдруг появился огромный бульвар, и когда я шла по нему, он меня все время приводил в какую-то сельскую местность, где среди покосившихся домов бродили три странные старухи, и одна из них хорошо поставленным дикторским голосом произносила:

— Опять эта сумасшедшая ходит тут, высматривает, сидела бы в своем Харькове, в роддоме, жила бы себе, как надо — а она ходит!

Можно было, конечно, не принимать эту реплику на свой счет, мало ли сумасшедших... но Харьков... роддом... слишком много совпадений. Тогда, кажется, и родилась у меня эта сакраментальная фраза: «Да, конечно, я определенно была в этом месте — только в Харькове».

Началась война, я вынуждена была уехать в Киев, и там мой топографический идиотизм развился и расцвел, и я его уже воспринимала не как болезнь, а как новое качество моей жизни. Например, я шла в собес, а попадала в пенсионный фонд, но только не в Киеве, а в Харькове. Или я шла в пенсионный фонд — но попадала в Макдональдс, и опять-таки в Харькове. И уже ничего нельзя было сделать, куда бы я ни ходила, я неизменно оказывалась в Харькове, возле роддома, и там меня ждал неизменный Миша Красиков с удивленной улыбкой.

— Ты опять здесь? — говорил он.

— Ну да, видимо, это моя судьба — роддом и Харьков.

Миша пожимал плечами. Я возвращалась в Киев. Так прошло много лет... А сколько же лет прошло? Не помню, но такое ощущение, что очень много. А тогда — сколько же мне лет сейчас? Не знаю, не помню. Можно, конечно, заглянуть в паспорт, но только я его потеряла в этих блужданиях между Киевом и Харьковом... Я спросила своего нынешнего мужа — не помню, которого по счету, и он ответил, что с его точки зрения — восемь с половиной. Еще сказал, что он вначале думал, что мне уже исполнилось девять, но после целого ряда глупостей разжаловал меня в восьмилетние...

— Однако... — сказала я. — Мы ведь уже десять лет в браке... И встречались до этого два года...

— И что? — удивился муж. — Что здесь тебя смущает? Твой возраст?

— Ну да... получается, я еще не родилась, а уже начала с тобой встречаться. Это как-то неприлично...

— Ой, да успокойся, — сказал он. — Неприличие — это твоя суть, а топографический идиотизм — только прикрытие.

Он прав... Я даже не представляю, насколько он прав!

## ЗАБРОШЕННАЯ ЖИЗНЬ

Итак, мы все брошены в эту жизнь чьей-то сильной и властной рукой. Про это уже давно сказал один философ, и наконец это дошло до всех. И все стали думать о себе так: «Мы брошены, мы все такие брошенные». Все происходящее в жизни стало объясняться этой брошенностью. И вот — ветер воет, как сумасшедший перед выпиской, батареи холодные, как наши сердца, и у порога стоит муж, уходящий в неизвестность, рвет на себе рубаху и кричит куда-то в глубину комнаты:

— Меня же к тебе забросили, понимаешь? Забросили! И значит, я ни в чем не виноват!

— Нет! — раздается жестяной женский голос. — Это меня забросили! Ты же мужчина, в конце концов, как тебя можно забросить? А я — я по жизни такая заброшенная, так что я ни в чем не виновата!

— Нечего дурочкой прикидываться! Это меня забросили — и хватит об этом! И значит — ты виновата, и нет тебе прощения, и делай теперь все, что хочешь!

И так вот идет жизнь, и бьется головой об стены ветер, и грохочут поезда, как адские сковородки — а нас забросили в этот мир, и, ясное дело, что виноват во всем тот, кто забросил, — но кто он? И вот тогда чувство вины, не находящее своей причины, разлилось в воздухе уксусным запахом, зашелестело в ветре тревожным и невнятным шорохом, завозилось под крышами домов чужими зловещими разговорами. И угрызения совести подтачивали нас, каждый просыпался с этим тяжелым чувством, вспоминал о своей заброшенности, но легче не становилось — наоборот, заброшенность пригибала к земле.

И мы оглядывались вокруг — и не находили ничего своего, ничего родного. Да, никто из нас не был ни в чем виноват перед этим чужим и странным миром, перед этими случайными людьми, которые вертелись вокруг, чего-то требовали, ждали, просили, часто плакали. Но все эти люди, весь этот мир стали просто маетой и докукой, ненужными хлопотами, с которыми, однако, надо было что-то делать.

И так жил каждый из нас свою ненужную жизнь, будто отбывая срок где-то на севере, под тяжелым небом, где свалка железа среди пожухлой травы и припавшие к земле кустарники. Иногда выходило из-за туч хилое северное солнце, но оно, как будто чувствуя себя в чем-то виноватым, быстро пряталось, и утренние сумерки перетекали в вечерние, а потом наваливался сон. Снились кошмары, но не такие, от которых кричат, просыпаются — и выясняется, что все в порядке, а кошмары тягучие, и даже не кошмары вовсе — а та же ненужная жизнь, только еще более глухая и чуждая.

Когда начинались войны, большинство из нас не понимало, зачем войны нужны и зачем воевать, если все — заброшенные, то какая разница? Но потом мы смирялись и осознавали, что от нас все равно ничего не зависит, и думали только о том, как спастись, хотя и не понимали зачем, и при каждом громком звуке бросались на землю. И каждый день начинался с ломоты в спине и головной боли. Мы убегали от войны — а война шла за нами, мы бросали наши дома и ехали в никуда — но и там ощущали, что с нами может произойти все, что угодно, что нас выковыряют из наших убежищ и не помогут ни стиснутые кулаки, ни надсадные крики, ни слезы.

Только всё вокруг нас становилось заброшенным. Наши дома, из которых мы уехали, ветшали, отставали от стен обои, с потолка начинала сочиться вода, пыль разрасталась причудливыми цветами, и в воздухе плавала бледная моль. И когда мы приезжали, мы замечали все это — и плакали, а потом брали тряпки и приводили дом в нормальное состояние, но ведь надо было возвращаться — и мы бросали его. Снова начиналось это тихое разрушение, и мебель скрипела и рассыхалась, из книжных шкафов выпадали книги, и вместо нас в наших домах поселялись новые обитатели — жучки-древоточцы, мыши, тараканы. А потом уже не хотелось возвращаться в эти дома, которые мы бросали, бросали — и забросили.

Кончались ли наши войны? Но они не могли закончиться у заброшенных людей. Ведь нужно же что-то делать, чтобы эта тяжкая ноша — жизнь — хоть на минуту становилась легче? Должен же быть выход — в это ощущение, что кто-то во всем виноват, в эту иллюзию, что все можно поправить, в этот туманный энтузиазм, напряжение воли, переживание собственной смерти... Нет, им не могло быть конца — и скоро у заброшенных людей весь мир стал заброшенным.

И вот — ветер воет, как сумасшедший перед выпиской, батареи холодные, как наши сердца, и у порога стоит муж, уходящий в неизвестность, рвет на себе рубаху и кричит куда-то в глубину комнаты:

— Ну хорошо, тебя не забросили... и меня не забросили... И никто не виноват. Но где же мы тогда?

— Мы в заброшенном сумасшедшем доме. Дом заброшенный и сумасшедший — все-таки лучше, чем никакого.

Над заброшенным миром опускается ночь. Встает луна. Идет снег.

## Валерий МИШИН

/ Санкт-Петербург /



### ПРЯМО СЕЙЧАС

\* \* \*

город в деревне,  
деревня в городе,  
в годы безвременья  
не понятно где.

себя утешал:  
наступит время —  
поеду в США,  
Рим, Сиену.

познаю мир,  
уточню географию,  
убрав из дыр  
Чехословакию.

свойство — плакать,  
свойство — жить,  
под одним знаком,  
в один титр.

у недописанных картин,  
и романов  
кончается керосин  
самообмана.

не сыщешь места,  
где не в пропад,  
в груди сиеста,  
Хайфа, Багдад.

всё портится,  
приходит в негодность,  
в стихах — пересортица,  
жизнь — в новость.

\* \* \*

однако забеременев,  
плутает в воздушных,  
не узнают по имени  
мужчину на сносях.

не узнают по виду,  
препятствует живот,  
не сказано в обиду —  
пора бы на аборт.

четыре части света  
обозначают числа —  
поэт родит поэта,  
кубофутуриста.

\* \* \*

зацепиться за край одеяла,  
ухватив заодно простыню —  
жест имевший успех поначалу,  
превратился в пустую возню.

самому себя перечитать —  
безусловно, ненужное дело,  
что писалось с оглядкой на ять,  
не читается справа налево.

почему-то возник самарканд,  
до которого трудно добраться,  
там блудницы танцуют канкан,  
мир и труд, разумеется, братство.

надвигается вновь листопад,  
был недавно сюжет ледохода,  
скрипка соло звучит наугад  
в каждой четверти времени года.

\* \* \*

летней ночью окна открывать опасно,  
кто-нибудь случайно залетит.

разбираю случай частный —  
залетела рыба, рыба-ёрш, на вид.

ёрш — смесь пива, водки и портвейна,  
чисто по-русски говоря — купаж,  
воспринимается благоговейно,  
как результат продаж, тут же — пропаж.

вспоминаю: мы рыбачили однажды,  
ты была — невеста, я — жених,  
что ловилось, в сущности, не важно,  
главное, чтоб вышел акростих.

как всегда, коротких строчек не хватало,  
не хватало и заглавных букв.  
ночь купировала и удаляла  
леску, поплавок, крючок, бамбук.

\* \* \*

люблю природы свежее дыхание  
и обещанье вечного покоя,  
река течёт, уносит с потрохами  
мою любовь, какую ни какую.

природу эту воспевали классики,  
убитые когда-то на дуэли,  
а нынче в речке только головастики,  
лягушками не стали, постарели.

\* \* \*

трепыханье занавески  
подчеркнуло летний зной,  
посоветовав не мешкать,  
быть, как текст переводной,

где расписаны по буквам  
все желанья и дела,  
творческим подспорье мукам,  
будто мама родила,

не своя, совсем чужая,  
мама — чистый образец,  
и поведала, рожая:  
у тебя другой отец,

не завистник и шизоид,  
неудачник, маргинал,  
обновив сперматозоид,  
ты взойдёшь на пьедестал.

зашагаешь в ногу с веком,  
и богат, и знаменит,  
чувствую: стал человеком,  
набираю аппетит.

\* \* \*

золотистый пурпур  
уходящей зари  
наблюдаю в упор.  
на минуту замри —  
говорю и заре, и себе, и трубе,  
незаметной обычно при быстрой ходьбе,  
но заметной сейчас  
комаром между глаз,  
верно, не по злобе  
сокращает сеанс.

сокращает сеанс,  
нарушая пейзаж.  
что касается нас,  
из раздела пропаж  
хорошо бы уйти,  
не нарушив баланс,  
направляя свой взгляд  
в тот же ряд —  
по трубе, по заре, по судьбе,  
незаметной обычно при быстрой ходьбе.

\* \* \*

опять же дом, дома,  
ряд домов, улица.

взаперти — игра ума,  
вышел — лежит пуговица,

которую потерял вчера,  
пришел другую.

продолжается игра —  
взять на запасную.

улица, ряд домов, дом,  
жена и любовница —

всё своим чередом,  
сейчас — пуговица.

\* \* \*

щебетанье воробьёв под крышей,  
на кухне посвист чайника, который  
в итоге каждому отводит свою нишу  
и свою аудиторию.

ты лежишь на больничном безвылазно,  
я весь день в бегах по делам,  
тебе чайник поёт (что там иволга?)  
отсылая меня к воробьям.

подскажите, каким можно жестом  
объединить в один форс-мажор —  
концерт для чайника с оркестром,  
где без костылей дирижер.

\* \* \*

преподобный таракан,  
сущий жук навозный —  
в этом как-никак изъян,  
но лечиться поздно.  
от таблеток и пилюль  
станешь бледной молью,  
результат сведешь на нуль,  
в минус, произвольно.  
будь здоров, живи как есть,  
всласть, не через силу,  
ничего, что выйдет смесь  
мошки с дрозophilой.  
полетаешь комаром,  
выдашь эскападу,  
хочешь — полетим вдвоём,  
до мкада и за мкадом.

\* \* \*

и вдруг приходит человек,  
пронзает властным взглядом,  
когда бы знал, что же ему надо,  
по правде — невдомёк.

а этот странный человек  
меня насквозь пронзает,  
как будто я неосязаем,  
точней сказать — не человек.

ни слов, ни жестов, его взгляд  
сильнее, чем слова и жесты,  
один лишь шаг, сойти бы места,  
но ни вперёд, и ни назад.

а человек, считай пророк,  
отображается в стекле,  
преумножается в числе,  
и исчезает между строк.

\* \* \*

луна застряла между дымом котельной и тучей,  
туча застряла между кирпичной трубой и пожарной каланчой,  
не преподношу как исключительный случай —  
произошло всё само собой.

я мог застрять между её и своим домом,  
дом застрял под старым номером, улицу назвали переулком.  
мы с ней были почти незнакомы,  
но я воспользовался хитрый уловкой.

сказал ей: поверьте, хорошая примета —  
взглянуть, как луна зависла на одном месте.  
всё рассчитал с точностью до сантиметра,  
кроме того, что у неё муж и куча детей, один другого меньше.

тем не менее, она не возражала,  
муж пил, а детям нужно было покупать штаны и ботинки.  
испытывал к ней непередаваемую жалость,  
однако удалил себя с переднего плана картинки.

эта история из моей юности,  
застряла в голове, как на небе устрица,  
в то время, когда после полнолуния началась бессонница —  
правда, допустил кое-какие вольности.

## Виктор БОНЧ-БАГГОУТ

/ Москва /



### РИМЛЯНИН С ЛУКЪЯНОВКИ

*Моему брату Владиславу Г. Наумцу*

По радио каждый час передавали «бюллетень здоровья». А между ними играла тяжёлая, давящая музыка. Под статью ей угнетала и погода. С обеда натянуло черни на небо, повалил густой снег.

Владик за столом читал учебник по «Родной речи». Нужно было к завтрашнему уроку выучить, где родился Пушкин, и заучить наизусть «У лукоморья». Он несколько раз прочёл стихотворение, но музыка прогоняла певчие слова про кота, русалку, волка мимо памяти, как злая собака из подворотни, отгоняет прохожих злобным лаем. Принялся читать о жизни поэта.

— Бабушка, а у нас в городе есть Немецкая слобода? — спросил он, прочитав в учебнике, что Пушкин родился в этой самой слободе.

— У нас слободов не бывает. Здесь есть Печерск, Подол... Вот мы с тобой живём на Лукьяновке.

— А почему Пушкин не жил у нас?

— Каждый живёт, где дозволяется... Да и где твоему Пушкину у нас жить? Когда жил твой Пушкин, то бараков было сильно мало... — Объяснила бабушка, и предложила: — Владичка, давай выключим радику... — Выдернула вилку из розетки. — Одни страхи нагоняет. Ироды нечестивые услышат и нашьют какую беду на нас... Гляди, как вдруг мести стало. За полдня окно с половины уже залепило. И ты про немцев-иродав. Не к добру... Ты уроки не сделаешь.

Вытянутое лицо бабушки, схваченное широким ободом белой косынки, всегда выражало равнодушие и безразличие ко всему, что происходило вокруг. И только две большие чёрные точки глаз, всегда настроенно ждущие чего-то, выдавали внутреннее состояние старухи. Сейчас, предлагая выключить радио, и, поминая нечистую силу и какую-то беду, которую могли принести «бюллетени» и музыка, глаза говорили, что самой беда и нечестивцы бабушку не занимают, а говорит она о них, чтобы отогнать другие гнетущими мысли.

И действительно, вокруг сразу стало тихо и спокойно. Комната точно увеличилась в размерах — стены как-то вдруг посветлели, а потолок поднялся. И от печки пошло жаркое тепло.

— А как мама добираться домой станет по такой метели? — с тревогой спросил мальчик. — Скоро смене конец.

— Маме близко. Вот, как ты в школу по такой снеговерти пойдёшь? Утонуть недолго...

— А разве в снегу утонут?

— В высоком снегу можно. А что в нём измёрзнуть, что в воде утопнуть — никакой разницы для человека нет. Снег и вода — одно и то самое.

За стенкой что-то тяжело ухнуло. Из коридора долетели чьи-то торопливые шаги. Дверь комнаты отворилась, вбежала мать.

— Слыхали?! — Женщина, не сбрасывая фуфайку, шальными глазами принялась искать радиоточку.

— По такой погоде куда же можно ходить, чтоб слушать? — спросила бабушка. — Да и за ветром ничего не слышать. Воить голодной волчихой...

— Радио-то включите! Помер!.. Только-только сообщили. Ой! Чего это будет?!

Владик смотрел на мать и не мог понять, почему её губы дрожат, а глаза переполнены слезами. Было видно, что она с большим трудом сдерживает себя, чтобы не заплакать.

— Слава Богу, — почему-то спокойно сказала бабушка. — Отмучился, сердешный. — Она принялась креститься, глядя в дальний угол комнаты, где под потолком висела маленькая иконка. — А нам ещё из-за него ой как мучится... И за какие грехи нам такая ноша?.. Ты, Катерина, совсем пришла или только, чтобы сказать?

Но мать подскочила к радиорозетке и воткнула в неё вилку.

Из бумажной головы вылетел трагический голос:

— «Закатилось солнце над миром. И никогда человечество не увидит его света. Тьма и неодолимая боль сковывают души вечным льдом...»

— Ты мальчонке чего принесла? — спросила бабушка, бросая взгляд на невестку и глядя на внука. И сейчас её глаза горели беспокойным огнём, выказывая внутреннюю нервозность. — А то я в очередь за хлебом в такую заметь не доберусь. — И выдернула вилку из радиорозетки.

— Да какой сейчас хлеб, мама?! — взволновано сказала Катерина. — Что ждать-то нам? Опять война?.. Когда же это кончится?! И в столовой пирожки не пекли. А я так надеялась купить штук пятьдесят. Отнести на Лукьяновский базар... Там хорошо разбирают по рублю.

Она суетно принялась вставлять вилку в розетку. Но ножки никак не попадали в отверстия.

— «Погасло навсегда солнце над нашей родиной... И теперь будет вечный мрак...» — прогудела вдруг бумажная тарелка.

— Брешет гэтое радиво. Всё время брешить, — спокойно сказала бабушка. — Что война началась, утром уже все знали... Бомбы в начале шестого рваться стали... На базаре сказали, что одна прямо в самый нужник уцелилась... в заводе, который на Брест-Литовском стоит. Помнится, смердело целую неделю... До нас доносило... А твоё радиво только потом узнало... После обеда. — Старуха выдернула розетку. — И мальчику уроки делать мешает. Раздевайся и давай свеклу тереть. Скоро шесть часов. Ужинать пора... За дровами ещё сходить бы. До утра печка выстудится.

— Я не буду буряк есть, — сказал Владик. — Надоел.

— Почему?

— Потому что я утром уже ел... И вчера... И позавчера... А Додька Кальницкий шоколад вчера себе купил. Лучше капусту, чем эту красную кашу... Я в погреб за капустой спущусь?

— Ты, Ладуся, потерпи день-другой, — попросила бабушка. — Снег, вишь, какой. До погреба не доберёшься... Полночи сугроб отгребать... И пенсию нам с тобой почтальон может и не принести завтра... Не пробьётся через заносы. А принесёт — мы тоже шоколаду купим. — И строго спросила невестку: — Катерина, а у тебя когда платяты?

— По шестым числам. А теперь и не знаю... Если помер — могут и не заплатить...

— Спаси и сохрани... — Бабушка снова принялась креститься, глядя на икону в углу.

\* \* \*

В школу многие не пришли.

Владик сидел на второй парте в третьем ряду, что тянулся вдоль окон. Сидел один — его сосед не пришёл. Пустовала и первая парта, отделявшая Владика от стола учительницы.

Учительница, маленькая, полная женщина с чёрной тощей кожей, завёрнутой вокруг круглой головы, одетая во всё чёрное, молча сидела за столом, перелистывая страницы классного журнала взад-вперёд. Но урок не начинала.

Вошёл директор. Он шепнул училке что-то на ухо и вышел.

— Дети... — Она встала у доски и принялась мять пальцы одной руки ладонью другой. — Умер товарищ Сталин. Надо... — Запнулась, явно пугаясь ожидаемой реакции учеников на то, что намеривалась сказать. — Горе всем нам... Решили у портрета... который в вестибюле школы... поставить венок... Самая лучшая память — выложить имя товарища Сталина на венке пионерскими значками... — И потребовала: — Кальницкий и Максимов... соберите значки.

С последней парты первого ряда поднялся круглый, толстый Давид Кальницкий и пошёл вдоль парт.

Услышав свою фамилию, Владик удивился, почему поручили ему, а не старосте. Но поднялся и, перед тем, как идти собирать, отстегнул свой пионерский значок.

Значки свалили в кучку на столе.

Учительница пересчитала. И сказала:

— Все могут идти домой. Занятия теперь десятого марта. Во вторник. И передайте тем, кого нет...

А десятого, как только учительница вошла, встала у доски и, взяв в руки маленький листочек, принялась читать:

— «Закатилось солнце над миром. И никогда человечество не увидит его света. Тьма и неодолимая боль сковывают души...»

Владик смотрел в окно, наблюдая за парой синиц, которые суетно клевали чёрную сухую корку, положенную кем-то на подоконник.

«Зачем забрали пионерский значок? — думал он. — Мама новый не купит. И этот я выпрашивал... И она... как радио, читает... «Закатилось! Закатилось!..» Лучше бы значок вернули. Венок уже засох... наверное».

— «Погасло навсегда солнце над нашей родиной... — продолжала читать учительница. — И теперь будет вечный мрак...»

Прилетела третья синица. Уселась сверху на корку... Птицы принялись толкать друг друга. Корка понемногу съезжала по косому подоконнику и упала на землю. Птахи, испугавшись, улетели. Владик, увлечённый борьбой птиц, поднялся из-за парты и, сам не понимая зачем, решил заглянуть за окно.

— Максимов, ты что делаешь? — строго спросила учительница. — О чём думаешь?!

Владик остался стоять, и смущённо ответил:

— А почему на улице светло?

— Так десять часов утра, Максимов. День на улице.

— Так вы же говорите... солнце навсегда закатилось?

Учительница дернулась, точно её кто-то ударил. Попыталась искать рукой опору и, не найдя, словно спасая себя от падения, визгливо крикнула:

— А ну, убирайся вон из класса! — Руки у неё дрожали. И Владиду показалось, что эта женщина стала ещё шире и черней.

Владик вынул из парты портфель и вышел.

Прошёл мимо серо-зелёного, от пола до потолка, портрета Сталина. Постоял у венка, решая — забрать значок или оставить. Но хлопнула какая-то дверь. Максимов нырнул к вешалкам. Снял с крючка свою худую фуфаечку, натянул шапку с длинными висячими ушами-шлейками, и вышел на улицу.

Шёл домой, не минуя сугробов.

«Хорошо, что товарища Сталин умер! — подумал он. — Из класса выставили... Целый день свободен... Если бы Додьку Кальницкого со мной выгнали, мы бы в кино сбегали... Нет... Плохо... Значок забрали... Да и товарищ Сталин всегда думал о нас... А теперь думать неко-

му... Совсем с голоду помрём, как он... — На него налетела весёлость. Усмехнулся радостно: — Вот хорошо, если бы хоронили каждую неделю кого из тех, кто про нас думает...»

Но веселость из души прогнал едко-мерзкий запах палёной резины, который стал заполнять улицу серым облаком, которое ветер нёс со стороны Кабельного завода.

\* \* \*

Бабушка сидела в коридоре у примусного стола, отрывала белые длинные ростки с картофельных клубней.

— Ты чего так рано, Ладуся? — спросила она, увидев внука.

— Бабушка, а хорошо, что Сталин умер? — с порога спросил Владик.

Бабушка перекрестилась и сказала:

— Конечно, плохо. Человек... хороший. Если бы не выгнал меня и маму из деревни, когда колхозы ставили, то мы бы там и померли с голоду. И тебя бы не было. А так ты есть... Раздевайся... Я собралась картошку варить.

Отворилась входная дверь в барак. В коридор вбежала соседка Титовна, большая, высокая женщина.

— Слышала, Елисеевна! — громогласно воскликнула она, на ходу сбрасывая синюю фуфайку, стуча по полу калошами, отряхивая строчёные статные валенки от снега. — Говорят... амнистию в Москве придумали!

— А это чего такое, прости, Господи? — спросила бабушка.

— Бандюг выпускать зачнут! — громко сказала соседка.

— Это которых? Врагов народа — врачей недавних<sup>1</sup> или — кто за колоски?

— А кто знает?

— Господи, прости и сохрани... — Бабушка торопливо перекрестилась. — Если за нитки. Хорошо... А если, которые за татьство. Не доведи, Господи.

— Подумаешь, напугали этими бандюгами?! — Титовна скрылась за дверь своей комнаты. Вернулась и, словно Левитан<sup>2</sup> из бумажной тарелки, сказала: — Даже если Фука вернётся! И чего? Бояться его?.. Через месяц раскурочить какую кассу и — назад в тюрьму.

Владик посмотрел на соседку. Монументальность её фигуры и громогласность родили в его голове уверенность, что «амнистия» — это плохо и опасно.

— И всё-то ты, Дуся, знаешь, — сказала бабушка, пересыпая картошку из кастрюли в кастрюлю. — Завидую...

---

<sup>1</sup> В январе 1953 г. в Советском Союзе начались аресты по так называемому «Делу врачей».

<sup>2</sup> *Левитан Ю.* — легендарный диктор Совинформбюро.

— А как по-иному? В тюрьму! Из тюрьмы на месяц домой... Потом — опять...

— Чего только месяц? Живи себе сколько можешь...

— Ты скажешь, Елисеевна! А как без денег-то жить? Кого это у нас на работу берут, которые из тюрьмы вернулись? Вона, Орлуша? После первой тюрьги погулял годок. Кого-то пырнул ножичком — опять в тюрьму... А ведь тоже вернётся, шалава! Обязательно кого-нибудь пырнёт, как прошлый раз.

Она взялась накачивать примус. Подождала его. Поставила на огонь кастрюлю. Открыла крышку и, зачерпнув ложкой содержимое, отхлебнула, пробуя. Сплюнула на пол, и с презрением, крикнула:

— Тьфу! Какая ж гадость этакая костомаха! И кто это придумал, чтоб человек харчи для себя из всякой дряни готовил?! Хоть день цельный её вари, а всё одно — вода водой! В радиве только и слышно... «С мясом хорошо!» С мясом точно хорошо. Это и коту помоешному известно... А вот без мяса — плохо! — Утёрла губы концом фартука. — И ещё, вот, говорят, что теперь вместо понижения первого апреля<sup>1</sup> будут заставлять подписываться на облигации<sup>2</sup>... — Титовна снова попробовала варево. — Заразы! — Она со злостью швырнула ложку на стол — та с грохотом запрыгала лягушкой по столу. — И сразу на три зарплату... Штоб вы подавились вашими облигациями!

Слово «облигация» испугало Владика.

Он хорошо помнил, как мать вместо новогоднего подарка, — обещала купить на рынке мандарины, чтобы повесить на ёлку, — пришла домой после заводской смены, обливаясь слезами, и в отчаянии крикнула: «Опять заставили на облигации подписаться!.. Добровольно!.. На всю зарплату... Опять будем только одну картошку с капусту жрать!..» А бабушка тихо сказала: «Видит Бог. Знал, что так будет. Дал картошку и капусту. А что на цельную зарплату... это хорошо. Могли бы, ироды человеческие, и на пять заставить добровольно... Слава Богу, пенсию за невинно убиенного на войне несят. — И чтобы успокоить невестку, мягко и невуче добавила: — Вона, Сидоровна, из седьмого барака, на рынке давеча говорила, что ходила во власть. Там сказали — ей и её внукам пенсия не положена... Потому что сын еёйный без вести пропал. Пояснили: если бы при каком начальнике военном убили или сам за-

---

<sup>1</sup> Популистское мероприятие советской власти с 1947 г. по 1956 г. — первоапрельское снижение цен на 10–15%.

<sup>2</sup> Подписка на облигации государственного займа — один из изощрённых методов откровенного отбора денег у населения, придуманных советской властью для пополнения госбюджета. Отказались от массовых «добровольных» подписок только в 1956 г. Было обещано погасить предыдущие займы через двадцать лет. Но и этого не было выполнено.

стрелился возле писаря... тогда бы и детей его кормили. А иначе не положено... А вдруг он сейчас у какого-то палача Тита или висельника Ранкавича<sup>1</sup> служит...»

Мальчик прильнул губами к тёплому уху бабушки, и шепнул:

— Зачем нам облигации?

Бабушка не ответила. Повернула лицо в сторону соседки и с укоризной сказала:

— И откуда у тебя, Дуська, такой рот чёрный? Накличешь беду на наши головы с твоими облигациями... Вона, дитё пугается... Ладуся, иди в комнату.

\* \* \*

Через неделю бабушка, вернувшись с рынка домой, недовольно сказала внуку:

— Ладушка, видела сейчас твою учительницу. Жалуется на тебя.

Балуешься на уроках. Говорила, что не переведёт тебя в четвёртый класс.

— Ничего я не балуюсь, — ответил Владик. — У меня только одна тройка по-английски. А за поведение не оставляют на второй год.

— ...и если не перейдешь в четвёртый, — продолжала говорить старушка, сосредоточено копошась в плетёной из рогозы корзи-не, — я Орлуше скажу... когда из тюрьмы вернётся. Он тебя нашла-еет.

Катерина, штопавшая у стола на грибке дырявые самовязанные носки, услышав недобрые слова свекрови, недовольно сказала:

— Что вы, мама, мальчика этой бандогой пугаете!

\* \* \*

Амнистии и облигации — новости для взрослых.

А по детским ушам пролетел более важный слух.

Прибежал Додька Кальницкий, — он жил в бараке на противоположной стороне их переулка, — круглолицый, с большой недетской бычьей холкой, напоминавшей уложенный на шею наполненный мешок. Расхристанный, задыхаясь от распивавшей его важной новости, он зашипел:

— Ладей, деньги есть? — Его рыжеватые, чуть курчавые волосы выбивались из-под шапки-ушанки. И едва приметные веснушки от волнения вдруг набухли и ещё больше порыжели.

— Сколько? — осторожно спросил Владик.

— Шесть рублей.

— Чего покупать?

---

<sup>1</sup> Тито И., Ранкович А. — руководители Югославии, не желавшие следовать большевистско-сталинским принципам развития югославского общества. Выражения «Палач и висельник» стали пропагандистским штампом всех газет и радио СССР того времени.

— Не покупать! Братуха сказал, что с понедельника у нас в клубе будут пускать «Тарзана»<sup>1</sup>. И сразу четыре серии подряд. Каждую неделю по одной. Понял? Это кинушко лучше даже, чем «Королевские пираты» и «Сети шпионажа».

— А он откуда знает?

— С ним в цеху сын кассирши работает... А сегодня уже среда. За билетами сбегает. Предварительная касса в пять вечера открывается. Надо быть первыми!

— У меня нет денег... — смущённо признался Владик.

— Так у бабки возьми... — шептал Давид, опасливо косясь на входную дверь комнаты. Он нервно дёргал себя за полы расстёгнутого пальто, словно хотел выпрыгнуть из него. — Шесть рублей всего. На три серии хватит. А на последнюю где-нибудь достанем. Бутылки на Лукьяновский базар к Соломону снесём. Он даёт за одну на пять копеек больше, чем в гастрономе. Рубль пятьдесят пять...

— У нас нет денег.

— Так... — запнулся Додик. — Так вчера почтальонша пенсию носила. Твоей бабке тоже принесла.

— А у тебя есть деньги?

— Если бы...

«Если бы были, — подумал Владик, — ты бы не пришёл. Я тебя знаю. Как на мои «арахис» покупать, так едим пополам. А как на твои — так мне одну фасолину из кульки, а себе — две».

Но сказал, соглашаясь:

— Иди, занимай очередь. Только договорись, чтоб в третьем или во втором ряду... Я попрошу денег.

Давид убежал, унося с собой радостную надежду.

Владик вышел в коридор, где бабушка возилась у примуса, и попросил:

— Дай десять рублей.

— Додька для этого приходил, чтобы деньги выдуривать? — подозрительно спросила она.

— Нет. На кино.

— Так билет стоит полтора целковых.

— А это «Тарзан». Четыре серии.

— Ой, брешет твой Додька, как сивый мерин, — сказала бабушка, тревожась. Вошла в комнату, порылась в комод и протянула чёрную десятку. — Ой, брешет...

— А как брешет сивый мерин? — спросил Владик.

Бабушка растерялась, не зная, что ответить. И сказала:

— Как, как?.. Как твой пузатый Додик брешет, так и мерин.

Внук взял деньги. Набросил на себя фуфайку, сорвал с вешалки длинноухую тряпичную шапку, и побежал в клуб.

---

<sup>1</sup> Американский многосерийный кинофильм. В СССР в 1952–53 гг. показывали четыре серии.

Билеты купили в первый ряд.

Пришли на сеанс почти первыми. Разделись. Давид втиснул толстое тело между подлокотниками, а пальто положил на колени. Владик бросил свою фуфайку на сидение, уселся сверху: выше — лучше видно.

Зал заполнился быстро. По проходу стали ходить какие-то взрослые парни, отыскивая пустующие места. Но, не найдя, подошли к Владиду и Додиду, и один сказал:

— А ну катись, шпана! Дай посидеть людя́м!

— У нас билеты, — недовольно ответил Додик, глядя в пол.

— Сейчас, Пузо, в глаз получишь. Пошли вон отсюда!

— Ну, давай, — сказал Владик. И вспомнив слова бабушки, повторил: — Орлуша вернётся!.. Он тебя пошлёт вон.

Борьба за место перед экраном мгновенно прекратилась. Настырный захватнический порыв претендентов угас вдруг. Они молча отошли.

Ночью, лёжа в постели под одеялом с открытыми глазами, Владик радостно рисовал в воображении неведомого ему Орлушу. Этот всемогущий заступник предстал перед глазами большим и добрым, но почему-то очень похожим на белопростынного Вайс-мюллера<sup>1</sup>, бесстрашного американского хозяина африканских джунглей.

\* \* \*

Два рабочих барака, лепились к высокой каменной стене Кабельного завода, образовывая узкий двор, засыпанный серо-чёрным шлаком. То, что называлось человеческим жильём, походило больше на увесистые, длинные железнодорожные шпалы, пропитанные чёрным креозотом, только накрытые руберойдом. Ближние торцы их выходили в узкий переулок, а дальние соединял между собой ряд дровяных сараев, как перепонкой

Первым из тюрьмы вернулся сухой, завяленный старик.

Он появился в узком дворе между бараками в конце мая.

— Фимка Фуркас вернулся, — сообщила Титовна громовым басом на всю кухню.

Бабушка повторила слова соседки маме, когда та вошла в комнату после заводской смены. Старушка всегда говорила о ком-то или с мягкой добротой или со злым отвращением. И сейчас сказала, словно подбросила полено в печку — лишнее тепло не помешает.

И Владик понял: Фуркас — это хорошо.

По утрам Фуркас выносил во двор табуретку, ставил у входной двери барака, садился, и неподвижно сидел до вечера, выгревая в лучах солнца костлявое тело, разукрашенное синими картинками. Он

---

<sup>1</sup> *Вайсмюллер Д.* — многократный олимпийский чемпион 1924 и 1928 гг. по плаванию, сыгравший роль Тарзана в одноименном фильме.

был худ, чёрноморщинист, лыс, с шипящим, полупустым ртом. Кашлял тяжело и надрывно, долго отхаркивался. Бесперывно курил, меняя во рту одну за другой самокрутки, выпуская из ноздрей и рта густой сизый дым. Со стороны казалось, что старик плавает в синеве облаков. А самосадный дым, расплзаясь по узкому двору, заполнял всё межбарачное пространство, проникая в окна комнат, наполняя их ядовитым смрадом. Но жители бараков не возмущались. Появляясь во дворе, почтительно кивали Фуркасу. А тот в ответ поднимал благодарно руку и кланялся.

Окно комнаты, где жил Владик, выходило как раз на середину двора и на входную дверь соседнего барака. Мальчик садился на широкий подоконник и с жадной внимательностью разглядывал старика. Привлекали, загадочно-замысловатые рисунки на руках и спине. Особенно ему нравился орёл, который, разметав большие крылья с правого плеча на левое, скалил раскрытый клюв в беззвучном клёкоте. В когтях птица держала голую толстобёдрую женщину с неподъёмными круглыми грудями и развивающимися длинными волосами. Когда старик выдувал из ноздрей жирный ядовито-сизый дым, то казалось, что орёл парит в облаках. Когда же Фуркас начинал кашлять, орёл взмахивал крыльями нервно, пытаясь улететь за тучи, чтобы не отравиться горелым махорочным запахом. И мальчику виделось, что птица вот-вот выпустит женщину из лап, и она упадёт и, ударившись о чёрный шлак двора, разобьётся.

— А почему дед Фуркас, как книжка? — спросил Владик. Он заворожено разглядывал непонятные рисунки на серой коже Фуркаса.

— Какая ещё книжка? — удивлённо спросила бабушка.

— Ну, как мои «Сказки Андерсена». Картинок много... Погляди.

Старуха подошла к окну, взглянула на сторбленную фигуру Фуркаса и, участливо наклонившись над внуком, тихо сказала:

— Не жилец.

\* \* \*

В начале августа в узкое пространство между бараками въехал чёрный ЗИМ-такси с белыми шашечками вдоль борта, напоминавшими шахматную доску. Задняя дверь автомобиля широко распахнулась, и на засыпанную чёрную землю ступил невысокий худой парень лет двадцати пяти в сером макинтоше. Шея окинута белым шарфом. Изпод широченных чесучовых клёшей светло-шоколадного цвета высвечивались чёрные лакированные туфли. На голове пристроилась морская фуражка, как сорока, случайно присевшая на куст,

Таксист выставил на землю два фибровых чемодана, окованных хромом по углам. Пассажир запустил в карман руку, достал пачку денег и, демонстративно выдернув пятидесятирублёвую бумажку, небрежно протянул её шофёру. Поднял с сидения коричневый саквож, и вразвалочку пошёл к бараку.

— Сдорфо, Орлуса! — сказал Фуркас, не выпуская из губ самокрутку.

Приезжий в полуулыбке выкатил золотую фикса и, выстрелив сквозь стиснутые зубы слюной-иглой, ответил:

— Здорова, Фука. Ты давно с кичи?

— Сетьре месяца. — Старик затынулся крепко. И залившись тяжёлым кашлем, спросил: — Где оттыхал?

— На Баме. Тысяча десятый перегон... Перед Ургалом. Знаешь?

— Слыхал, слыхал про гэтую сону, — ответил Фуркас, кивая головой. — От Улькина далёхо. — И окинув Орлушу оценивающим взглядом, спросил: — Ты, никак, на общаке чалисься?

— С чего взял? — Орлуша протянул руку Фуркасу.

— Дюше фартофое шмотьё на тефе.

Орлуша не ответил. Он прошёл мимо Фуки, задев полой макинтоша колени старика.

Когда приезжий скрылся в темноте барачного коридора, Фуркас вынул изо рта самокрутку и презрительно сплюнул в сторону. Орёл на его плечах, как показалось Владуку, тоже недовольно взмахнул крыльями и захотел улететь. Но выпускать женщину не собирался, словно боялся, что она достанется приезжему.

Из барака выбежали два парня, подхватили чемоданы. Но понесли почему-то не в дом, а в дровяной сарай.

— Кослы!.. — проводил их взглядом Фука.

\* \* \*

Во дворе готовилось застолье. Сколотили длинный стол. На табуретки уложили доски и накрыли их газетами. Над столом повесили электрическую лампочку.

Мать Орлуши, грузная седая старуха в красно-жёлтом замызганом халате, ковылявшая на кривых слоновьих ногах, накрывала: выставила на столешницу гранёные стаканы, вывалила гору оловянных ложек. Иногда из барака выходил разодетый Орлуша, и, оценивая суету, одобритительно кивал, непрерывно поддёргивая левым краем верхней губы, вываливая жёлто-блестящую фикса. Затем он ушёл со двора куда-то и вернулся с двумя полными авоськами. В одной — пять буханок хлеба, во второй — дюжина бутылок «Московской» водки.

Увидев гору хлеба, Владик взволнованно позвал бабушку и, указывая на серые хлебные круги, выложенные на стол, зашептал, сбиваясь дыханием: — Орлуша без очереди хлеб принёс! И водку вместо денатуры!<sup>1</sup> Давай и мы сходим. Спросим у Орлуши... и сходим за хлебом.

---

<sup>1</sup> *Денатурат* — технический спирт низкого качества, окрашенный синим красителем. Ядовитый напиток, пользовавшийся большим спросом у населения СССР в силу своей дешевизны.

Бабушка поцеловала внука в стриженую голову и тихо ответила:

— Чтобы хлеб быстро из магазина носить, нужно в тюрьму сперва сходить... У нас с тобой не выйдет. — И добавила: — И, слава Богу.

— Давай, сходим! — настаивал внук, не справляясь с дыханием. — И ты не будешь ночью ходить очередь занимать.

— Ой... — вздохнула бабушка, сожалея, не зная, как бороться с нечаянной детской радостью. — Я уж лучше лишний раз до света встану.

Двор заполнился неизвестными людьми. Гости были похожи друг на друга: флотские фуражки, широкие клёши, папиросы в зубах, плевков после каждой затяжки. И обязательный мат.

Были две женщины.

Васька, младший брат Орлуши, рассаживал гостей.

Во главе стола сидел Орлуша и принимал поздравления. Выпивая, громко говорили, кричали и бегали целоваться с виновником сходы. Стали петь под гармошку.

— Видать, в тюрьге хорошо, — сказала мама, слушая застольный гул.

— Почему? — спросил Владик, наблюдая за гулянкой с подоконника через открытое окно.

— А где ж на воле столько денег взять, чтоб половину Лукьяновки и Куренёвки поить и кормить от пуза.

В самый разгар веселья Орлуша вдруг подозвал к себе брата и шепнул ему что-то на ухо.

Вася, выслушав, кивнул, побежал в барак. Вернулся со стулом. Определил его у противоположного от Орлуши края стола и, остался стоять, нервно поглядывая на входную дверь.

Из барака вышел человек в коричневой шляпе и чёрном однобортном костюме. Под ним треугольник груди была прикрыт морской тельняшкой. У левого лацкана пиджака висели две звезды на георгиевских лентах<sup>1</sup>. Ниже — шесть медалей в ряд.

Награды цокали, ударяясь друг о дружку. Их капающий серебряный звон заставил всех замолчать.

Владик не сразу узнал в этом человеке Фуркаса.

Фуркас уселся на принесённый стул, снял шляпу и долго вытирал платком вспотевшую лысую голову. Затем взял бутылку водки, ладонью смял белый сургуч на горлышке, словно свернул шею курёнку, и коротким хлёстким ударом в доньшко выбил бумажную пробку. Пододвинул пустой стакан и стал наливать. Рука дрожала. Горлышко билось о стеклянный край, и этот звон, неожиданно возникший в немой тишине, гулко разносился по двору.

---

<sup>1</sup> *Орден Славы* — солдатская награда. Обладатель орденов Славы трех степеней приравнивался по статусу к Герою Советского Союза.

Старик встал, сжимая в кулаке наполненный стакан и, глядя на Орлушу, сказал:

— Дафай, корефан, са то, што ты вернулся с кичи шифой. И ту-софка у дубка у тя по делу. Но фот те мой басар... Савясывай... Больше лафы на соне не буйть. И корешам скаши.

— Ты за шо базаришь, дед?! — перебивая, громко крикнул молодой парень лет двадцати, сидевший по правую руку от Орлуши. — Не шелести листопадом. Мы — не асфальт. Давай по делу.

Фуркас опрокинул содержимое стакана в рот. Закрыл глаза и сжал тонкие губы, морщась.

— Пять фосемь<sup>1</sup> отменят скоро. И на соне уше гулять некого буйть. А с братвой не сагуляешь.

— Ты за чего гундосишь, Фука? — спросил Орлуша, улыбаясь.

— Ты снаешь, са чего, — спокойно ответил Фуркас.

Он уселся. Снова налил водку и выпил. Но теперь лицо его уже не морщилось. Дотянулся до огурцов, что горкой лежали на столе, и макая в соль, принялся жевать.

— Шо это за фраер? — снова закричал Орлушин сосед справа. — Кто его сюда звал?

— Умокни, Гибон, — попросил Орлуша. — Это — Фука.

— Да хто он такой?! — крикнул недовольно парень, которого называли Гиббоном.

— Ты чё, Гибон? — сказал кто-то полушёпотом с заискивающим благоговением. — Это... Фука-шнифер<sup>2</sup>.

— Шнифер! Фифер! — взвился Гиббон. — Ты погляди на него! Сука он, а не шнифер! Ссучившийся<sup>3</sup>! Цацек налепил! Думает, шо мы тут — фуффло!

— Заткнись! — обозлённо крикнул Орлуша. Вскочил и повесил кулак перед лицом Гиббона.

— Кинь его, — попросил небрежно Фуркас. — Луше выпьем са тебя, Орлуша, и за всех наших, которые есть... И которых нету... — Он налил, поднял стакан, выпил залпом. Протёр губы тыльной стороной ладони и громко выдохнул. И продолжил жевать огурец.

— С сучарой пить?! — не унимался Гиббон. — Западло!

Фуркас наклонил голову и о чём-то тихо спросил Васю. Тот ответил. Фука одобрительно кивнул и, протягивая расписанную наколками руку за куском хлеба, сказал:

— Послушай, херой... А папашку твоею, слушаём, не Мартыном Фомисём по ксиве пишут?

---

<sup>1</sup> *Пять-восемь* — 58-я статья УК СССР, по которой осуждали «врагов народа» (жарг.).

<sup>2</sup> *Шнифер* — медвежатник, специалист по взломам сейфов. Элита уголовного мира (жарг.).

<sup>3</sup> *Ссучившийся* — уголовник, который воевал в рядах Красной армии, тем самым нарушивший главный воровской закон — не сотрудничать с властью.

— А тебе какое дело?! — нервно ответил Гиббон.

— Знать, я угадал. Ты — Мартышкин сын... Очень правильную кликуху тебя кодрло вяпало, обезьяняя порода.

— Попишу, суку! — Гиббон вскочил. — Я за папашу!..

— Сядь, падла! — Орлуша ударил соседа в плечо. — А ты, Фука кончай гундосить не по делу!

— Я этого суку!.. — не унимался Гиббон, но уже без прежнего запала.

— Вот эту штуку... — Фуркас поддел пятиконечную звезду на георгиевской ленте большим пальцем левой руки, — я получил са то, што твою боевою папашку из расдолблённого миной блиндаша в санбат на себе притаранил... Фартофый ханыга для родины окасался твой папашка, если за его поганую душонку такие свёсты вешают. А снаешь, кто был твой папашка на фронте? — Фуркас указал пальцем на Гиббона. — Думаю, никто не снает... Он, небось, всем хвали-сся — комантир батальона... — И сделав паузу, добавил: — Батальона... Токо штрафнохо... Токо он не командофал, а за нашими спинами с афтоматом наперевес прятался... А до войны кумом в Лукьяновской тюрьге чалился... В сорок первом, когда фрис к самой Демеивке бычарой пёр, он мнохо наших пасанов пострелял... Братская мохила в Быковне<sup>1</sup> до сих пор стонит. — И снова сделал паузу. — В Лукьяновке — в затылок... И на Быковню — в яму... А на фронте тряся, что мы, штрафнички, к немцу перебехим... Мы — нафоз... А его за это... обязательно бы к стенке поставили!.. Вот он — настоящая сука... Если бы я на фронте про его херойство тюремное знал... в том блиндаше подыхать оставил... Вот он ссучился ещё перед тем, кохда мать родила. Наверно, в каком райкоме секретарит сесас? — Фуркас тяжело вздохнул. — Дафай, Орлуша, фыпьем са души пострелянных Мартышкой... А ты, Гиббон, если на сону сагремишь... меньше помелом маши. Держи са субами. А то после первого же слова до утра не дошивёшь... Это тебе мой софет.

Фуркас вдруг закашлялся громко, задыхаясь. Схватился за грудь. У него горлом пошла кровь.

Вася подхватил старика, приподнял со стула и повёл в барак.

Кровь Фуркаса развалила пьянку. Публика быстро, незаметно разошлась — лампу даже не включали.

Когда двор опустел, Владик спросил у мамы:

— А что такое пять-восемь?

— Господи! — воскликнула мать. — Рано тебе знать!

— А — шнифер?

— Зачем тебе это? ! Тоже хочешь в тюрьму?!

---

<sup>1</sup> *Быковня* — деревня на север от Киева. Громадный лесной полигон, где массово расстреливались и захоранивались осуждённые в период 1935–1941 гг.

\* \* \*

Утром, одетый в серые габардиновые клёши, обутый в жёлтые сандалии, Вася убежал куда-то. Вернулся через час в будке узконосой, жёлтой санитарной машины-фургона с красным крестом на макушечном фонаре. Санитары вывели Фуркаса под руки, осторожно усадили в фургон и увезли.

А ближе к обеду во двор пришли пятеро парней. Владик среди них признал только Гиббона. Они долго стояли у входной двери барака, переталкиваясь резкими жестами.

В барак вошёл сам Гиббон. Через несколько минут он вернулся в сопровождении Орлуши. Зло кричал, изображая неотомщённую оскорблённость:

— На больничку, сучара, подался! Я его и там достану!

— Вали отсюда, — сказал Орлуша.

— Не понял? — искривив пренебрежительной гримасой лицо, сказал Гиббон.

— Я за понял четыре года сидел, — ответил лениво Орлуша. — Вышел, и не понял... Забудь дорогу к Фуке. Это тебе говорю я. Понял? — И скрылся в тёмном коридоре барака.

Компания ещё несколько дней к ряду приходила во двор. Сразу интересовались: есть ли дома Орлуша, а потом шли искать Фуркаса.

Но Фуркас больше не появился.

\* \* \*

Бабушка по привычке поднялась среди ночи. Долго собиралась, шурша юбками. И ушла. Утром, собираясь на работу, мама разбудила Владика и приказала:

— Пойдёшь в гастроном на угол Хрущёвской дачи<sup>1</sup>. Там бабушка стоит в очереди за мукой. Встанешь вместе с ней... — И объяснила: — В одни руки только по два килограмма дают. Возьмёте четыре... Перед первым сентября испечём пирогов с малиной и чёрной смородиной. В школу возьмёшь.

Двор гастронома шумел и толкался.

Владик отыскал бабушку в толпе. Они простояли до обеда.

Но неожиданно голова очереди загудела недовольно, народ стал расходиться.

— Пошли, — сказала бабушка.

— А мука? — спросил недовольно внук. — Мама говорила, что пирожки к школе хочет испечь.

— Кончилась наша мука, — ответила бабушка. — Придём домой, я дерунов натру. Они вкуснее.

---

<sup>1</sup> *Хрущёвская дача* — пригородная резиденция Первых секретарей ЦК КП Украины.

— А, может, где есть ещё мука? — спросил Владик.

— Есть, да не про нашу честь, — ответила бабушка, глядя внука по голове. — И нас пока туда не зовут.

— А когда позовут?

— Как рак свистнет.

— А как рак свистит? — спросил Владик.

— Так же, как щука поёт, — вздохнула бабушка.

Они шли молча.

Настроение у Владика было отвратительное — сладкая мечта о пирожках, какие мама пекла вкусными-превкусными, сменилась горьким чувством обиды. Ему казалось, что его и бабушку обворовали, отобрали последнее. И чтобы не думать о пирожках, он принялся решать для себя задачу: где можно услышать свист рака или песню щуки.

А вечером в комнату вошёл Орлуша. Он осмотрел пустые, побелённые мелом, стены, пошарил взглядом по столу. Но Владика, который сидел на диване, казалось, не заметил.

Мать суетно порылась в комод, достала деньги и протянула гостю.

— Пятьдесят хватит? — спросила она.

— Хватит.

Орлуша ушёл. А утром следующего дня принёс три больших пакета.

— Почти десять килограмм. Нормально?

— Спасибо, Саша, — сказала мать. — Я с работы на работу. У парня скоро день рождения... Без тебя совсем праздника не было бы...

— Храни тебя Господь, — проводила бабушка Орлушу. И когда закрылась за ним дверь, повернулась лицом к красному углу и перекрестилась на маленькую икону.

— Обещал ещё сахар принести, — сказала мама. — А ты Владика им пугала.

— Значит, правильно, что сидел в тюрьме, — сказала бабушка утвердительно. — Из него человека сделали.

На следующий день после работы мама вбежала в комнату радостная.

— Слава Богу, наконец, талон на дрова выдали! Успеем попилить и порубить до морозов, — сказала она, швырнув халат на стул. — Завтра пойду на лесосклад.

— И я с тобой, — сказал Владик.

— Тебя там не хватало, — вмешалась бабушка. — И зачем завтра? Воскресение ведь...

— А когда же народу по своим-то делам ходить, если всю неделю на работе? — резонно объяснила мама.

\* \* \*

Владик вскочил с постели рано, чтобы не проспять поход на лесосклад. Тому была веская причина. В прошлом году, когда ходили

покупать дрова, на обратном пути мама купила шоколадное мороженое «Эскимо». Правда, не большую пачку за 2 рубля 40 копеек, а маленькую — за 1 рубль 20. И сейчас у мальчика была тайная мечта — выпросить у мамы большое «Эскимо».

«Мама купит обязательно, — уверял он себя. — После первого апреля на двадцать копеек подешевело... Теперь два двадцать уже».

Наскоро умылся и уселся за стол в ожидании завтрака.

Бабушка поставила привычное блюдо с подсолнечным маслом, нарезала мелкими дольками луковицу и торжественно поставила на середину стола глиняную миску, накрытую полотенцем.

— Вот и Орлушины приношения, — сказала она. Сдернула тряпочку. В миске горой лежали свежеиспечённые оладьи. — Воскресение... Праздник Господен.

Владик взял один оладушек, мокнул в масло и принялся есть.

— С луком будет сытнее. — Мама пододвинула ближе к сыну белую луковичную дольку и солонку.

— А когда будут сладкие? — спросил мальчик.

— Как Орлуша сахар принесёт, — ответила бабушка. — Наварим варенья. А пока будем с маслом да солью. Что Господь послал, тому и радоваться надо. Еда не хуже, чем у соседей. — Она повернулась лицом к иконе и перекрестилась.

Оладьи доели с чаем из мяты. Но то же не сладким.

\* \* \*

У въездных ворот лесосклада, словно на коновязи, стояли три тачки с большими колёсами. Их оглобли вздымали к небу свои худые шеи. В стороне под тенью старой липы толкался народ. Увидев маму, из толпы выскочил худенький парнишка в синей безрукавке и чёрной кепочке. Заискивающе спросил:

— Куда везти?

— В бараки на Баггоутовку, — ответила мама.

— Сколько берёте?

— Три куба.

— Так мы уже везём, — сказал весело парень.

— Давай, — согласилась так же весело мама.

— И за скоко?

— Как в прошлом гуду.

— Разве я возил дамочку у прошлом годе? Я тут бригадир. Я всех помню.

— Возили.

— И за скоко?

— Сорок рублей, — сказала мама.

— Ну, ты тётка даёшь! Теперь уже нету таких денег. Теперь куб стит...

— А ваша цена?

— Сто, мадам.

— Пятьдесят.

— Побойтесь Бога, мадам!

— Мне ещё нужно сыну в школу тетради купить. И мороженое.

Бригадир отошёл, переговорил с товарищами и, вернувшись, сообщил:

— Вы купите вашему сыну большое мороженое, мадам. Мы согласные на шестьдесят. Идите. Пусть вам Готтлиб отмеряет. А мы отвезём.

Дрова теснились чёрными штабелями вдоль длинного забора. На самой середине двора стояло какое-то подобие телеги, по углам которой были приляпаны высокие толстые трубы. На телеге сидели два парня и курили.

Мама вошла в деревянный домик у входа и вышла оттуда в сопровождении толстого высокого человека в очках, в гимнастёрке и жеваной тряпичной шляпе.

— Ванькэ! — приказал толстяк. — Накидайте три куба!

Двое поднялись с телеги, подкатили её к штабелю. Принялись бросать между труб длинные поленья. Положив слой, они подхватили большой пень, что лежал на земле рядом со штабелем, походивший на полулысого большого ежа с несчётным количеством сучков, с трудом погрузили его на телегу. Рядом бросили ещё один такой же. Все пространство по бокам пней закидали толстыми кривыми поленьями. Пустот в телеге было больше чем дров.

— Вы чего делаете?! — возмутилась мать. — Это кто пилить и рубить эти горбыли будет?!

Но парни, не обращая внимания на возмущения женщины, продолжали набрасывать в телегу кривые сучковатые брёвна.

Мама подбежала к хозяину склада.

— Посмотрите, что они делают?! Разве это дрова?!

— И шо такое, дамочка?

— Одни пни!

— А развэ пень — не дрóва, дамочка?

— Их же не распилишь!..

— Если вам не наравится, так не берите. У нас для усех дрóва одинаковые.

— Как вам не стыдно?! — отчаянно выкрикнула мама.

— Так заберите вашый талон от mine, — равнодушно сказал человек в очках. — Я вам его винису.

Мама стояла в растерянности. Было понятно, что из палок и пней, которые набросали в мерную телегу, настоящих дров напилит-ся мало. Не хватит на всю зиму.

Владик видел, что глаза мамы налились слезами. Она хваталась за косынку, стараясь зачем-то теревить её, будто за этим кусочком голубой ткани скрывалась защита. Ему хотелось выхватить толстую

палку из дровяного штабеля и ударить ею хозяина дров по толстому животу — пусть не обижает маму!

— Ты чего тут делаешь, Катерина? — раздался голос за спиной. Владик обернулся.

Рядом стоял Орлуша и жевал папиросу.

— Ты чего плачешь, девушка? — спросил он удивлённо.

— Дрова ворует... — Мать, не сдерживая слёз, указала на толстяка.

— Готлиб, чеши сюда! — окликнул Орлуша очкарика. И тот торопливо подошёл. — Если ты ссучился — это твои дела. А хорошую бабу зачем забижаешь? Не надо... — И вдруг, прищурив зло глаза, закричал: — Мы тут ташкентские зехеры не хаваем, падла! А то я быстро твои лупатые стекляшки с носа на задницу натяну! Прямо тут! Хочешь?! Отсиделся, сучара, на саксаулах и аксакалах! А за тебя её-ный мужик голову сложил на фронте! Ты знаешь про это, козлина?!

— Орлуша, ми же свои люди, — сказал Готлиб угодливо. — Никакого базара.

— Никакого базара?! Иди и грузи, что положено, змеюка очкастая!

Двое грузчиков второпях освободили мерную телегу. Стояли рядом, ожидая развязки перебранки.

— И такие дрóва кидай, — приказал Орлуша, — чтоб эта баба токо пиляла! Понял? У ней дома нету топора! И, не дай Бог, толстые дрючки покладёшь! Крест из них у твою могилу закопаю! Выверну кишки наружу и по забору твоего склада, как бельё, повешу! Ты понял, Готлибер вонючий?!

— Орлуша, ми уже договорылись, — сказал Готлиб, пытаюсь улыбаться, и пошёл к мерной телеге.

От ворот склада за руганью с любопытством наблюдали хозяева двуколок.

— Эй, Штопор! — окликнул Орлуша кого-то из них. — Отвезёшь дрóва у мой двор. Я рассчитаюсь.

— Не стоит, Саша, — благодарно сказала мама. — Я заплачу.

Орлуша пошёл со двора базы.

Владик проводил его благодарным взглядом.

Мать уже не плакала. Молча топталась у дровяной стенки, наблюдая, какие поленья укладывают грузчики. Было видно по всему, что ей больше всего хочется поскорее уйти, чтобы не чувствовать себя виноватой в случившемся скандале.

Она сунула деньги кому-то на выезде со склада, и они с Владиком ушли.

По пути домой остановились у гастронома, в витрине которого за большим стёклом стояли треугольные пирамиды из банок: чёрных — с икрой и белых — с крабами.

— А что такое икра? — спросил Владик, читая надпись на банке.

— Рыбу ловят, и достают из неё, — объяснила мать. — Как мак. Только крупнее.

— А её тоже нужно тереть?

— Нет.

— Давай купим.

— Давай, — согласилась мама. И объяснила: — Только «Эскимо» ты десять лет есть не будешь... А мы с бабушкой хлеб... Только воду пить, и то раз в день.

— Лучше «Эскимо», — согласился Владик.

— Большое?

Мольчик подумал и сказал:

— Маленькое... И сто грамм «Арахиса».

Мама купила большое мороженое и полкило конфет.

\* \* \*

К первому сентября готовились загодя. Мама сшила новую курточку из шести разноцветных суконных лоскутов. В нагрудные карманы вшила золочённые молнии. Нашила белый воротничок, выгладила красный галстук и два носовых платка. Из комода вынула новые штаны. Достала из-под кровати большую коробку, а из неё пару парусиновых коричневых ботинок.

— Ой, как жалко, — вздохнула бабушка. — Всё такое красивое... И ровно на неделю, — После школы пойдут в футбол гонять. И забывай, что новое... Колени зелёные, а в карманах только грязи не хватает...

— Мальчику в старом и рваном ходить? — недовольно спросила мама.

— Да, нет, — согласилась бабушка. — А сколько не говори: после школы домой... всё равно пойдёт мяч пинать в новых ботинках.

А вечером тридцать первого августа лепили пирожки: Орлуша перед тем принёс три килограмма сахара.

— Цветов бы... — сказала бабушка, раскатывая скалкой тесто на столе.

— Пусть девки цветы носят, — недовольно буркнул Владик, — а в мальчишнюю школу они не нужны.

— Понимал бы чего, жених, — улыбаясь, сказала мама.

— Я не жених, — серьёзно заявил Владик.

— Вырастешь — женишься, — уверенно сказала бабушка. — Без этого нельзя.

— А мне можно.

— Почему? — спросила мама.

— Орлуша ведь не женится.

— Нашёл на кого равняться... — вздохнула тяжело мама.

— И что же ты за человек такой? — словно обидевшись, поддержала её бабушка. — Нашёл с кем на ровнях тягаться. Он же в

школу не ходил... В книгу не заглядывал никогда. Ничему путному не выучился. А ты должен быть, как горный инженер.

— Я не хочу, как горный инженер, — ответил Владик, хмуря брови и морща лоб.

— Я гляжу, ты никак хочешь стать, как Орлуша? — спросила весело мама и посмотрела на сына. Но весёлость медленно угасла на её круглом лице. Ямочки на щеках исчезли. Радость во взгляде сменилась нервной тревогой.

Владик смотрел на мать, не моргая. Маленькие чёрные зрачки, сдавленные широкими голубыми кольцами, излучали неколебимую, недетскую решимость. Мать поняла: сын что-то втайне задумали, и была уверена, что исполнит, чего бы это ему не стоило. И это её испугало.

— Ладушка, миленький, — сказала она, сама не зная, о чём говорить с сыном. Ей вдруг захотелось заглянуть в душу сына, увидеть и понять, откуда и почему растёт эта пугающая недетская решительность и молчаливая вера... Губы её задрожали.

Три года назад, в августе, Катерина возила Владика к своей сестре в Полтаву. Гостили три недели. Собираясь обратно, чтобы загодя приготовить сына к первому классу, мама сложила в чемодан недоношенные рубашки и штаны племянника, который был старше Владика на два года, увязала чемодан толстой бечёвкой, чтобы в поезде никто не открыл случайем, и не похитил бесценное добро... Уже подошло время идти на вокзал. Взрослые ещё возились во дворе. Вдруг из комнаты раздался обиженный плач племянника. Мама и тётя, напуганные, вбежали в дом и увидели рыдающего третьеклассника Глеба, неумело пытающегося отобрать у Владика большую книжку с яркой картинкой на обложке, которую младший брат молча запиховал между стенкой чемодана и бечёвкой.

«Ты что делаешь?! — возмутилась мама. — Это чужая книга! Тем более ты не умеешь ещё читать! И «Сказки Андерсена» — это для третьего класса!»

Владик решительным взглядом оттолкнул от себя мать и, не обращая внимания на плачущего брата, продолжал упорно втискивать книгу.

Мать попробовала отобрать, но сын вцепился ручонками в толстую жёлтую обложку и, молча прикрыл чемодан худеньким телом. Брат Глеб плакал, растирая кулаками глаза...

«Оставь, — сказала тётя, мамина сестра. — Пусть берёт. Из него будут люди».

«А Глеб?..» — нерешительно возразила мама.

«Я ему новую куплю. Да и читать он их не любит. Так... от жадности ревёт...»

Сейчас мать увидела тот же решительный и непоколебимый взгляд, и с ужасом осознала, что её сын уже что-то для себя решил... И эта решимость испугала.

— Не надо, сынок... как Орлуша, — взмолилась она.

— Он же бандюга! — крикнула бабушка. — По магазинам во-  
рует!

— Это он для вас бандюга, — сказал Владик. И помолчав, доба-  
вил: — И его все боятся.

Женщины озадаченно переглянулись и прекратили разговор.

Мать взяла налепленные пирожки и пошла из комнаты.

\* \* \*

Утром, перед тем, как проводить внука до двери, бабушка от-  
крыла портфель и положила на дно пять пирожков, завёрнутых в га-  
зету.

— На большой перемене съешь три... — приказала она. —  
А два — когда уроки кончатся.

— Хорошо, — отмахнулся внук. Схватил портфель и выбежал из  
комнаты.

С ночи первого сентября накрапывал дождь, мелкий, почти не-  
заметный. Казалось, что с деревьев ветер сбрасывает тонкие гарус-  
ные нити. А они, упав на землю и разлетевшись на мелкие бусинки,  
сверкают крохотными алмазами на чёрном шлаке двора.

Выйдя со двора в переулочек, Владик натолкнулся на Додьку  
Кальницкого.

— Здорово, Ладей, — сказал Додик.

— Привет, Пузо, — ответил Владик радостно. — Я думал тебя  
куда увезли насовсем. Ты где всё лето был?

— С братом в Алуште.

— А это где?

— В Крыму... На море. Чёрном. А ты где?

— Здесь.

— Чё делал?

— Про Робин Гуда читал. И про Робинзона Крузо.

— А это про кого?

— Про человека. Он один двадцать лет на необитаемом острове  
прожил.

— Без людей? — удивился Додик. — А чего можно одному де-  
лать? Даже кина у него не было?

— Какое кино? — удивился Владик. — Это было триста лет на-  
зад.

— Что было триста лет назад совсем не интересно.

— А что интересно?

— Если бы писали, где бабки взять?

— А что такое бабки?

— Ты чё — дурак? Такого не знаешь? Деньги.

— А почему они называются так?

— Я почём знаю? Орлуша всё время так говорит... Слыхал, у нас в классе два новых, — недовольно сообщил Додик. — Вчера вечером Мишка Белоус приходил. Сказал — они в том доме живут, что для во-як построили. Их батя и матя в училище, которое возле кладбища, служат. Набьём им морду?

— Просто так? — удивился Владик.

— Ну и пусть...

— А если они нам набьют?

— Я Орлуше скажу. Он им врежет!

— А если Орлуша не захочет? — усомнился Владик. Они вывернули со шлака переулка на бульжники Овруцы. — За просто так... ведь нельзя.

— Чё ты сразу — нельзя?! Надо! — уверенно сказал Додик. — И Орлуша захочет. Мы с ним теперь кореша. Он с нами в Алуште был. Они с моим братухой на пляже колоду катали<sup>1</sup>... И во... — Пузо поднял мизинец левой руки и подсунул его под нос Владиду. У самого ногтя вокруг пальца была выколота узкая чернильная ленточка. — И мы закорешились. Понял?

— Это чего? — с волнением спросил Владик.

— Наколка... Теперь понял?..

— Вдвоём будем бить морду? — усомнился Владик.

— Позовём Альку Митропольского с Нагорной... Набьём морду?

— Митропольский не будет.

— Почему?

— Его со двора на улицу не выпускает батя, — твёрдо ответил Владик. — Будет за что — набьём...

Пока шли к школе, Кальницкий, распыляясь, убеждал побить новичков. Но Владик его не слушал. Неизвестные одноклассники его не занимали. Он думал о наколке. И вдруг спросил:

— Больно было?

— Чё больно?

— Когда кололи...

— Не-а, — ответил Додик. — Чуть-чуть.

— А мне можно?.. Наколку...

— А тебе за что? За просто так?

— А тебе за что? — спросил Владик.

— Потому что мой братувха и Орлуша — кореша! И я теперь — ему корешь. — Додик замолчал. А потом гордо сказал: — У нас вчера вечером пили... и Орлуша в Сочи поехал.

Дома Владик спросил маму:

— А Сочи — это где?

— На море. Откуда мандарины возят на Новый год.

— Где всегда тепло?

— И дров не надо... — с завистью сказала бабушка, слушавшая разговор..

---

<sup>1</sup> Катать колоду — жульничать при игре в карты (жарг.).

\* \* \*

За зиму об Орлуше забыли.

Он вернулся к Пасхе. Приехал на «Победе». Вышел из машины в распахнутом коротком бежевом пальто с поднятым воротником. Грудь от шеи до живота резал жёлто-красный полосатый галстук, на одной из полосок которого сидела обезьяна и играла на саксофоне. Узкие, серые в мелкую чёрную клетку, брюки с широкими манжетами обтягивали тонкие худые ноги. Он, казалось, даже подрос — коричневые туфли на толстой рифлёной подошве глядели тупыми носами к небу. Но самым привлекательным в нём

был набриолиненный кок<sup>1</sup>.

Владик заметил, что Орлуша перестал тянуть фикса на глаза людям.

А утром по двору стал ходить Вася с явным желанием покрасоваться: в светлых дудочках<sup>2</sup>, в клетчатом зелёном пиджаке и чёрных туфлях на манной каше<sup>3</sup>. Только причёска выдавала в нём шулявского урку — заштатный двухрубёвый полубокс оголял его короткую бычью шею. Он сходил в нужник, дважды — в сарай, и долго стоял у входной двери барака, словно кого-то ожидал, выкуривая одну за другой сигареты.

Возвращавшаяся из магазина бабушка, увидев Васю, долго разглядывала его, а, войдя в комнату, сказала брезгливо:

— И у нас уже стилиаги. Как мухи плодятся.

— А это чего? — спросил Владик.

— Глянь сам.

Владик прильнул к закрытому окну, но успел увидеть только спину, обтянутую зелёной тряпичной клеткой.

\* \* \*

В чистый четверг, когда Владик вернулся из школы, бабушка заставила его обрывать верхнюю одежку у луковиц. Она ранним утром ходила на рынок за яйцами, и сейчас готовилась красить их в луковичной шелухе.

В комнату неожиданно вбежала соседка Титовна. Вид у неё был растерянный.

— Ой, Елисеевна! Слыхала?! Гастроном на Татарке ограбили! Ночью!

---

<sup>1</sup> *Кок* — стильно-модная мужская причёска середины 50-х годов 20 в., выполненная в форме, напоминавшей лыжный трамплин.

<sup>2</sup> *Дудочки* — узкие брюки с широкими манжетами, модные в 1955–60 годах.

<sup>3</sup> *Манная каша* — толстая подошва из микропористой резины. В СССР «стиляги»-модники на обычную подошву наклеивали слои резины.

— Упаси нас, Господь, перед святыми днями! — Бабушка перекрестилась на икону. — И спросила: — У тебя, Дуся, ваниль найдётся? Щепотка? Хотела Владика послать, так теперь и не купишь. Ограбили...

А когда соседка ушла, бабушка тихо сказала:

— Орлушины дела... — И попросила внука: — Ладушка, сходи в сарай, принеси мелких дровишек. Куличи начнём печь.

— А пирог с маком? — спросил Владик. Ему нравился не сам пирог, а сладкое сырое тесто.

— Если мак натрёшь... испеку, — согласилась бабушка.

— Натру! — радостно крикнул внук и убежал во двор.

Комната переполнилась ароматом ванили и корицы...

\* \* \*

В субботу Владик вернувшись из школы перед обедом, застал бабушку в хлопотах. Она укладывала в плетёную корзинку поверх куличей и пасхи крашенные яйца. Оделась нарядно, как мама, когда шла на первомайскую демонстрацию, только в длинную тёмно-зелёную юбку и белую блузку. Повязала белую косынку — и сразу с её головы исчезли седые волосы.

— Я с тобой пойду, — попросился Владик.

— Я к Николе Доброму на Подол, — сказала бабушка. — Это далёко. Устанешь идти. Лучше учи уроки.

— Совсем не далеко, — ответил Владик. — Мы на трамвае.

— Только нехристи на трамвае ездят пасху святить, — объяснила бабушка недовольно. — К Богу в такой святой праздник лишь ногами можно.

Старушка набросила на себя серый плащ, подхватила корзинку и ушла.

Долетел гудок с «кабеля», отбивая начало обеденного перерыва.

Через несколько минут в комнату вбежала мама.

— Бабушка где? — торопливо спросила она, радостно запыхавшись.

— В церковь куличи понесла.

— А ты почему не в школе?

— Нас за металлломом послали... На Еврейское кладбище ограды ломать...

— И ты пошёл?! — строго спросила мать.

— Не-а. Я — домой. Теперь по поведению двойку поставят.

— Ну, и ладно, — весело отреагировала мама. Бросила на стол что-то большое, завернутое в красноватую бумагу. — Сходи, сынок, за водой на колонку быстрее. — Она торопливо сняла плащ и синий рабочий халат.

Владик с ведром отправился на улицу.

Когда вернулся, то увидел мать, стоящую на коленях посреди комнаты. Перед ней на бумаге лежала половина свиной головы. Мама размахивала топориком, стараясь разрубить её на мелкие кусочки.

— Вот повезло нам, сына, — сказала она, радостно улыбаясь. — Слава Богу, полголовы досталось! Принеси большую миску из коридора. Сейчас вымоем... Я поставлю на примус вариться. А ты будешь следить, чтоб не сбежало. Сварим... На неделю хватит, если понемножку есть...

Владик принёс большую эмалированную миску.

Мама управлялась топором неумело. Кусочки мяса отлетали в стороны.

— Давай, Ладуся, поруби и сложи в миску, — сказала она, поднимаясь. — А я примус разгоню. А то уже обеденный перерыв кончается. Если опоздаю — премию снимут.

— А чего будет с этой головой? — спросил Владик. Встал на колени, взял в руки топорик.

— Как чего? — спросила мама, недоумевая. — Мы уже давно мяса не ели. Вот... к празднику. Только ухо и пяточок не изруби. Отдельно сварим. Бабушка очень любит с хреном...

Мама вышла в коридор. Из-за двери послышался недовольный шум примуса.

Владик отрезал ухо, полпяточка. Разрубил аккуратно голову на маленькие кусочки, и отнёс маме.

— А почему только половина? — спросил он.

— Это у Орлуши спросить надо, — торопливо ответила мать. — Кому-то, может, тоже обещал. А, может, его мать сейчас вторую половину варит... Ты к Додьке не ходи, сына, а следи. Если сбежит вариво — примус ты без бабушки не разгонишь... А вариться должно долго... Ну, я побежала...

Она набросила плащ, схватила халат, и выскочила во двор.

\* \* \*

Вечером бабушка и мама собирались к Всенощной.

— Возьмите меня, — попросил Владик.

— Не выстоишь, Ладушка, — пожалела бабушка внука. — Мал ещё.

— Выстою, — твердо заверил внук.

— А уроки? — нашла отговорку бабушка.

— Я их ещё в школе сделал.

— Так это, если читать. А те, которые в тетради писать?

— Писать ничего не задали. Арифметику я всю решил. Нам задали задачи на площадь... Треугольник и квадрат.

— А если трапеция? — спросила мама. В вопросе был явный подвох.

— Я про такое не читал, — ответил Владик серьезно.

— Это как бы треугольник с обрезанным верхом, — объяснила мама. — Как дом без крыши.

Владик задумался. Он представил себе треугольник. И в сознании нарисовал дом без крыши.

Мама и бабушка уже надевали плащи.

— Тогда от большого треугольника надо отнять маленький, — объяснил Владик. — Который отрезанный.

Бабушка посмотрела на маму и, поняв из её взгляда, что внук ответил правильно, сказала:

— Ты у нас, как горный инженер. Только за Орлушей не ходи.

— Я хочу с вами, — насупив лоб, стоял на своём Владик.

— Ты же был в церкви уже, — сказала мать, повязывая косынку.

— То было днём. А сейчас — ночью.

— Ну... — сдалась бабушка. — Давай возьмём. За это Господь не наказывает.

— Одевайся, — согласилась мать. — Только веди себя хорошо.

— И креститься надо с правого плеча, — заметила бабушка. —

Во истинно по-христиански.

\* \* \*

Владик однажды уже ходил в церковь. Она запомнилась ему серой, даже чёрной. Свет, проникавший сквозь окна, что поддерживали высоченный купол, оставался в вышине и не опускался, чтобы осветить стены. И внутри от слабого огня редких свечей стены и иконы казались испачканными, как улицы ранней весной, которых некому убирать.

Перед алтарём стояла большущая дубовая бадья. Рядом двое мужчин держали на руках младенцев.

«Что они делают?» — спросил Владик.

«Пришли детей крестить», — ответила бабушка.

«А всех детей надо крестить?»

«Обязательно».

«Почему?»

«А как же храниться человеку от напастей? Нехристь всегда в какую-нибудь беду попадает. Болеет... Ворует... Или когда иную какую дрянь делает христианскому люду».

«А я — крещёный?»

«А как без креста. Я тебя покрестила».

«А фрицы — нехристи?»

«Креста на них нет! — сказала бабушка. — Басурмане христо-продавные!»

Из царских врат вышел седой поп в голубой рясе.

Бабушка поцеловала ему руку и отдала какую-то бумажку.

Перекрестилась на иконостас и сказала внуку:

«И ты крестись, Ладуся». — И показала связку из трёх ногтей.

Владик сложил свои пальцы, ударил ими себя в лоб, опустил руку, упёр пальцы в живот. Потом прикоснулся к левому плечу.

«Так — грех, — остановила бабушка. — Сразу — в правое. А потом...»

«А если бы у меня была только левая рука? Вон, сколько без рук ходит. У нас в классе учитель рисования без руки. Как они крестятся?»

«Типун тебе на язык! — возмутилась бабушка. — Крестись, и пошли».

Когда вышли из церкви, бабушка повернулась лицом к входной двери и перекрестилась три раза.

По дороге Владик спросил:

«А почему ты Додика называешь нехристом?»

«Потому что он в другой храм ходит».

«К другому Богу?»

«Бог у всех один. А храмы разные. У нас — крест, а у них — звезда. Потому что он в её честь и Давид...»

«А давно он в другой храм ходит?»

«Очень давно. Раньше все в один ходили. А теперь — в разные».

«Это как?»

«Вы в класс сейчас вместе ходите. А когда школа закончится, каждый в свой храм пойдёт. Додик в магазин продавцом или артистом в какой цирк...»

«А я?»

«А ты должен учиться, чтоб как горный инженер».

Для бабушки этот инженер всегда был высшим мериллом успеха. Владу не хотелось быть горным инженером. Он не любил высоты.

«А почему Додик не ходит в церковь?»

«У него другой храм. Мы в свой ходи, а Додик — в свой. Так на свете смиренней жить. И на душе спокойней».

«А разве Бог в душе?»

«Обязательно».

«А ты говорила, что он на небе».

«И на небе».

«И там и там?.. А как же он успеваает?»

«Для того и крестят маленьких детишков, чтоб с неба в душу благодать сошла. От Господа. Чтоб человек сызмальства не брал греха на душу».

«Душа, как большая комната?»

«Большущая».

«А что с теми бывает, кто берёт грех на душу?»

«Их благодать покидает. И Господь карает».

«В тюрьму сажает?»

«У Господа нет тюрьмы. Он совестью человека изводит. Сделает кто какую пакость... Грех на душу возьмёт... А Господь ему говорит:

«Ты мои заповеди не считаешь. В грязь их топчешь». И после таких слов ходит человек по земле и совестью мается... А такая маета тяжче всяких околотов. Наказание Господне страшнее всяких казённых домов...»

Но подошёл трамвай. Бабушка посадила внука на ступеньку. И поехали.

Трамвай гремел и мешал разговаривать.

\* \* \*

Сейчас та же церковь была совершенно иной.

Тесно. Мужчины — без фуражек, женщины — в платках. Все непрерывно крестятся, сосредоточенно глядя в пустоту вверх голов перед собой. Стены, высоченный купол, сверкают и пылают ярким огнём. У икон на больших золочёных блюдах-подставках в чашечках горят янтарно-тёмные свечи. Пламя колеблется на чёрной нити, словно кто-то невидимый дует на него, пытаясь погасить. А огонь, сопротивляется, извиваясь с неистовым упорством и возвращаясь назад, вспыхивает с новой силой, возносясь к небу.

Пахло чем-то пряным и сладковатым.

В глубине, у красочной стены, где рядами были поставлены иконы, чей-то бас пел. Слова песни подхватывал невидимый хор, и они словно птицы кружились над головами людей, не находя себе места на земле.

Владика хотелось увидеть певца. Но со своего малого роста он видел только спины впереди стоящих.

В церкви всё было вновь. И не зная, как себя вести, чтобы было правильно, решил следить за действиями бабушки и повторять их. И крестился.

Бабушка почему-то посмотрела в сторону, и её лицо вдруг потеряло благостность. Глаза вспыхнули недобрым огнём. Владик тоже посмотрел в ту же сторону... и увидел Орлушу. В бежевом пальто с поднятым воротником, с ленточкой галстука, на котором, как на ветке, сидела обезьяна. Он крестился, закрыв глаза, чуть запрокинув голову.

Бабушка приблизила губы к уху мамы и сказала:

— Пришёл гастроним замаливать!

Мама тоже посмотрела в сторону Орлуши и ответила:

— Таких Бог прощает первыми.

Бабушка тяжело вздохнула в ответ и, торопливо крестясь, прошептала:

— Спаси и сохрани нас, Господи, смертию смерть поправ...

И невидимый хор неожиданно подхватил её слова.

Из церкви шли пешком.

На улице было темно. Редкие фонари, похожие на широкополые шляпы, покачивались на столбах, выхватывая из темноты кусочки тротуара.

Шли долго.

Мама, стройная, высокая, казалось, не идёт, а плывёт. Её туфли на толстых каблуках почти не касались земли. А бабушка рядом с ней тяжело ползла, подметая длинной юбкой улицу. Ног не было видно, и казалось, что это движется тротуар и везёт её на себе.

— Христос воскреси! — раздался голос за спиной.

Их обогнал Орлуша. Он встал перед женщинами и, расставив руки в стороны, преградил дорогу.

— Христос воскреси! — повторил он. Обнял маму. Они три раза поцеловались. Затем он поцеловал бабушку. — И исчез в ближней подворотне.

Орлуша — нехристь! — подумал Владик. — А целуются...»

Миновали гастроном на углу Татарской улицы и Баггоутовки.

Бабушка подошла к сторожу, сидевшему на стуле у входной двери. Они похристосовались. А когда вошли в свой переулок, она сказала:

— Вот со Студёнихой похристосовалась. Хорошо, хоть её не убили, когда грабить пришли, ироды... А христосоваться лезет.

— Не пойман — не вор, — сказала мама.

— Креста на нём нет, а в церковь ходит... Басурман!

Мама принялась расстилать постели.

Владик повесил фуфайку на гвоздь и взялся за ручку входной двери.

— Ты куда это собрался на ночь глядя? — спросила Катерина.

— В уборную, — ответил Владик.

Он прошёл по пустому двору мимо уборной. Подошёл к двери сарая, вынул из заветного места ключ, открыл дверь. Войдя, оглянулся, чтобы убедиться, что за его спиной нет никого. Затворил дверь. Снял с полочки свечу, зажёл, приклеил горячими каплями парафина к большому пню, на котором кололи дрова, и встал на колени...

Закрыв глаза...

— Смертию смерть поправ, — тихо прошептал мальчик, — сделай так, чтобы и я сделался таким, как Орлуша... Чтоб сходил в тюрьму... — Он трижды перекрестился, не поднимая век. В темноте он видел лицо человека с печальными глазами, которые смотрели на него и излучали свет. — Только чтобы я быстро вернулся домой... И тогда у нас всегда будет мука, сахар и целая свиная голова. И бабушке уже не нужно будет чуть свет вставать в очередь за хлебом... И маме ходить в ночную смену на «кабель»... И дрова всегда тонкие... А все уроки школьные я выучу наперёд... Честное слово. Честное пионерское... Ведь в школу можно и не ходить, если книжки дома есть. Это только для Пуза школа нужна. По десять раз об одном и том

же спрашивает, а всё равно про муку и мешки задачку решить не может... У Альки Митропольского списывает... И чтобы облигаций не было никогда...

Кто-то закашлял во дворе...

Владик задул свечку. Осторожно вышел из сарая и, стараясь не шуметь, повесил замок.

\* \* \*

В первую субботу апреля мама и бабушка с лопатами пошли копать огород у Кмитова Яра, а Владика посадили возле погреба сортировать прошлогоднюю картошку. Погреба прятались за баракom и тянулись вдоль каменной «кабельной» стены. Их крышки напоминали квадратные шляпки гигантских грибов, только-только вылезшие из земли.

День хоть и апрельский, но пасмурный и холодный.

Владик перебирал картошку у крышки люка: мелкие клубни с длинными белыми ростками бросал в плетёную корзину. От крупных отрывал ростки, сбрасывал в оцинкованное ведро. Мелочь — на посадку, крупная — на еду.

Из переулка во двор въехали на мотоцикле с коляской два милиционера. Мотоцикл потарахтел и умолк. Резко ударила входная дверь барака. А через мгновение распахнулось окно, и из него выскочил Орлуша в одних трусах. Он вертел ошалело головой, суча взглядом то по высокому заводскому забору, то по дверям дровяных сараев, закрытым на всякие замки.

— Менты есть?! — крикнул он, увидев Владика.

— Не-а, — тихо ответил мальчик.

Подбежав к стене «кабеля», Орлуша несколько раз попытался взобраться на неё, как делает жаба, упавшая в глубокую яму. После третьей неудачной попытки уцепиться за красноватые, гладкие кирпичи, безвольно сдавшись, уселся на корточки и обхватил голову руками.

Владиду стало жаль Орлушу.

— Иди, — позвал он.

— Куда? — вырвалась у Орлуши надежда.

Мальчик указал на дыру погреба.

Орлуша впрыгнул в погреб, как в иордань, схватился руками за крышку, и накрыл ею себя. Она с грохотом ударилась о железо рамы.

«Ты чё, дурак?!» — хотел крикнуть Владик. Но вырвалось только:

— Не надо закрывать!

В окне, из которого только что выпрыгнул Орлуша, показалась синяя милицейская фуражка. Она внимательно осмотрела весь узкий проход между стеной кабельного завода и стеной барака, и исчезла.

Через несколько минут со двора к Владиду подошли два милиционера:

— Ты Орлова не видел сейчас? — спросил один.

— А это кто? — удивлённо переспросил мальчик.

— Орлушу?

— Так он уехал, — деловито объяснил Владик, глядя в лицо милиционеру. И попробовал открыть крышку люка.

— Куда?

— А он никому не говорил. — Владик взялся дёргать крышку и смотреть в лицо милиционера уверенным, не моргающим взглядом.

— А ты откуда знаешь? — спросил тот и отвёл глаза, не выдерживая напора детского взгляда.

— Видал. К нему какая-то девка приезжала на «Опеле». Зелёный «Опель-капитан»... Он с чемоданом куда-то поехал.

— Когда это было?

— Перед пасхой. Я со школы токо-токо пришёл.

— А сейчас почему не в школе?

— У мамки сегодня и завтра ночная смена. Надо картошку посадить. А то потом не успеем.

Милиционеры развернулись и пошли.

— Дяденька! — позвал Владик. — Помогите крышку поднять. А то ветром сильно закрыло. — Ему кто-то сторонний подсказывал, что этих людей в синей форме нужно позвать обязательно. Иначе они снова придут.

Один вернулся. Встал над люком погреба и, наклонившись, изо всех сил дёрнул крышку. Она подалась. Милиционер нехотя заглянул в тёмное, отдающее сырým духом, подземелье, побил ладонь о ладонь, отряхиваясь, и пошёл догонять товарища.

Со двора долетело громкое тарахтение двигателя. Милиционеры уехали.

Когда всё стихло, со дна погреба раздался тихий голос:

— Есть мусора?

— Вылезай, — спокойно сказал Владик. — Уехали.

Через мгновение из люка выросла черноволосая голова Орлуши. Он боязливо огляделся по сторонам. Выбрался из холодной, сырой темноты, уселся рядом с мальчиком и, дрожа всем телом, принялся растирать плечи и руки, покрывшиеся гусиной кожей.

Владик смотрел на него и думал:

«Еще немножко, и все наколки сойдут, как обгорелая кожа после первого загара».

— На окне у меня «Сальве»<sup>1</sup> лежит. И спички, — сказал Орлуша. — Притарань. И рубашку прихвати.

Владик принёс.

---

<sup>1</sup> *Salve* — сорт дорогих папирос с ватным фильтром.

— Во, суки! Волчары поганые! — сказал Орлуша, закуривая. Надел рубашку. Затянулся несколько раз, жадно заглывая дым, словно давно вовсе не дышал. И помолчав, сказал: — А ты — чувак нормальный.

— За что они тебя? За гастроном? — Владик вспомнил слова бабушки: «Орлушины дела». И сейчас очень хотелось, чтобы Орлуша сам рассказал что-нибудь в дополнение к бабушкиной правде... А потом Владик поведает товарищам в школе, что знает, как обворовали магазин. Но кто это сделал, не скажет никому. Он очень сожалел, что в момент грабежа не был рядом с этим всемогущим и бесстрашным человеком.

Но Орлуша сказал нехотя:

— Ты теперь наш чувачок. — Он ёжился от холода, но уходить от открытого погреба боялся. Сидел и думал о чём-то своём, искоса поглядывая на въезд во двор. — За то, что не продал, тебе причитается. Хочешь, я тебе куплю мороженого?

— Нет, — отрезал Владик. — Не хочу.

— Чё такое, паря?

— Не хочу, и всё.

— Ты чё? Меня не уважаешь? — недовольно спросил Орлуша.

— Уважаю. Тебя все уважают.

Орлуша улыбнулся, довольный, и кивнул согласно.

— А чё ты хочешь?

— Сделай мне, как Додькек Кальницкому? — попросил Владик.

— Не понял?

— На палец кольцо. — Мальчик выставил указательный палец правой руки.

Орлуша задумался.

— А, это... — сказал он, словно проснулся. — Это нужно заслужить делом. — Он посмотрел на свои разрисованные руки. — Вот это... — Постучал указательным пальцем левой руки по большому пальцу правой. — Я на стрёме стоял, когда хату у фраера, золотопогонного лимонника, бомбанули... Из Германии два «студера» шмотья притаранил... А это... — На указательном пальце был выколот перстень. — За первую ходку на зону.

— А куда ты ходил?

— Не!.. — рассмеялся громко Орлуша. — Ты нормальный чувачок!.. В дом отдыха ходил я... Вот за это... — Правая рука легла на левое плечо, где уместилась длинножалая змея, обвивавшая толстой верёвкой обоюдоострый кинжал. — За универмаг на Контрактной площади... За него я и загремел второй раз на кичу... Но чувачков не сдал... И ты меня не сдал...

Рассказ Орлуши Владика не заинтересовал.

— А что мне нужно сделать, чтобы как у Додика? — серьёзно спросил он.

— Как у толстого Пуза не надо.

— Почему?

— У Додьки просто так. Евойный братуха попросил. По пьяни. А за просто так могут пописать на зоне... А то и пришить... Всякая наколка — только за дело.

Владик с сожалением понял, что никогда ему не видать наколки: драться он не любил, а воровать не хотел. И подумал: «А с чем же мне идти в тюрьму?» Без наколки он вернётся не таким, как Орлуша. И вся жизнь мамы и бабушки останется полуголодной и беспросветной: опять те же стояния в очередях за мукой и сахаром, ругань на лесоскладе, заводские поборы облигациями...

Но вьедливая мысль не отпускала. А ответа он не находил. Хотелось ещё раз попросить, чтобы Орлуша сделал наколку. Ой, как хотелось. Но, как только желание пересиливало, что-то внутри начинало больно колоть, сводя зубы, заставляя язык каменеть, не позволяя произнести несколько пустяковых слов.

Владик уселся возле кучи картошки, принялся обрывать ростки.

Орлуша снова закурил. Он затягивался глубоко, вбирая живот. Выпускал дым из ноздрей. И в этот момент напоминал коня на морозе, дымящего белым паром.

— Зачем тебе наколка? — серьёзно спросил Орлуша.

— Надо, — ответил Владик, не отрываясь от дела.

— Всем надо, — многозначительно сказал Орлуша, выпуская лениво дым. Он сидел неподвижно, глядя в стену барака. Затягивался не спеша, изредка косился на мальчика, явно чего-то от него ожидая. Но, не дождавшись, вдруг спросил:

— Очень хочешь?

— Да, — ответил Владик. Посмотрел на соседа, стараясь понять — предлагает он серьёзно или смеётся.

— А матя ругать не будет?

— Нет, — твёрдо стоял на своём Владик.

— Тогда неси...

— А чего надо? — стараясь скрыть радость, спросил мальчик.

— У тебя невыливайка с чернилом есть?

— Есть.

— Вот её. И возьми у бабки иголку. Только тонкую.

— Сейчас, — радостно согласился Владик. — Только ты крышку закрой, а то я не могу.

— Нет. Сейчас не надо. Вечером. Ты часы знаешь?

— Знаю.

— Тогда в шесть. В сарай принесёшь.

Орлуша встал, пошёл к окну барака, из которого выпрыгнул час назад. И исчез в нём.

Владик, пересиливая себя, прикрыл крышку на погребке и побежал в дом. Выдвинул нижнюю полку комода, вынул маленькую подушечку, в пухлую щеку которой была воткнута добрая дюжина иголок, выдернул самую тонкую. Схватил чернильницу и выбежал на улицу. Он старался сделать всё быстро, чтобы успеть приготовиться до прихода мамы и бабушки.

Спрятал всё до вечера в сарае.

\* \* \*

Сквозь дыру в дощатом фронтоне сарая пробивался ещё яркий свет апрельского вечера.

Орлуша сидел на фибровом чемодане, как на коне, который привёз на чёрном ЗИМе, и курил. Перед ним лежал второй с открытой крышкой, наполненный странными серо-белыми кубиками, каждый из которых был перетянут тонкой белой бечёвкой. В руках он вертел один такой, разглядывая.

Увидев мальчика, Орлуша уложил кубик в чемодан и закрыл крышку.

— Принёс? — спросил он. — Тогда садись. — Указал на второй чемодан.

Чернильницу поставил себе между ног.

— Ладей, а как тебя по-настоящему зовут? — спросил Орлуша, обжигая иглу в огне спички.

— Владислав.

— Значит, ты... Владислав Максимов... — Он деловито принялся разглядывать детский мизинец левой руки. — В каком классе?

— В четвёртом.

— Тебе уже десять.

— Одиннадцать, — поправил Владик.

Орлуша задумался. Обмакнул иголку в чернила и уколол палец.

От боли Владик вздрогнул. Показалось, что сейчас больнее во сто крат, чем когда в поликлинике брали анализ крови. И ожидая следующего укола, весь съёжился, сжался. Посмотрел на палец, желая увидеть красную кровяную точку. Но крови почему-то не было. На месте укола образовалась чернильная точка.

Орлуша вынул из кармана белую тряпочку и вытер место укола.

— Значит, говоришь, ты — Владислав Максимов, — сказал он, макая иголку. — Так не годится у нас... А если чувак с наколкой, то должна быть кликуха. У твоего Додика какая?

— Как обзывают?

— Ну?

— Пузо, — сдерживая слезы, ответил Владик.

— Вот этот точно! — Орлуша оставил на пальце две отметины. — Прямо в десятку. Он толстопузый и горбошей, как старая баба. Это ты ему такую кликуху впендюрил? Молодец! — Иголка ещё несколько раз пчелой впилась в палец. — А тебя как гоняют?

— Куда гоняют?

— Ну, ты — редиска. Дразнят как?

— Никак.

Орлуша с удивлением посмотрел на Владика. И недоверчиво прищурив глаза, сказал:

— Такого не бывает. Ты, небось, отличник?

— Нет, — сказал Владик.

— А теперь тебя будут гонять... — Он задумался на мгновение, морща лоб. — Максом. И всем скажешь, что это я влепил. Понял?

— Понял, — согласился Владик. Ему сейчас было всё равно, как будут его обзывать на улице. Он из последних сил сдерживал слезы.

Боль постепенно притупилась. И каждый следующий укол уже был не таким злым.

Орлуша вытер палец тряпочкой и сказал:

— Во! Теперь если кто из братвы увидит... сразу скумекает — ты наш. Только мамке не показывай пока. А если спросит — скажешь... в школе баловались. Понял? А то от твоей бабки не отделаешься по гроб жизни. Глазами заклюёт.

Владик благодарно кивнул, соглашаясь.

— Посиди тут, — сказал Орлуша. — Потом закроешь сарай. А ключ подсунь под дверь. — И ушёл.

Владик хотел рассмотреть наколку, но вдруг набежавшие слезы, которых уже не нужно было сдерживать, заволокли глаза.

Вечером он есть не стал. Пошёл в коридор, и в ярком свете большой лампы, — соседские мужики собирались в субботнюю ночь забивать «козла», — стал рассматривать узор. Худой детский палец охватывала тонкая сине-чернильная ленточка. На середине пальца её разрывал квадратик, а в нём — чуть приметный крестик.

«Это лучше чем у Додьки», — радостно отметил Владик и довольный вернулся в комнату.

Улёгся на диван, укрылся с головой, держа мизинец в ладони.

Сон отгоняли лёгкое нитьё в пальце и голоса из коридора. Сквозь дощатые стены, набитые опилками, пролезало хрипкое грубое четырёхголосье и остервенелый стук. А после восторженного или недовольного окрика «рыба», раздавался тонкий звон граненых стаканов. Игроки пили синий денатурат.

Владик заснул только под утро. А разбудили шестичасовые утренние кремлёвские куранты, выскочившие из бумажной тарелки, словно перепуганные щенки из конуры. Он со страхом вспомнил, что не закрыл на замок Орлушин сарай. Выскочил в трусах во двор и набросил замок...

За завтраком, и макая лук в подсолнечное масло, Владик прятал от бабушки мизинец.

В школе держал палец согнутым, укрывая ладонью от чужого взгляда, как зонтиком. Наколка немного набухла, покраснела и назойливо ныла. Хотелось всунуть палец в рот, как делал в далеком детстве, когда ранил руку.

«Скорее бы пятый класс, — думал Владик. — Там на каждом уроке другой учитель. А то наша увидит наколку и всем растрезвонит. К завучу потянет, как Додьку... Маме скажут...»

\* \* \*

Весна с белым черёмуховым ароматом и сиреневым цветом пробежала быстро. Весеннее тепло незаметно перешло в лето: в начале июня вылетели из своих домиков молодые скворцы, и крикливыми стаями, похожими на чёрные знамёна, полощущиеся на ветру, принялись носиться по садам. Их место в скворечниках заняли наглые бандиты — стрижи.

Орлуша появлялся во дворе редко. Но когда приходил, всегда ругался с матерью и братом.

Владик, увидев соседа, выбегал во двор, стараясь вернуться ему на глаза. Но тот молчаливо проходил мимо. И только один раз сказал:

— Как житуха, Макс? — И, не дожидаясь ответа, исчез.

«Выходит, мы совсем даже не кореша? — подумал Владик, и поплёлся в комнату. — Сам же кликуху мне придумал. «Скажешь, что это я...»

Мама обещала взять путёвку в пионерлагерь. Но что-то на «кабеле» не сложилось. И взамен она принесла из заводской библиотеки «Трёх мушкетёров». Владик зачитался с первой страницы и был даже рад, что никуда не уехал. Он проглотил толстый том и попросил маму принести новую книгу про д'Артаньяна.

Каждое утро он выходил из комнаты с книгой, забирался на поленицу в сарай, ложился на старые вытертые мешки, накрывавшие неизвестно как попавший в их сарай ватный матрац, и читал.

Здесь под крышей было уютно. И в жару, и в дождь тепло и тихо. Сквозь дыру во фронтоне солнце светило с утра до самого вечера. На притолоке и боковинах дыры огромный паук выткал бело-воздушное полотно паутины. Тень от неё падала на книжку, накрывая страницы чуть видимыми, тёмными квадратиками, и незаметно ползла справа налево. Владик неожиданно увидел, что по ниткам теней можно определить время. Бабушка звала его обедать всегда, когда точка середины паутины напозла на разворот книги.

И почти в тот же момент начинал гудеть «кабель»...

Дни летели незаметно.

Как-то утром приехал «газон»-самосвал, привёз толстые пиленые колоды. Шофёр сбросил их у двери Орлушиного сарая.

Днём появился сам Орлуша.

Он пришёл к сараю, отворил дверь и принялся забрасывать чурбаки внутрь. Набросал десятка два, взялся колоть.

Владик лежал на поленице и наблюдал за дровосеком.

Худое, жилистое тело Орлуши при каждом взмахе топора наливалось силой, мышцы набухали вдруг. И казалось, что он на мгновение становился выше и мощней.

Во дворе появился Додик Кальницкий. Он вёл за собой троих мужчин, указывая на входную дверь барака. Забежал внутрь и вер-

нулся вместе с матерью Орлуши. Гости о чём-то разговаривали с ней. Она указала рукой на открытую дверь сарая и ушла. Убежал и Додик.

Один — крепкобокий, в военной флотской форме, но без погон. Китель и брюки были почти новые. Только форменная чёрная фуражка смята с боков. Другой — высокий, сутулый с семью усами, в соломенной шляпе, чёрных брюках широченного клёша и сати-новой безрукавке. Третий — коренастый, с лысой круглой головой. Руки он держал колесом, сжав огромные кулаки.

Троица, не спеша, пошла по двору. Остановились у открытой двери сарая и долго молча смотрели, как Орлуша рубит.

Сделав два замаха, на третьем Орлуша спиной ощутил, что на него кто-то смотрит. Он в полсилы ударил топором по полюну и, не пытаясь вытащить лезвие из чурбака, медленно повернулся.

— Как живёшь, Орлушка? — сказал долговязый и, наклонившись под притолокой, вошёл в сарай. — Нравится на воле?

Топор выпал из рук Орлуши и, утянув за собой полено, упал на землю.

Владик встал на колени, желая лучше рассмотреть происходящее. Он видел, как побелело лицо дровосека, а губы задёргались. Даже золотая фикса, испугалась и забилась в угол рта.

Орлуша попытался поправить набриолиненный кок, но поднять дрожащие руки не мог.

Следом в сарай вошли двое. Военный без погон тихо сказал:

— Говорят, ты здесь в паханах ходишь?.. Крепко гуляешь... За такие деньги, какие ты с людей в зоне содрал, я бы пяток лет гулял не оглядываясь... Чё скажешь, жучила?

Орлуша вдруг упал на колени и схватился за ботинки долговязого.

— Арнольд... — голос дрожал. Орлуша, запрокинув голову, старался поймать взгляд усатого. — Арнольд Яковлевич, я всё верну... Всё-всё... Падлой буду! Сегодня... Сейчас...

— Ты что нам обещал, когда выпускали тебя? — спросил долговязый, которого Орлуша назвал Арнольдом Яковлевичем. — По зоне бегал и обещал? Тебе последние деньги отдавали. У блатарей святые заначки на рубли меняли, чтоб ты фотографии живых людей на материк жёнам и детям отвёз. А ты что?..

— Фотографии разослать... — пролепетал Орлуша.

— Разослал? — спросил тихим голосом военный. — Люди тебе за рассылку последние деньги отдали. Надеялись — весточку... что они живы... домашние получают... Чтобы ждали...

— Товарищ адмирал... Евгений Иванович... я же...

— Где фотографии, сучара?! — не позволяя Орлуше ответить, хрипло рывкнул из-за спины долговязого третий и попытался наступить на Орлушу, выставив крепкие кулаки.

Тот сжался трусливо, готовый безропотно принять побои.

Но здорovia остановил долговязый. И попросил:

— Александр Александрович, не ругайтесь. Не надо. Мы же с вами, слава Богу, уже не в лагере.

— Удавлю, гниду! — прохрипел здоровяк, раздувая ноздри.

— Я завтра все фотографии перешлю, — с мольбой заявил Орлуша. — Падлой буду!.. — Он, не поднимаясь с колен, подтянул к себе чемодан, Открыл его, выхватил оттуда кубик и, приставив к глазам, стал читать: — Захаркиной Пелагее Фоминишне перешлю... Город Ржев... Захаркину Ивану Ивановичу... Город Апрелевка... Я завтра всё... Всем... всем... — В голосе звучала мольба обречённого. Орлуша свернулся в клубок и стал напоминать собаку. Владуку показалось, что он лижет ботинки. Вот только перегородка между сараями мешает разглядеть виляющий хвост, который вдруг вырос.

— Ты ни одной не переслал, — с сожалением сказал Арнольд Яковлевич.

— Так кум сам мне сказал, что пять-восемь никогда не выпустят... Всех приказано закатать в землю... Вас, политических, же на смерть назначили. Всех... На каторгу... Он так и сказал: «Вражинам большевиков выхода отсюда нет и не будет вовек!..»

— Так ты ещё... — коротышка шагнул, выставив перел собой кулаками-бульжниками, — и стукачом подъедался, гадёныш!

— А что тут удивительного? — сказал долговязый, продолжая удерживать товарища. — Умри... ты — сегодня, а я — завтра. Правда, Евгений Иванович?

— А мы, видишь, мразь, не умерли, — сказал военный моряк без погон.

— Я всё для вас... — взмолился Орлуша. — Я принесу деньги, товарищ адмирал... Всё возьмите. — Он вдруг запустил руку в карман и достал часы. — Вот... Золотые... «Луч»... С браслетом... Он тоже золотой...

Арнольд Яковлевич тяжело вздохнул, посмотрел на товарищей и сказал:

— Оставь это дерьмо себе. Как это у вас говорят?.. Западло?.. Вот нам даже стоять с тобой рядом западло... Я бы тебя... — он замаялся, — да опускаться до твоего не стану... Фотографии со-бери.

Орлуша бросил на колоду часы, резво подхватился, уложил под крышку вынутый кубик фотографий, закрыл замки и, подцепив чемоданы, понёс из сарая.

Гости вышли следом. Двое взяли чемоданы. И ушли со двора.

Орлуша проводил лагерников взглядом. Вернулся в сарай, надел на руку часы, уселся на колоду и сказал:

— Пошли вон, падлы! Правильно вас кум отстреливал! Жалко, не всех!

Закурил. Сделав несколько затяжек, задрал голову и принялся пускать дым кольцами. Но вдруг громко рассмеялся и с презрением сказал:

— Дерьмо собачье!.. Вражины народные! «Александр Александрович, не ругайтесь. Не надо. Мы же с вами, слава Богу, уже не в

лагере...» — передразнил Орлуша долговязого, кривляясь. — А у меня махру клянчил, как последняя шмара<sup>1</sup>! Надоели! Людям нормально жить не дают!.. Интеллигенты вонючие! Ничё, скоро вас народ обратно в зону загонит!

Владик чувствовал, как в его душе благоговение и любовь к этому человеку превращаются в ядовито-горькое, больно бьющее, переламывающее презрение к самому себе. Оно заполнило собой нутро, не позволяя дышать. Было ощущение, будто это он с согнутой по собачьей спиной, только что елозил по земле. В горле застрял ком... Чтобы не задохнуться, Владик попытался раздавить его, обхватил шею тонкими пальцами... и не удержался на коленях. Упал, и локтем столкнул книгу. Она сорвалась и полетела вниз, цепляя поленья в дровянице... Следом с грохотом посыпались дрова.

Орлуша испуганно вскочил и, увидев на поленнице Владика, долго стоял в растерянности. А потом, сплюнув слюной-стрелой сквозь зубы, выдавил:

— Кому, сука, скажешь... прирежу... Понял?!

Глубоко затянулся дымом, выплюнул окурочок, затёр ногой и торопливо вышел из сарая, оставив открытой дверь.

Владик спустился с поленницы. Поднял книгу и остался стоять в бездействии. Он не мог двинуться, будто его врыли в землю.

С трудом поднимая ноги, сделал несколько шагов к колоде, на которой рубил дрова, встал на колени и закрыл глаза. Ему хотелось увидеть человека с печальным лицом, длинными волосами и строгим взглядом, которого он когда-то просил о помощи. Был уверен — этот человек скажет ему сейчас спасительные слова, которые помогут вырвать из души Орлушу навсегда. Но сначала ничего кроме белого прыгающего пятна перед глазами не было. Потом и оно исчезло. А вместо человека с печальными глазами возник чернильный перстень, в синем квадрате которого вместо креста — хохочущее злое лицо Орлуши, выпячивающего золотую фикса.

«Я теперь всю жизнь буду носить его с собой, — в обречённом бессилии подумал Владик. И почувствовал, как из закрытых глаз начали пробиваться слёзы. — Нет! Не хочу, как Орлуша!.. И его больше не хочу никогда...» — Инстинктивно схватился за палец с наколкой и попробовал выдернуть из руки. Палец даже больно хрустнул.

Его вдруг пронизала острая спасительно-болезненная мысль.

Ком вырвался из горла. Стало легко дышать.

Владик, не открывая глаз, поднял голову, точно искал в вышине бабушкину икону.

Но человек с печальными глазами всё равно не появился...

Открыл глаза, вытер кулаками слёзы, резко поднялся, вышел во двор и нырнул в дверь Орлушиного сарая. Ухватился двумя руками за топориче, выдернул стальное остриё из полена. Встал на колени, положил на колоду мизинец с наколкой и занёс над ним топор...

---

<sup>1</sup> *Шмара* — проститутка (жарг.).



в яслях неба, слепо, неумело  
черный ангел надо мной гостит.

Это я, рожденный от металла,  
словно рубль от медного гроша.  
Это надо мной моя витала  
черная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,  
одиноким, голый, как в раю,  
вертикально тощий, словно циркуль,  
на горячей площади стою.

Это я среди безумной сечи,  
легкий, как оголодавший мим,  
улетаю, чтобы пересечься  
со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,  
не дано понять в сплошном огне —  
то ли это я уже у цели,  
то ли это он уже во мне.

3

И было:  
свалившееся за клеть,  
как не остывшая стеклотара,  
солнце,  
и Днестр,  
похожий на плеть,  
уже изогнутую для удара,

и отдаленный лягушечий плеск,  
и тишина, как зрачок абрикоса,  
стрекот цикад и внезапная плешь  
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,  
обреченный, словно визит к аптекарю,  
и выстрел — будто захлопнули портсигар  
так, что потом прикуривать некому.

4

Я встал меж ними, где дышали  
воронки струпьями огня.

И с двух сторон они решали,  
кому из них убить меня.

Но не решили. Солнце село,  
изнанку леса показав.  
Я спутал логику прицела,  
задачу передоказав.

И снайперы, сверкнув затвором,  
лишь птиц спугнули с черных крон.  
А я себе казался вором,  
укравшим пищу у ворон.

5

Победа — это первый теплый снег,  
укрывший поле, где бродили волки,  
сквозняк развалин, гильзы от двустволки,  
пустой башмак и истеричный смех  
у зеркала.

И зеркала осколки,  
осколки смеха прячущие в снег.

6

О, Господи, они тебе нужны?  
Зачем тебе такая маета?  
Они еще, случается, нежны,  
зато все лучше бьют от живота,

переступая трепетную грань  
за горсть железа и железный стих.  
Ну что тебе от неразумных сих,  
стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.  
Иуде не осилить эти суммы.  
Они разумны, Господи!  
Разумны!  
И в этом суть.  
И в этом их вина.

7

Уже однажды пересечена  
грань, за которой больше нет запрета,

и страха нет. Все выбрано до дна.  
И лишь ночами так болит вина,  
что все плывет. Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна. И война  
конкретна, как конкретны пятна крови  
и небом продырявленные кровли.  
Сквозь них пока не хлынула вода,  
но виден Марс в своей нелепой роли  
Рождественской звезды.

Покуда цел  
несчастный снайпер и тасует лица,  
он взят уже другими на прицел.  
Меж снайпером и целью нет границы  
в стране, где выстрел — средство, а не цель.  
И цели нет. Она нам только снится,

как кочка в застывающем болоте,  
как перед смертью — высохший женьшень.  
Стрелок освобождается от плоти.  
Планета, как осколок на излете,  
нащупывает в вечности мишень.

8

Паденье — тоже форма бытия.  
Когда стрелок летит в провал полета  
бездонного двора на снег белья,  
на бабочку фонарного огня, —  
не отличить паденья от полета.

Не отличить полета от паденья  
в пыль облака, в пожухлую траву.  
Мы выживем, как выживают тени,  
на время уходящие за стены.  
Я падаю. И значит я живу.

Мы падаем. И, значит, мы живем.  
Как ласточки, не сеем и не жнем.  
И, как с крючка сорвавшаяся рыба,  
как в водоем, уходим в окоем.  
Что наша жизнь? —  
мгновенье после взрыва.

9

Расщеплен, как адамова плоть,  
как единый язык в Вавилоне,  
этот мир. И как пробковый плот,  
я отпущен в свободный полет  
с неушедшего от погони  
корабля.

И над водами мчась,  
уподобившись снегу и граду,  
понимаю, что я в этот час —  
часть ковчега, воздушная часть,  
не приставшая к Арарату.

Я смотрю с опустевших небес,  
как, цепляясь за землю, за племя,  
за огонь перезрелых невест,  
за межи, за отравленный лес,  
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,  
ослепленно, как ратник во гневе,  
вы бредете по пояс в золе.  
Я — один.  
Ваши корни — в земле.  
А мои — в небе.



## Анатолий НИКОЛИН

/ Мариуполь /

### ЛЕТО ТИГРОВЫХ ЛИЛИЙ

#### Повесть

На кухне громко стукнула форточка, и Костя Лапин, или просто Костик, вздрогнул и проснулся. Минуту он лежал, ничего не понимая, как всегда бывает после внезапного пробуждения. Балконная дверь была распахнута, в комнату вливался яркий солнечный свет, и под стрехой дома с утренней радостью щебетали воробы.

Кроме воробьиного щебета картину начинавшегося летнего дня дополняли рокот проехавшего автомобиля, певучий напев молочницы: «Ма-ла-ко! Кому ма-ла-ко!..» и голоса домохозяек, спешивших с бидончиками на ее зов. Слышалось звонкое бряканье посуды, шум и плеск разливаемого молока... Костику почудилось, что он пробудился в деревне у дяди Мити, куда он приезжал в детстве с мамой и папой, и не мог спросонья понять, как он там оказался? И лишь спустя несколько минут, стряхнув остатки сна, Костик понял: да ведь он же в родительском доме! Приехал вчера, поздно вечером, когда отец с матерью уже спали...

По расписанию киевский поезд прибывает в девятнадцать часов с минутами. Но, как всегда летом на южном направлении, поезд изрядно опоздал. Сначала он отставал от графика на час, потом на два... Под Иловайском случился порыв контактной сети, они долго стояли в ожидании ремонтной бригады, а потом терпеливо ждали, когда электрики починят злополучную сеть...

Была глубокая ночь, когда усталый, с бурчащим от голода животом, Костик пешком, потому что городской транспорт уже не ходил, добрел до «отчего дома». Ключа носом, наспех поужинал приготовленной заспанной мамой яичницей с ветчиной и заснул, как убитый...

Спал Костик в гостиной на старом диване, который он помнил с детства. Когда ему исполнилось двенадцать лет, мама переселила его из детской кроватки в гостиную: «Ты уже большой, пора тебе спать как взрослому», — объяснила она.

Зимой в большой, уютной гостиной было холодно, летом нестерпимо жарко, и он все время мечтал куда-нибудь уехать. Переселиться в другой дом или в другой город, только бы не засыпать и не просыпаться в комнате с высокими потолками и холодными стенами. Так он и спал на старом скрипучем диване до самого поступления в университет. Здесь же, в гостиной, его настигло и первое (и пока что последнее) в жизни землетрясение. Было это, стал вспоминать он, году... Поколебавшись, остановился на дате приблизительной и условной: году в семьдесят каком-то... Но подробности случившегося Костик помнил очень хорошо, так они врезались ему в память.

Внезапно он очнулся от послеобеденного сна — было воскресенье, родители уехали на дачу, и после купания в море и сытного обеда он прилег на диван отдохнуть. Йодистое, успокаивающее нервную систему, море его разморило, спал он крепко и, пробудившись... ужаснулся. Диван, на котором он очнулся от сна, шевелился и плыл под ним, как шлюпка, спущенная на воду; югославский сервант, набитый тревожно позванивавшим хрусталем, дрожал и складывался, как игрушечный домик, а люстра под потолком раскачивалась как сумасшедшая. Костик со страхом ждал, что вот-вот на него посыплются осколки стекла и потолок рухнет...

Все случившееся представлялось ему теперь событием далеким, почти доисторическим. И оттого, что жизнь, совершив плавный разворот, вернула его в отрочество, ему стало грустно и хорошо. Как будто не было взросления и возмужания, окончания школы, вступительных экзаменов в университет и первого года учебы, тяжелого и все же невероятно интересного. И о настоящем он тоже думал с легкой тоской, как о прошлом. Первый курс — начало новой, взрослой жизни. Новый, большой и шумный город, друзья и заботы, старинный университет с массивными колоннами по фасаду. Впечатлял и сам фасад, выкрашенный в черный и краснокирпичный цвета, значение его странной расцветки объяснила ему Саша.

— Это цвета царского ордена святого Владимира, — назидательно, как и всё, что она говорила, сообщила Саша. — До революции университет носил имя князя Владимира. Тебе не нужно объяснять, — лукаво улыбнулась она, — кто такой князь Владимир?

— Ну да... — С первых дней их знакомства Костик тушевался и паниковал перед ней и терял дар речи, когда Саша о чем-нибудь его спрашивала. — Великий князь Киевский, Владимир Святославович...

Ему казалось, что при Саше он все время несет чепуху. И оснащает свою речь провинциализмами — в Киеве он их стеснялся. Здесь тоже не блещут правильностью речи, но изысканности, думалось ему, все же не так чудовищно, как он. Вырос он в южном многонациональном городе и с детства впитал все его словесное многообразие. Но с Сашей он старался говорить правильно, предложения строил сложно и округло, и она весело хохотала:

— Какой же ты педант, я и не знала!

Вот и теперь:

— Эх ты, «Святославович»... — передразнила его Саша, коренная киевлянка и знаток древнерусских древностей. — Нужно говорить — «Святославич»!

«Vita nova», пошучивал он, намекая на происходящие внутри и снаружи него перемены. Ему казалось, что с его душой творится то же, что происходило с Данте, влюбленным в Беатриче, и его мучили робость и стыд от своей незначительности. Со временем, когда он к ней привыкнет, и Саша ответит ему взаимностью, чувство второстепенности у него пройдет. Но пока оно и не думало проходить — даже напротив, его Беатриче, Саша, с каждым днем казалась ему все выше и сложнее. Да вот еще веселый, теплый, жизнерадостный город — он его сразу полюбил, с первого дня в Киеве. По вечерам, когда садилось солнце, они вдвоем гуляли по городу, и однажды она повела его на речной вокзал. Осень была теплая, днем по-летнему было жарко, а вечера стояли такие тихие и мягкие, что можно было гулять допоздна. В синие сентябрьские сумерки они бродили по Подолу, и Саша все ему показывала и рассказывала. Они познакомились и подружились на вступительных экзаменах, и теперь как дети радовались новой встрече. И тому, что целых пять лет они будут учиться вместе — их даже в одну группу зачислили, что казалось им невероятным.

— Чудо какое-то, — смеялась Саша. — Или знак судьбы, ей угодно, чтобы мы с тобой были вместе...

Костик терялся и краснел от ее категоричности, ему было стыдно выслушивать Сашины откровения — время для признательных бесед, полагал он, еще не пришло. И оттого, что Саша сразу брала быка за рога, он морщился и мысленно досадовал. Он не верил в ее искренность или боялся спугнуть то, что и сам чувствовал, — слишком уж неправдоподобным казалось ему их знакомство, перераставшее в любовь. Так быть, считал он, не должно. Любовь требует осторожности и сложного, через недоверие и сомнение, вращая одной души в другую. А у них сложного и тяжелого не было ничего, они быстро познакомились, легко и естественно подружились, встречаться и говорить стало для них ежедневной нормой. Но, о чем бы они ни заговаривали, темы их бесед то и дело возвращались к Киеву. Саша родной город любила самозабвенно и, как все любящие девушки, хотела внушить свои привязанности Костику.

— Буду твоим гидом, — заявила она. — Типа просветителем...

Эта рыжеволосая девушка с крупной головой и очками на веснушчатом носу вела себя, как полновластная хозяйка не только города, где она родилась и выросла, но и его, Костика.

\*

Еще до начала занятий в университете Саша принялась тормозить Костика и его опекать. Помогала ему найти квартиру, кормила

в своей любимой кафешке, закармливая его варениками, блинами и окрошкой; окрошку он терпеть не мог, мама из-за этого даже убрала это блюдо из семейного меню. Но Саша окрошку обожала, знала массу рецептов ее приготовления, и когда он морщился и воротил нос, она убеждала:

— Ты не ел настоящей окрошки, иначе давно бы ее полюбил. Дома тебя кормили ерундой, вот у тебя и выработалось предубеждение...

Костику было неприятно, что мамину еду Саша называет ерундой и что она совсем не считается с его вкусами. Он ничуть не страдал от того, что не любит окрошку, и Сашино соболезнующее выражение лица его тихо раздражало. Почему она настаивает на своем, — недоумевал он, насупившись. Как будто все, что он любит, следует считать недостатком и его стыдиться. И, вздохнув, терпеливо ждал, когда подружка сама обо всем догадается.

Сашина настойчивость привела к тому, что однажды, когда она всучивала ему в кафе котлеты по-киевски, Костик бурно возмутился: «Хватит меня мучить!» Саша осеклась и промолчала. И теперь при каждой попытке подsunуть ему что-нибудь из еды он шумно негодовал и успокаивался, когда Саша, давась смехом, сама от него отставала.

— Запущенный случай. Поймешь, когда вырастешь! Нет, — негодовала она, — почему мужчины крепки задним умом, просто удивительно!

«Вкусы, — думал Костик, — сознанием не исправляются». И когда Саша перестала его мучить своими любимыми блюдами, он был этому несказанно рад...

Но теперь Саша переключилась на высокие материи — она водила его по городу как школьника, засыпая всевозможными сведениями о Киеве. Слушать ее было интересно, но и тяжело из-за отсутствия у него, как она говорила, научной подготовки.

О Киеве представления у Костики не было никакого, даже книжного и, пользуясь этим, Саша сообщала ему разные сведения и сыпала цитатами из разных книг.

— Эх ты, провинция, — веселилась она, когда выяснилось, что Костик не знает простых вещей, что такое, например, Десятинная церковь? На остатки ее фундамента он смотрел, по выражению Саши, как известное животное на новые ворота. — Ты непросвещенный юноша, как ты умудрился поступить в университет? Тебя нужно как следует учить и образовывать, — насмешливо поблескивала она кругляшками очков, их оправа была такой тонкой, что казалось, они ее лишены. — Начнем с Подола! Тебе известна легенда об апостоле Андрее?

Он помотал головой: нет, он не знает. И вдохновленная его невежеством Саша — этим он ее и приманил, — начинала рассказывать, как всегда, от печки.

С Подола начинался древний Киев

— Святой Андрей, — рассказывала Саша, — был учеником Христа. — Он учил в Синопе, а потом прибыл в Корсунь, то есть — в Херсонес. А оттуда отправился вверх по Днепру. «И по приключаяю, — говорит летописец, — приде и ста под горами на березе». Это вот здесь, где мы с тобой сейчас стоим. — «И заутра встав и рече к сущим с ним учеником: «Видите ли горы сия? — яко на сих горах воссияет благодать Божия; имать град велик быти и церкви многи Бог воздвигнути имать». И взошед на горы сия, благослови я, и постави крест, и помолився Богу, и слез с горы сея, идее же после же бысть Киев...» А до этого здесь стоял громадный идол, — все более увлекаясь, рассказывала ему Саша. — Деревянная фигура бога Перуна, на этом месте ему приносились человеческие жертвы. Летописец рассказывает, что в жертву Перуну были принесены два молодых варяга, Иоанн и Федор... По распоряжению императрицы Елизаветы Петровны итальянский архитектор Растрелли построил на этом месте Андреевскую церковь...

Саша сыпала древнерусскими речениями, Костик не всё понимал и с благоговением задирал голову, оглядывая поросшие угрюмым лесом «горы киевския». С изумлением — на серый, затертый асфальт тротуара — по этой улице, оказывается, в древности ходил сам апостол Андрей с «сущими с ним учеником»...

— А еще — без устали тараторила Саша, — между Перуновым холмом и Десятинной церковью находился рынок «Бабин Торжок». Здесь князь Владимир поместил вывезенные из Херсонеса античные скульптуры — «дивы». Десятинную церковь киевляне так и называли — «Богородица у Дивов». Знаешь, почему она называется Десятинной? — прищурилась Саша. — Потому что на ее содержание выделялась десятая часть дохода. А ты знаешь, — так и звенело у Костика в ушах, — что, когда татары подступили к городу, люди бросились в эту церковь спасаться. Хоры не выдержали большого скопления людей, и церковь рухнула...

Она рассказывала и рассказывала, в увлечении событиями давно минувших лет забывая о Костике и даже, кажется, потеряв представление о времени. Шел третий час их прогулки, Костик проголодался, но попросить Сашу пойти куда-нибудь поужинать он не решился. Боялся, что она скажет, что он невежда и вообще — равнодушен к истории и искусству. А потом с тем же увлечением, с каким она рассказывала ему о Киеве, она примется закармливать его каким-нибудь новым блюдом: «ты обязательно должен попробовать галушки, таких галушек, как в Киеве нигде не готовят!»

От галушек, вареников с вишнями, множества исторических событий, имен и дат у него наливалась тяжестью голова, он уже плохо понимал и запоминал. Какая-то древняя церквушка святого Фомы... Контрактная площадь... Еще одна церковь, Ильинская. Тоже очень древняя. Построена едва ли не в первый год Крещения Руси...

И опять — дремучие, поросшие сосняком днепровские кручи, старинные улицы, их красивые, звучные названия: Лукьяновская, Глубочицкая, Нижнеюрковская, Кожемяцкая, Дегтярная... Вознесенский спуск, Воздвиженка. Какие-то усадьбы Меринга, Штифнера. Архитекторы Зецкер, Торков, Бенуа, Медведев... Покровская улица с Покровской церковью и церковью Николая Доброго. Если повернуть налево — попадешь во Фроловский монастырь... А в Лавре, — просвещала его неутомимая Саша, — находятся мощи Нестора-летописца, Илья Муромца и какого-то святого Кукши... Житный базар, Олеговская гора, Щекавицкое кладбище... От обилия имен, названий и прозвищ веяло такой древней непознаваемостью, что мысли его мешались и путались, как степной вьюнок под ногами, и он уже ничего не понимал и не запоминал. Над всем этим древним, сказочным, великолепным городом веял чужой, но приятный и свежий, казавшийся ему сладким воздух...

— Посмотри, как красиво, — кивнула Саша. — Такая красота только у нас, в Киеве...

Над Днепром восходила луна. Выходя из реки, она ребром стояла на ее черной, с красно-золотым отливом глади. Еще чуть-чуть, и багрово-золотое колесо покатится на юг, к Черному морю, родным ногайским степям. Там — его родина, там живут его родители. Большой, неряшливо разбросанный по степи пыльный город, где он родился и вырос... У него защемило сердце — переездом в Киев он словно прощался с родными местами, как ему казалось, навсегда. Все с детства привычное — улицы, переулки, школьные друзья, — растаяло, исчезло, стало неинтересным и даже враждебным. Вспоминал он о нем редко и с пренебрежением, а родных — со снисходительной любовью. И — в этом Костик не хотел себе признаться — с облегчением: жизнь со стариками-родителями его давно тяготила. Он радовался, что избавился от косного домашнего быта, не менявшихся десятилетиями забот и привычек. Одних и тех же, что и десять, и двадцать лет назад, суждений о жизни, как ему казалось, поверхностных и неоригинальных. И вот теперь у него отчего-то кольнуло и защемило сердце...

\*

Костик потянулся и почувствовал, что ступни его ног вываливаются за валик дивана — он так вырос в этом году! Еще один признак, напоминание, что он движется, растет, не стоит на месте не только умственно, но и физически. Сладко зевнув, он прислушался к утренним домашним звукам, но в комнатах «звучала» полная, абсолютная тишина. Та утренняя домашняя тишина, сопровождаемая потрескиванием пересохших обоев и слабыми уличными шумами, что так угнетающе действовала на него до отъезда. Когда жизнь, кажется, остановилась на одной цифре, словно испорченные часы.

Но теперь, зевая и щурясь от затопившего гостиную солнца, он радовался тишине и покою. Отдохнуть от утомительной киевской суеты, сбросить усталость от тяжелого учебного года, почему бы нет? Тишина и безмолвие вполне для этого годятся. Как временная мера или сладкий отдых после соития... И только тихое шуршание за плинтусом, поскрипывание дедушкиного комода или половиц — полы в доме были старые, довоенные — напоминали, что жизнь идет и без него, она продолжается, и чем она тише, тем слаще ее бесконечное движение в никуда...

Костик с удовольствием отмечал мелкие признаки домашнего уюта. Горбом вздувшуюся гардину на балконной двери. Трепетание света и тени на ковре, вспыхивающие на солнце тканые ромбики, весь его замысловатый, знакомый с детства рисунок. Воркование горлинки на старой акации... Летом, когда акация зацветает, можно протянуть из отворенного окна руку и сорвать тяжелую, благоухающую кисть. Лето, солнце, тишина...

Из комнаты родителей не слышно ни звука. Из чего Костик сделал вывод: в доме — пусто. Он в доме один. Как жаль! Не подошла к его постели мама: «Доброе утро, сынок!» Не вошел в гостиную, похрамывая раненной в финскую войну ногой, отец. Не пробурчал, как обычно: «Долго спать — ни одного дела не сделать...» В родном гнезде, как он с детства помнил, все с самого утра были заняты. Досадно, конечно, проснуться утром одному. Но Костик тотчас себя успокоил: зато можно вволю выспаться! Вечером, за ужином все соберутся за одним столом и тогда уж наговорятся за весь день и за весь год!

Он стал думать, что расскажет старикам вечером. Во-первых, какой замечательный выбрал он университет, и какие у них прекрасные преподаватели. И какой чудесный город Киев, он так рад, что учится и живет в этом, конечно, шумном, но милом и приветливом городе. О многом ему хочется рассказать. О Саше, конечно, в первую очередь, он ведь для этого и приехал. Расскажет, как он ее любит, а она — его. И возможно — нет-нет, только возможно! — в скором будущем они поженятся. Он хотел бы знать отношение родителей к его будущей женитьбе, не станут ли они возражать? Отговаривать его и отнекивать: «рано еще, ты молодой! Потерпите годик-два, присмотритесь друг к другу — время еще есть...»

Он представил, как заслушаются его старики, как ласково-мечтательно будет улыбаться мама, с ним она заново переживает свою молодость, студенческие годы. И первую любовь — он о ней ничего не знает, мама никогда о ней не рассказывала, стесняется взрослого сына, но ведь она же у нее — была?! Как и у молчаливого, сдержанного отца...

Он вообразил их молодыми, счастливыми и решил, что о Саше рассказывать ему будет легко. Обсуждать с ними его будущую женитьбу на ней, советоваться... Потому что родители такие же, как он и

Саша, только намного старше. А чувства, молодость, весь жизненный цикл у них точно такие же, как у них сегодняшних или завтрашних. У всех он один и тот же, и родители его поймут без лишних слов...

Вообще-то рассказывать надо бы с утра, но, увы, у них не получилось: старики разъехались по своим делам. Отец, как всегда, встает первым. Тихо, чтобы не разбудить жену и сына, он пьет на кухне чай и собирается на дачу. Укладывает в сумку новенькие, в смазке, ножовочные полотна и шуршит газетой, заворачивая бутерброды. «Как всегда, с колбасой и маслом», — улыбается в полусне Костик. Неслышно отец одевается — летняя шляпа-хрущевка с дырочками для воздуха, старая безрукавка и брюки, сползающие с округлого брюшка. И по утренней прохладе он отправляется пешком на пригородную автостанцию, а оттуда дачным автобусом в Степановку, дачный поселок неподалеку от одноименного села.

Утро — благодатное время для дачных работ: воздух свежий, нежарко. Пахнет зеленью, мамиными пионами. И еще, вспомнил Костик, чудесно веет из сада липовым цветом и мятой. Родные запахи и пейзажи вызывают у него умиление и чувство благодарности. К кому-то, кто вызвал его к жизни и незаметно и властно по ней ведет.

Когда он жил с родителями и было ему лет четырнадцать, дачу он ненавидел. Вечно не высыпаться и мучиться над помидорными грядками в жару, как негр на плантации. А ему хочется на пляж, кишащий веселой, смуглой молодежью. И девушками, загорелыми и красивыми! Отроческие огорчения теперь так от него так далеки, что он о них даже не вспоминает. Или вспоминает со снисходительной улыбкой, как взрослый, много повидавший в жизни человек...

Вслед за отцом встает и мама. Обычно они уезжают вместе, но мама иной раз задерживается, если нужно сходить на рынок или в магазин, и тогда они уезжают порознь. Сегодня мама с рассветом ушла на рынок за рыбой. Она обещала в письме: когда Костик придет на каникулы, она обязательно приготовит ему жареную в томатном соусе сулу — огромную, жирную рыбину, любимейшее его блюдо! Пока он спит, она ее приготовит и выставит к завтраку — еще и овощи, и фрукты из их сада и дачных делянок.

Сквозь сон Костик слышит мамину торопливую возню.

Но вот щелкает дверной замок, и он опять погружается в сладкое утреннее забытие — последнее перед окончательным пробуждением. И, засыпая, Костик вспоминает Сашу, их последний киевский вечер, ее мучительно-счастливую улыбку, и сам счастливый, проваливается в сладкую пропасть утреннего сна...

\*

В свободное от экзаменов и зубрежки время — это их первая летняя сессия, и они усердно к ней готовились, волнуясь и переживая, — они вдвоем гуляют по Киеву. Снисходительно над собой и над школярским своим усердием посмеиваясь.

— Какие мы глупые! — смеялась Саша. — Сдавать так легко, а мы ночи не спим, готовимся!

— Потому и легко, что готовимся.

— Знаю, это я от радости важничаю, — соглашается Саша, беря его под руку.

Костик немел от счастья, чувствуя ее руку, прикосновение к своему плечу ее голого плеча, шелковистого и прохладного. Все эти летние дни его не покидало чувство совершающегося счастья. Близики он стали совсем недавно и сразу же, легко заговорили о будущей семейной жизни, как о решенном деле. И оба удивлялись, как легко и просто у них все складывается.

— Потому что мы думаем и чувствуем одинаково, — авторитетно заявила Саша. — У нас один менталитет.

Костик ничего не слышал о менталитете и не знал, одинаковый он у них или нет. Он не понимал, почему еще вчера он был один как перст, а сегодня без пяти минут — муж. А Саша, с которой год назад он даже не был знаком, сегодня для него самый родной и близкий человек.

Он дивился произошедшей с ним перемене, поглядывая на не очень красивую, но и не уродливую девушку, легко и властно вошедшую в его жизнь. Встретиться они еще вчера в метро, он бы отвернулся от нее и прошел мимо. А сегодня... Она обдает его теплом своих рук, бедер, — всего ее по-женски тяжелого и нежного тела. Случайность и непредсказуемость их встречи, чувств, рождения чего-то нового и умирания чего-то старого изумляли его и ставили в тупик. Все эти сумбурные, полные новых ощущений и открытий дни он ходил, как оглушенный. Таращил на все, что он видел, ничего не понимавшие глаза: он ли это, Костя Лапин, или другой человек, родившийся и выросший из него?..

\*

Инициатором их прогулок по Киеву всегда оказывалась Саша.

— После экзаменов полезно пройтись, — передала она ему кейс, набитый книгами. Вместе с его портфелем нагрузка была личной, и время от времени, сжалившись над ним, Саша предлагала ему посидеть на скамеечке. Они шурились на солнце, зубоскалили над стайками собратьев-студентов, заморенных учебной чудаков, и посмеивались над старичками-пенсионерами: «ветераны революции семнадцатого года».

— Пожалуй, даже, девятьсот пятого, такие они ветхие, — веселилась Саша. И оба хохотали, переполненные молодостью и хорошим настроением.

Потом они опять бродили по яркому, летнему Киеву — в Ярославовом городе, вблизи Золотых ворот. Уходили на Владимирскую горку и оттуда смотрели на левый, пологий берег Днепра.

— Там мой дом, — кивнул он на блестящую ленту реки.

Далеко за Днепром, в сизом тумане таяла, расплывалась бесконечная даль. За нею начиналось что-то пустынное, безлюдное, половецкое, что с древних времен подступало к Киеву — полынные степи, сухие яры и овраги. Пыльная, обдуваемая суховеями земля. Великая Скифия, Сарматия... Что-то не русское, не славянское, но такое дикое и восторженное, что передавалось ему от Левобережья и от тонко чувствующей старину Саши.

— Я и тебя полюбила за то, что ты — скиф, — смеялась она. —

«Эй, половецкий край,  
Ты табунами славен,  
Вон вороные бродят  
В ливнях сухой травы.  
Дай молодого коня,  
Жилы во мне играют,  
Я проскачу до края,  
Город и степь накрена...»<sup>1</sup>

— Тебе нравится?

— Очень!

— Тоскуешь по родине?

— Тоскую, но как-то странно, — сказал Костик. — По городу нет, не скучаю. А вот по имени его — да... Во всем виновата ты, — пошутил он. — Вечно рассказываешь о скифах и половцах. Вот и почувствовал себя... печенегом. Не русским, не современным человеком, а...

— ...дикарем, — подхватила Саша. — Первобытным человеком. То есть — самым настоящим!

— Выдумки! — хохотал Костик, когда Саша рассказывала, какими она представляет себе степные просторы. И жителей, их населявших. — Нет никаких сарматов! И скифов тоже. Греки и татары — да, есть. Но это потомки переселенцев из Крыма.

— Зачем же они переселились? — круглила глаза Саша, не понимая, зачем нужно было бросать благословенный Крым. — На севере холодно и голодно, разве им на родине было плохо?

— Это давняя история...

Ему было приятно, что родные места, дома казавшиеся ему скучными, вызывают у нее интерес и восхищение, они украдкой передавались и ему. Он старался вспомнить все, что слышал об истории своей земли, как она обживалась, обустроивалась, кто ее населял, и с какими историческими событиями это было связано.

— Вообще, — рассказывал Витя, когда они сели на траву, и их глазам открылась пойма Днепра, — раньше это была сплошная степь. Помнишь у Гоголя: Тарас Бульба с сыновьями отправились

---

<sup>1</sup> Стихи О. Сулейменова.

в Сечь. Какие там росли травы — высотой выше человеческого роста. И степная живность, и жаворонки высоко в небе, и сухой, стоячий, как вода в степном болотце воздух... Примерно так все и выглядит. Далеко от города заповедник Каменные могилы, археологи находили там каменных половецких баб. И дикая степь, как раньше. Море ковыля, степные цветы, каких нигде больше не увидишь. Огромные гранитные валуны — они остались с тех пор, как здесь было первобытное море. Ящерицы, суслики, змеи... дикая, первобытная степь! Ее так и называли: Дикое поле. И Поле это принадлежало Ногайской Орде — самой главной Орде в Крымском ханстве. Каждого нового хана сначала утверждали ногайцы, а уже потом он представлялся в Стамбуле...

— Как интересно, — блестела глазами Саша. — У тебя в роду не было татар или турок? Ты смуглый, как ордынец...

— Мы приезжие. С Урала. Но это другая история. После войны папа получил назначение на Юг, восстанавливать разрушенную войной промышленность. Он строитель... А черный я от вечного солнца, — смеялся Костик, ему доставляло удовольствие ее детская восторженность, благоговение, с каким она относилась ко всему чужеземному, таинственному...

— А в степи ты бывал? — тормозила она его, когда он умолкал или закуривал сигарету. — В настоящей, а не там, где пшеница растет?

— Бывал, на Каменных могилах. Школьником. Нас возили на экскурсию, на открытый урок ботаники. Там все настоящее, как тысячу лет назад, — гордо посмотрел на Сашу Костик. — Больше всего я люблю степь вечером. И ночью. Помнишь у Гоголя: «вечером степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою...» Вот это в степи самое главное — «тень перебегала по нем». Так может сказать только человек, хорошо знающий степь. Ну, и так далее...

— Вы ночевали на Каменных могилах? Тебе было страшно?

— Это другое. В степи у нас дача, там и ночевал, если не успевал на последний автобус. Когда садится солнце, степь становится сумрачно-золотой. А после заката она зеленая, как у Гоголя. И небо зеленое. И высыпают на нем, как по зеленому шелку, первые звезды... Очень красиво. При луне сад и степь покрываются голубоватым льдом. Однажды, — засмеялся Костик, — я от страха не мог уснуть: всю ночь кто-то страшно и гулко стучал в крышу палкой.

— Домовой? — расширила глаза от ужаса Саша.

— Я тоже думал, что домовый. А когда утром вышел, кругом валялись павшие за ночь яблоки. Яблоня росла у самого дома. А ветки выходили на крышу...

Костик рассказал ей, как он не захотел однажды ночевать на даче и отправился в город пешком. Шел по холодной вечерующей

степи. После захода солнца воздух остановился, затвердел. Пахли травы. Ноздри щекотал запах горячей земли, пыльных цветов, бурьяна. И смеси полыни и чабреца, дышишь — не можешь надышаться. Дневную усталость сразу снимает, как рукой. Степь в последнем блеске солнца видна далеко, слышно еще дальше. Даже скрип далеко-далеко винтового ключа запираемой дачи ясен и отчетлив, как будто у тебя за спиной. На всем пространстве ты — один. Это так замечательно — чувствовать степное одиночество!

Костик говорил и говорил, и все, что он бросил, уезжая в Киев, рождалось и перерождалось в его душе. Он чувствовал, что вот-вот расплчется от любви к дому, степи, юношескому одиночеству. И уже не понимал, зачем он все это бросил, для чего променял свое солнце на чужое...

\*

...Они сидели в парке на скамейке среди мраморных стел с изображениями языческих божков. Это место — стародавний Киев. Костик чувствовал его тысячелетнюю древность. Ему казалось, что он родился не на берегах Боспора, а в этом городе — родине Саши и ее пращуров. Это из-за нее он восторгается Киевом и любит его, как она восторгалась степью, ковылями и татарами с половцами...

Нагулявшись и надышавшись, они снова уходили на Крещатик. И долго сидели в летнем кафе, поглощая мороженое из стеклянных вазочек.

Костик снимал комнату на Подоле, на Контрактовой площади, у хозяйки Веры Ивановны. Но гулять там он не любил. Подол пылен и скучен. Раздражал его людской беготней и неутомимой деятельностью, озабоченностью прохожих и проезжих, их повседневными делами и полным отсутствием места для прогулок. Этот район Киева напоминал ему родной город с его промышленной суетой и копотью. Тяжелая скученность зданий, нависавшие над узкой полоской Подола лесистые склоны, невзрачность и провинциальная запущенность его раздражали. Казалось, никуда он не уезжал и великолепный верхний Киев ему только снится.

— Скучище, — мрачно заявил он, когда Саша предложила для прогулки Подол.

— Ты его недооцениваешь, Киев начинался отсюда. И только потом возникла княжеская крепость, — кивнула она в сторону и вверх.

Она так искренно и доверчиво признавалась в любви к Киеву, что Костик засмеялся:

— Ты ко всему так относишься?

— Как — так?

— Ну, с любовью. Что ни увидишь — все тебе нравится, от всего ты в восторге.

— Что тут плохого? — круглила она глаза, как всегда, когда изумлялась. — Если ты любишь жизнь, то обожаешь все ее проявления. Мне нравится киевская старина, и вообще — старина... Современность меньше. Я как будто живу в двух измерениях. В одном обитает моя душа, а в другом — тело... Так мы идем на Подол? Или ты как хочешь, — уступала она, видя его недовольное лицо. — Можно погулять и в другом месте...

Но Костик думал не о прогулке по Подолу. Его волновала Саша и их будущее. То, что ему нравилось в ней, ее простота, искренность и доверчивость, иногда казалось ему мимолетной симпатией. Случайно приходившей и так же внезапно исчезающей. Саша, вероятно, тоже так думала, поэтому быстро меняла свои решения.

За недолгие месяцы их знакомства и близости, она привыкла во всем Костику угождать. Отчасти по семейной привычке — мама повторяла, что главный человек в доме — мужчина. Отчасти из боязни потерять Костика — она любила его, хотя временами он казался ей чужим. Ему нравилось, что она во всем ему уступает, и он думал, что Саша станет хорошей женой. «От добра добра не ищут», — вспоминал он мамину поговорку, раздумывая о будущем. Выводы его сводились к тому, что их брак неизбежен, и перебирать и медлить больше незачем, эта девушка для него — находка. Эта мысль его часто посещала. Он пугался: не рано ли ему думать о женитьбе? Но, поскольку подобные мысли приходили в голову все чаще, он воспринимал свою будущую женитьбу, как нечто давно решенное и обязательное.

Но кое-что ему все же мешало. Саша была киевлянка. Коренная. Костику казалось, что если не Саша — в ее искренности он не сомневался, — то ее отец и мать, люди осторожные и недоверчивые, решат, что он хочет жениться на их дочери из корыстных соображений. Киевская прописка, квартира... Семья Шаши — дальние родственники мэра Киева Валентина Гурского. Сашин отец, Николай Соколовский, ведущий специалист Института электросварки имени Патона, и Саша — хороший вариант для брака по расчету. Такие союзы модны, в них не видели ничего предосудительного. Молодые люди с амбициями — современные Жюльены Сорели, попадались ей (и ему) на каждом шагу. Его приятель Юра Афонин женился на дочери видного московского ученого-математика. Другой товарищ, Юлик Войцеховский, взял в жены двоюродную сестру из состоятельной — и тоже московской — семьи. А вот ему, Костику, стыдно. Стыдно иметь дело не только с родственниками, но и с чужими людьми, если любовь даже не просматривается. Нет, конечно, он любит Сашу, но вот ее родители... Они ничего о нем не знают и могут принять его за жулика. Нужно присмотреться к будущему зятю — честен ли он, любит ли Сашу по-настоящему, а не на словах? Пожалуй, они предложат повременить со свадьбой, подождать...

Костик чувствовал себя беспокойно. Он и хотел, и боялся встречи с Сашиными родителями. Нужно было объясняться, располагать их к себе, а он стеснялся, робел и никак не мог решиться на встречу.

А Саша терпеливо ждала. Костик помалкивал, и тогда она решила действовать первой:

— Послезавтра родители ждут нас к ужину, — сообщила она, когда они вышли из кинотеатра, где смотрели новую комедию.

— Может, в воскресенье? — похолодел он.

— Не получится. В субботу предки уезжают в Пущу Водицу, на дачу. Вернутся только в воскресенье, последней электричкой. Они тебе понравятся, я уверена, — попыталась утешить его Саша.

— А я им?

— Какой ты сомневающийся. Сомневающийся царевич Гаутама!

— Причем тут Гаутама? — обиделся Костик

— Хорошо, — засмеялась она. — Ты — не Гаутама, только приходи. Тебя ждут, не дождутся, я им столько рассказывала о тебе!

— Что же ты им наговорила? — подозрительно глянул он.

— ...наговорила, какой ты умный и как меня любишь!

Она тянула в улыбке свой и без того широкий рот, отчего улыбка у нее выходила еще милее, и озорно поблескивала зелеными, как у всех рыжих, глазами.

— Папа так и сказал: приводи своего умника, хватит вам по улицам шляться!

— Нам и на улицах хорошо...

— Но это летом, — возражала Саша. — А что мы будем делать зимой, сын Монтеки? Учти, мой балкон на пятом этаже!

— Я не Монтеки, — бурчал Костик, но ему все равно было приятно...

\*

Встреча с родителями Саши прошла на удивление легко.

Они ужинали в большой столовой дома Соколовских на Крещатике, напротив гостиницы «Москва». Окна выходили на шумную, многозвучную улицу, вечер был жаркий, и Николай Васильевич встал, чтобы затворить окно:

— Живу здесь тридцать лет, а шум Крещатика не люблю, — кричал он, вытирая платком красное от духоты и перцовки лицо. — Жарко! Как вы живете у себя на юге, у вас, наверное, пекло?

— Пекло, — усмехнулся Костик.

На вопросы Николая Васильевича он отвечал коротко, в разговор первым не вступал и больше помалкивал. Скромность всегда располагает, решил он.

Он и вправду выглядел скромным, степенным. Скупым на эмоции. Этаким драйзеровским стойком... Хорошо знавшая его темперамент Саша только хитро шурилась.

Ел Костик мало, пил еще меньше. Поддакивал словоохотливому ученому и понимающе переглядывался с Анной Тихоновной, мамой Саши, круглолицей хохлушкой-простушкой, без конца предлагавшей ему попробовать то блинчики, то пирожки.

— У вас такие не пекут! — самодовольно улыбалась она.

От блинчиков, пирожков и зеленого борща тело наливалось тяжестью, Костик прилагал невероятные усилия, чтобы съесть все, что накладывала ему хозяйка, и... не уснуть за столом.

Николай Васильевич рассказывал о каком-то Потапенко, с которым у него были многолетние непримиримые разногласия. Разногласия у них были научные, плавно перешедшие затем в обычную человеческую вражду. Противостояние между ними настолько обострилось, что один из оппонентов должен был покинуть институт. Директор был студенческим другом Потапенко и всячески его поддерживал. Но и выдающегося ученого Соколовского он тоже не хотел терять. Что скажут в Академии наук, в ЦК партии?..

Поиски компромисса затягивались.

— Нашо вин тоби сдався,— гневалась на мужа не терпевшая ссор и скандалов Анна Тихоновна. — Вин тоби шо — у борщ насрав? Вам пора вже замиритись, ты ж в меня умный, зроби першый крок! — поучала она.

— Посмотрим, — нехотя соглашался Николай Васильевич. — Авось, рассосется...

Но опухоль сама по себе не рассасывалась, терпение Соколовского лопнуло, и весь накопившийся гнев на соперника он решил вынести на ученый совет. Совет должен был состояться в ближайший понедельник, и Соколовский, вернувшись с дачи, мысленно пребывал в дне завтрашнем. За обеденным столом он оттачивал перед домашними тщательно выстроенную для грядущей дискуссии аргументацию. Практичная Анна Тихоновна ситуацию знала хорошо, склака двух ученых ей давно надоела, она не видела в ней никакого проку, но отказывать мужу в поддержке с ее стороны было бы некрасиво, и на доводы супруга она одобрительно кивала и поддакивала:

— Так, так... И не кажи!

Костик воспользовался паузой и втерся в монолог профессора:

— Я филолог, но даже мне ясна ваша логика!

Анна Тихоновна благодарно пожала ему руку:

— Та не кажить, Костя!

Саша хохотала, а признательная Анна Тихоновна с еще большим усердием подкладывала гостю то паштет из гусиной печени, то бутерброд с черной икрой, ею закусывали перцовку, — несмотря на все усилия хозяина, она упорно не исчезала со стола. Костик держался из последних сил, чтобы не «разговориться», по выражению Николая Васильевича, пил по глоточку, и хозяева не выдержали.

— Шо за хлопцы зараз пошли, — поджала губки Анна Тихоновна. — Одни пьют так, шо не знаешь, куды воно у них лизе, а других не заставишь! В старину у Киеви таких называли «непейка».

— Именно так, — хохотнул Николай Васильевич. — И считали тайными шулерами!

— Мама, папа, — вступалась за него Саша. — Костик спортсмен и ведет здоровый образ жизни!

— Ты ж казала, шо вин поэт, як Тарас Шевченко. Виршики складае. А шо хорошего можно написаты, колы людына не пье и не ест?! — возмущалась Анна Тихоновна. — У старину, — завела она ту же пластинку, — в хорошому киевскому доме на столе завжды було до десяти блюд, и це — не прэдел! — категорично отрезала она, сделав жест рукой. — Колы гость отказувался от десятого блюда, считалось, шо вин обижається на хозяев...

— Ма-ама, — умоляюще тянула Саша. — Витя поэт в переносном смысле слова. Он видит и понимает жизнь, как поэт. А еда у него не на первом месте — на первом месте у Костика духовная пища!

— Не знаю, шо воно такэ, ота ваша «духовная писча», — иронично фыркала Анна Тихоновна, — но без ста грамм и жареной качки душа якось того... теряет у своем весе!

В конце концов Костик не выдержал осады и залпом осушил большую рюмку водки.

— Вот это по-нашему, — засмеялся Николай Васильевич.

А подобревшая Анна Тихоновна тут же положила ему в тарелку большой кусок жареной «качки», то есть — утки:

— Закусуйте, Костя!..

Мучась гостеприимством и щедростью хозяев, Костик начинал уяснять, откуда у Саши назойливое желание закармливать его во время прогулок. Она явно пошла в свою мамашу, — нехорошо усмехался он, прожевывая сочную, ароматную поджаристую шкурку изрядно откормленной утки. И с волнением ждал, когда же, наконец, хозяева заговорят о нем и Саше. Или персонально о нем — к вопросам о родителях и планах на будущее он приготовился заранее. Дорогой он припоминал все, что ему следовало сообщить: отец до пенсии работал инженером на заводе оборонного значения, мать — бывшая учительница русского языка и литературы. Тяга к литературе, к «виршикам», у него наследственная. Если потребуется, он расскажет и о планах на аспирантуру. Наука для Николая Васильевича вещь чувствительная, и Костик полагал, что академик придет в восторг от его намерений. В голове у него бродили смутные мысли о полянах, половцах, византийцах, митрополите Илларионе. Ему казалось, что он может найти и написать о них такое, чего не знает никто, даже сам академик Рыбаков. Хотелось поделиться своими замыслами тут же, за столом. Но его не спрашивали, и к заумным темам не принуждали. И вообще — ни о чем серьезном за столом не говорили. Костик уныло выслушивал мелкие жалобы Соколовского,

внимал его соображениям о завтрашнем ученом совете и о том, какой бесценный для науки человек он сам, Николай Васильевич. «Старый маразматик», со злобой думал Костик, не забывая поддакивать и понимающе улыбаться.

— Знаете, молодой человек, — обратился к нему академик, — чем отличается кандидат наук от доктора? У доктора центр тяжести э-э... расположен несколько ниже естественной точки.

Все заулыбались, Костик тоже растянул рот, хотя шутки он не понял. Ему было обидно, что его обходят вниманием. Следят, чтобы он ел и пил, но беседы не достаивают. А когда заговорили о Саше, он понял, что расспросов о нем и вовсе не будет.

— Расскажи, как ты собиралась стать циркачкой, — усмехнулся Николай Васильевич, когда дочь заговорила об освоения космоса. Тема имела прямое отношение к роду занятий отца, занимавшегося вакуумной электросваркой.

— Космос, — заявила она, — это будущее человечества.

— На Земле — не согласился Николай Васильевич, — тоже достаточно возможностей.

— Так рассуждают консерваторы, — спорила Саша. — Нужно смотреть дальше и выше.

— Ты под куполом цирка покрутилась, вот тебя и тянет вверх! — рассердился Николай Васильевич. — Знаете, Костя, она ведь занималась цирковой акробатикой, неужели не рассказывала?

Костик пожал плечами, Саша вспыхнула и промолчала.

Все это было неинтересно. Ужин затянулся, все устали. Костик тяжелеет, угасал. Саша почувствовала в нем перемену и заторопилась:

— Мама, папа, спасибо! Мы с Костей прогуляемся.

— Уфф! — выдохнули оба, оказавшись на улице, и засмеялись...

\*

Они устало бродили по городу в полном молчании. Саша притихла, ее молчание становилось тягостным. «Почему она сердится?» — недоумевал Костик. А сам выглядел так, будто сердится он, а не она. И тоже непонятно за что. Предчувствие разлуки тянулось за ними, как тени от уличных фонарей.

Проводив Сашу и возвращаясь автобусом к себе на Подол, Костик принял решение: завтра же он сделает Саше предложение. Решение вспыхнуло и утвердилось сразу, без колебаний. Ему казалось вполне естественным жить с этой доброй и несложной девушкой, она понимала его с полуслова, и он ее тоже. Жизнь с ней представлялась ему простой и счастливой, главное — быть всегда рядом: слышать ее голос, наслаждаться ее упреками, если он бывал не прав. Так приятно было подставлять ей щеку для битья! Битье было сладкое, доставлявшее ему радость. И тут же Костик отбрасывал мысль о женитьбе как несвоевременную, слишком мало они вместе, надо

еще помучить ее и помучиться самому. Хотя бы до следующего лета. Вдруг завтра ему или ей станет скучно? Захочется новых ощущений, свежих чувств...

И от неверности жизни, ее непредсказуемости и изменчивости ему становилось тоскливо. В жизни нет ничего прочного, она опасна своей текучестью, расплывчатостью. А ему хочется на что-нибудь опереться. Оглянуться и перевести дух перед новым броском в неизвестность. Он жадно пытался удержать эту минуту, этот светящийся комочек тепла, и... боялся перемен. Кажется, что-то в нем дрогнет, и свет погаснет. Навсегда. Зажжется ли он вновь? Когда-нибудь, с другой женщиной...

И вот теперь он решился, даже не ожидал от себя такой твердости. После ужина, на ночной киевской улице, пустынной и темной...

\*

Наутро, умываясь и бреясь, он вспоминал вчерашний вечер и спрашивал себя: не угас ли его пыл, не охладел ли он к Саше? Вспоминал монолог отца перед отъездом в Киев:

— Если надумаешь жениться — мы с матерью возражать не станем. Мы не молодые, хотим внуков дожидаться. Но учти — постучал он по столу толстым, заскорузлым пальцем: — у нас, Матвеевых, женятся раз и навсегда. Многоженства мы не терпим...

Костик боялся с женьитьбой ошибиться — он не любил и не умел доставлять родным, людям вообще, неприятности или горе. Боялся нарушить семейную традицию, казавшуюся ему священной. Поколения его предков жили простой и строгой жизнью, и он должен прожить ее точно так же. Зачем, почему — он не знал и об этом не задумывался. Так было нужно. Кому — он тоже не знал. Но чувствовал себя обязанным жить так, а не иначе.

И оттого, что любовь его, женьитьба, да и сама жизнь казались ему обязанностью, он сникал от такой тяжести.

\*

Делать было нечего. Всеобщей радости от его приезда дома он не заметил. Родное гнездо, снившееся ему в тысяче сладких снов, приняло его холодно и буднично. Привычный распорядок дня его приезд не нарушил. Каждый был занят своим делом, все исполняли свой долг, и он снова задался вопросом: долг перед кем? В чем он заключается? Для чего нужно его исполнять, для какого высокого смысла? И не теряется ли за этим обетованием сама жизнь? Или жизнь и обетование одно и то же? Тогда зачем все нужно, — звучал тоскливый рефрен. К тяжелым мыслям о жизни добавлялись безутешные думы о Саше. Она вдруг сразу, как только он переступил порог родного дома, стала представляться ему другим человеком.

Совсем не тем, кого он хорошо успел узнать в Киеве. Вот она смеется, что-нибудь ему рассказывает — как всегда, из истории, из старой русской жизни. Ему это интересно и — он видит это! — ей тоже. Она увлечена, и увлечение ее собственным рассказом прямо зависит от Костика; он ее восхищенно слушает, и она словно расцветает, ее токи возвращаются к ней, как энергия морской волны, ударившейся в бетонный пирс, возвращается снова в море. А когда рассказывать нечего или у Костика нет настроения, она молчит, как в рот воды набрала. И молчание ее, недоброе и тягостное, повисает на нем, как неподъемные рыцарские латы...

Костик порылся в бельевом шкафу и вытащил старые купальные шорты. Нацепил на нос темные очки, сунул ноги в пляжные шлепанцы и отправился на побережье. Плескаться летом в море — его любимейшее занятие!

На пляж он пришел, когда не было еще девяти часов. Море чистое, незамутненное, купаться в таком одна радость. Народу мало. Утренняя рябь морщит зеленоватую поверхность воды, еще поутреннему холодной. Костик долго крикал и поливал руки, плечи и ноги перед тем, как войти, погрузиться в море всем телом, — привыкал...

Потом он долго плавал по обычному маршруту — от водной станции школы моряков до яхт-клуба и обратно. В общей сложности километра три. А когда он вышел из воды, с удовольствием ощущая на плечах горячее прикосновение солнца, увидел, что на скамеечке появилась соседка.

Скамеечку он выбрал у самого парапета. За парапетом блестели на солнце железнодорожные рельсы и высился земляной холмик с дорожным знаком и надписью: «тупик». Это был так называемый «отстой». Прибывавшие на вокзал пассажирские поезда диспетчеры перегоняли сюда для мойки и санобработки. Поблескивали синей краской вагоны только что подошедшего харьковского скорого. Притащивший их электровоз победоносно свистнул и помчался обратно на вокзал...

Рукавом футболки Костик вытер мокрые руки и потянулся к джинсам, вытащить сигареты. Она обернулась и посторонилась: ее тело темно лоснилось, а впадинка пупка опускалась и поднималась.

— Повезло с соседом, — усмехнулась она, наклоняясь к сумочке. — Можно у вас зажигалку? Хочется курить, а вокруг одни старушки.

— Утро, — пожал плечами Костик. — Их время. Молодежь прибегает на пляж к полудню.

— Вы местный? — пыхнула она дымом. — Сразу видно...

— По какому признаку?

— Все знаете, уверенно держитесь. И хорошо плаваете. Я наблюдала за вами, приезжие так не плавают.

— Вы приезжая?

— Ну да, — засмеялась она. — Смотрю на все вокруг широко открытыми глазами. Я в первый раз на море.

— И откуда будете?

— Издалека. Из Челябинска.

— Здесь у вас родственники?

— Мамина подруга. В Москве вместе учились, в финансово-экономическом институте.

Сквозь темные очки Костик окинул ее всю. Девушка симпатичная и... смешная. Широкое плоское лицо. Густые волосы подвязаны красной лентой. Когда уходила купаться, старательно натянула на лоб резиновую шапочку. А выйдя из воды, стянула ее с тяжелым резиновым шлепком и долго и старательно смахивала с нее капли...

Вела она себя тоже смешно: натирала тело кремом от ожогов, хотя загорела, как настоящая курортница, и волдыри и покраснения ей не угрожали. При каждом оживлении на воде, будь то морской велосипед с безмятежной парочкой или вспышка сигнальной ракеты, возвещавшая начало парусной регаты, она восторженно вскидывалась:

— А это что?.. А это?.. А то?..

По-уральски она окала, интонации ее голоса казались Костику диковинными. Его веселила ее восторженность — «ах, по мне скользнула рыбка!» — и доверчивость чужеземки, во всем полагавшейся в незнакомом месте, в непривычных обстоятельствах на знающего проводника.

Весь этот промелькнувший как одна минута день Костя, уже как свой, как друг провалялся на ее подстилке.

К вечеру они накупались, наплавались и напеклись на солнце. Солнце садилось, бросая длинные тени.

По пути с пляжа Костя предложил ей посидеть в кафе. Звали новую знакомую причудливо: Евдокия. Оказалось, они ровесники: Дуся простодушно поведала ему день и год своего рождения. Сидя в кафе под каштанами, они попивали сухое вино, и он усмехался:

— Вот приеду к тебе в грязный, холодный Челябинск на день рождения. Что будешь делать?

— Конечно, приму хорошего человека. Обогрею и на ночь оставлю, — хохотала она, щуря хмельные бесцветные глазки.

Жила она у маминой институтской подруги на проспекте Нахимова и, провожая ее, Костик сократил путь. Повел ее не по бульвару, а по хаотично заросшей кустарником и старыми деревьями зеленой зоне. Зеленой был покрыт огромный холм, откуда открывался вид на море, порт и мутную полосу вдали.

— В хорошую погоду, — кивнул он, когда они поднялись на вершину, — отсюда можно увидеть Кубань, другой берег моря...

От холма, где они стояли, до памятника военным морякам тянулись аллеи тигровых лилий, их краснокирпичные реки терялись вдали.

— Красиво, — шумно дышала и подрагивала грудью Дуся. — Ты красиво рассказываешь. Я много узнала нового!

Она была так искренна, так восторженна. С таким обожанием смотрела на куртины лилий, на яркую зелень внизу и сиявшее синевой море, что Костик не удержался. Чмокнул ее в шею и засмеялся. Она смутилась, покраснела, а он уже не сдерживал себя. Не думая, правильно он поступает или нет, он делал с ней все, что ему хотелось. И что положено делать юноше, когда девушка ему нравится, он знал, что она примет его смелость как должное. Спутанная маслянистая, жерделевая и кустарниковая поросль, скрывала их от посторонних глаз, — да и глаз этих, по правде говоря, там, где они лежали, не было...

\*

Прощаясь, они договорились увидиться завтра на пляже.

— Не могу, — покачал он головой, когда Дуся предложила вечером погулять. — Нужно побыть со стариками...

Он рассказал, что учится в Киеве, приехал на каникулы и толком еще не видел родных.

— Так и быть, — покорно вздохнула она. — Сегодня отдаю тебя семье, но завтра ты — мой!

Проводив Дусю на остановку и прыгнув в подошедший троллейбус, Костик стал о ней думать. Он думал, что, оказывается, так бывает в жизни: еще вчера о Дусе он ничего не знал, а сегодня она для него самая близкая. Заняла место в его сердце, сузив до крошечной полоски пространство, еще вчера принадлежавшее Саше. О ней он подумал нехотя и без прежней любви. Почему так все изменилось? Он и дома думал о том же. Невпопад отвечал за ужином на мамины вопросы, она его расспрашивала о жизни в Киеве, о ценах на продукты.

— Ты в столовой питаешься или сам готовишь?

— В столовой.

— Это дорого, — покачала она головой. — Ленишься, сын, призывай готовить сам.

Костик возразил, что так живут только девушки, они вечно возятся на кухне, а мальчишки предпочитают столовую. Нет, конечно, есть и такие, что сами готовят, но к нему это не относится.

Мама была недовольна. Она его слушала и неодобрительно качала головой. Надо экономить, сын, читалось в ее глазах, мы содержим тебя на пенсию папы. А на мою, не такую уж и большую, живем сами. Отказываем себе во всем, так что веди хозяйство экономнее, не разоряй нас с отцом...

Он подумал, что мама права. Он — редкостный эгоист, заботится только о себе. Но тут же в голову закралась нехорошая мысль: старики тоже не альтруисты, себя не забывают. И устыдился: как можно о них так думать, ведь это же родители!

Мама словно читала у него в душе.

— Дача и сад требуют больших затрат, — покачивала она седой головой. Они поужинали и сидели за столом просто так, отдыхая и судача. Сквозь гардину проглядывала густая морская синева. Дневной ветер, сухой и горячий, стих, сидеть у распахнутой двери было приятно и грустно.

— Да, больших затрат, — повторила мама. — Химикаты для подкормки деревьев, плата за полив, содержание сторожа — все это деньги. И немалые. Затеяли ремонт домика, он у нас совсем обветшал, и приходится покупать каждую мелочь. Когда папа работал, все, что нужно, он выписывал на работе. А теперь он никто — пенсионер. Профсоюз помогает в первую очередь людям работающим. Да и членские взносы в садовом товариществе выросли, — продолжала мама, словно рассказывала себе самой. — Повышают каждый год: то одно дорожает, то другое. Вот и теперь. Тянут магистральную трубу от водохранилища до товарищества. Старая труба прохудилась, ее постоянно нужно подваривать или менять кусками. Председатель, Михно, так и сказал: лучше потратиться один раз, чем разбрасываться на бесконечные латки. Он, конечно, прав, — вздохнула мать. — Но ведь это дополнительные поборы...

— Все взносы уйдут на трубу, — подтвердил молчавший за столом отец. — Покраску отложили на следующий год, дача и заборы подождут...

Костик слушал, прихлебывая сливовый компот, его любимый, мама приготовила его к приезду сына. Слушал и от стыда не мог поднять головы. Он хотел рассказать ей, что собирается жениться. Собственно, и домой он приехал из-за этой новости, а не записался в стройотряд, как все остальные. Хотелось ему рассказать, что будущую его жену зовут Саша, она — дочь известного киевского профессора, умница и милая душа. И что они решили посоветоваться с родителями, прежде чем принять окончательное решение. Так они условились — Саша боялась огорошить новостью о замужестве отца с матерью и убедила точно так же поступить Костика.

— Давай их постепенно приготовим, — предложила Саша. И Костик подумал, что, вероятно, дело не в стариках, а в неуверенности самой Саши. В нем, Косте. И в том, что их замысел не прихоть, а взвешенное решение. — ...Спросим у стариков, а после объявим...

Перед отъездом он спросил у Саши, говорила ли она со своими. Он смутилась:

— Нет, не успела...

Костик промолчал.

— Знаешь, — сказала она тихо, — я боюсь. Боюсь их расстроить. И настроить против тебя. У мамы тяжелый характер, а у папы большое сердце, ему нельзя волноваться. Боюсь, они нам откажут. Да и повод есть: я молода. И ты тоже. Мы только первый курс окончили... Заявят, что все это наши фантазии и предложат со свадьбой

повременить. Подождать до окончания университета, а там видно будет. Ты же знаешь родительские доводы: чувства должны пройти проверку временем... А я боюсь, Костя. Боюсь, что долго мы так не выдержим...

Костик молча кипел: большое сердце у папы, видите ли, не выдержит замужества дочери! А конфликтовать с Потапенко и поставить на дыбы Академию наук сердце ему позволяет! А «сложная женщина» мамаша? У нее только одно на уме: чтобы ей было хорошо, а дочь подождет, молодая еще!..

Но Саше он ничего не сказал. Тяжело молчал, перевел разговор на другую тему. Она благодарно взглянула на него и, как ему показалось, с облегчением вздохнула...

— Давай отметим каникулы, — взяла она его под руку. — Сходим в кино. Завтра «Кавказская пленница» — говорят, отличная комедия...

Они и сходили. После кино привычно погуляли по Крещатику. Посидели в кафе, ели мороженое, пили сухое вино. Вино и мороженое было холодным, из холодильника и Саша дурачилась:

— Съем много-много порций мороженого, выпью много-много вина и заболую. У меня поднимется температура, и ты, как верный Ромео, никуда не поедешь. Сдашь билеты и останешься в Вероне. Будешь лечить свою Джульетту!

Ему были неприятны ее игривость и веселье, упоминания о Вероне («можно подумать, Киев похож на Верону!»), сравнение с Ромео и Джульеттой, как будто других влюбленных на свете не было. Он чувствовал — в первый раз со времени их знакомства и любви — ее фальшь, неискренность. А в душе она, наверное, рада, что он уезжает...

Все это так ясно всплыло у него в памяти, что он почувствовал облегчение.

\*

Он слушал рассказы матери о хозяйстве, о текущих заботах. О деньгах, что с очевидностью вытекало из рассказанного ею, им все чаще не хватало. И его охватывало отчаяние. Все, что они задумывали с Сашей долгими киевскими вечерами, казалось невозможным, оторванным от жизни. Он полагал, что условия для жизни создают люди, но теперь он видел, что они сами на них наползают лавиной, которую не остановить. Трудно понять, как она образовалась и откуда валит на них могучим камнепадом. Вынуждая делать не то, что хочешь, а то, что нужно. Стало ясно, что его решение, сгоряча поддержанное родителями, учиться на стационаре, да еще и в Киеве, не выдерживает испытания жизнью — той самой лавиной, невидимой и могучей. Он с ужасом представил позорное возвращение домой, смену ярких красок на знакомые тусклые. Жизнь по образу и подо-

бию родительского быта — работа-старость-садовое товарищество. И ежедневное брюзжание из-за расходов на химикаты, на магистральную трубу... Почему их проблемы должны стать его жизнью, а высокие устремления смениться низкими? Чем больше он размышлял, тем меньше ответов находил. И так запутался в переплетениях интересов родителей, Саши, ее отца и матери, и собственных, невнятных и едва ли толком понимаемых, но казавшихся ему прекрасными, что голова его гудела. Он чувствовал, что его затягивает житейский круговорот, но выхода из него он не видел. Разве что Дуся, мелькнула случайная мысль. Но только на мгновение, уже и она не казалась ему исцеляющей от отчаяния пилюлей. Ведь у них все начиналось так же, как и с Сашей — случайно, бессознательно. Так что и конец, скорее всего, окажется таким же. И что тогда? Он замирал, затихал от безысходности, от ставшей ему ненужной и не желавшей складываться жизни.

\*

За ужином Костик пил домашнее вино.

Вино делала мама с расчетом, что его хватит до нового урожая. Виноград они соберут в августе, когда Костик будет догуливать последние дни каникул. Наверняка старики потащат его на дачу, «на праздник труда». Мама примется закупоривать промытые и очищенные от кистей ягоды в четвертные бутылки. Их поставят в погреб, и несколько месяцев виноград будет бродить в темноте и прохладе. А когда забурлит и поднимется, его сцедят, чтобы хмельной сок отстоялся. Сахару мама добавляет совсем немного, чтобы вино получилось полусухим.

И теперь он пил вино из последней прошлогодней бутылки. Оно ему не нравилось из-за запаха винограда «изабелла», но родители признавали для вина только этот сорт. Костик опьянел, и за столом, а потом на балконе, где он курил и глядел на далекое вечернее море, он думал о Саше, потом о Дусе. Они вставали перед ним как наяву и что-то горячо ему доказывали. Интонации у них были требовательные, а голоса нежные, как у русалок. Он не понимал, чего они хотят, и оттого, что не понимал, девушки становились все оживленнее, их речи звучали горячее и убедительнее, а он в ответ смеялся и многозначительно кивал головой: «я все понимаю, все!..»

Около полуночи на балкон вышла мама и под руки, как ребенка, увела его, ослабевшего и уснувшего в кресле-качалке, в дом.

— Как вино ударило ему в голову! — посоветовала она читавшему в постели вчерашнюю газету Василию Ивановичу. — Мальчик не испортился в Киеве, к спиртному непривычен.

— Дело молодое, — зевнул, гася ночник, Василий Иванович. — Отоспится...

Назавтра было воскресенье, и родители на дачу не поехали — базарный день. Утром они встали рано, до шести. И принялись доставать из погреба заранее поставленные туда для продажи ведра с черешней и обвязывать их по ободу чистыми полотенцами. Вставший с родителями Костик заторопился.

— Ты куда в такую рань? — удивился отец.

— На вокзал. За билетами на Киев.

— На какой Киев, ты же только приехал, — опешил отец. — Мать, ты слышала: Котька уезжать собрался!

— Как — уезжать? — всплеснула руками Анастасия Павловна. — Ты что это надумал?!

— Не надумал, а так запланировано, — укладывая в дорожную сумку вещи, заявил Костик. — Еду со стройотрядом в Херсон. На строительство Крымского канала. Все ребята туда едут, весь факультет. А к вам я приехал только проведать...

— Что ж ты сразу не сказал, — рассердился отец. — Мы думали, ты к нам на все лето! И старикам поможешь...

— Правда, не могу, — твердо сказал Костик.

И это были последнее, что он сказал на пороге родительского дома, покинув его, не оглядываясь...

*16 сентября 2016 г.*

# Бахтияр ИСЛАМОВ

/ Алматы /



## ПРИЗРАКИ СМЫСЛОВ

I

\*  
Иней. Коралловое утро

\*  
Мороз оставил на стекле узоры ледяных бабочек. Окно летит  
в зиму

\*  
Пар изо рта. Это душа после бани

\*  
Лимон в холодильнике. Зимнее солнце

\*  
Снегоуборочная машина. Кит, глотающий планктон

\*  
Холодные голодные деревья. Бомжуют в парке

\*  
Облако вмерзло в небо. Солнце — в лужу. Таймер обратного от-  
счета замер

\*  
Мороз ударит веслом по роже. Набросится стайкой пираний.  
Сиди дома. Не высывайся

\*  
Снег. Головой вниз. Ребрами наружу

\*

Деревья. В коричневых штанах, белых рубашках. На параде  
одинаковости

\*

Туман 925 пробы

\*

Туман. Спиной ко всему

\*

Талые лужи. Усталые лужи

\*

Булавковый зимний дождь

\*

Зимний дождь. Гусиная кожа асфальта

\*

Зима. Голословные деревья. Кажется, что все это снилось

## II

\*

Оттепель. Птица Феникс

\*

Строительный грохот сосулек. Благоустройство весны

\*

Лужи спят солнце. Нимбы, разбросанные после дождя

\*

Тигровые облака. С голубыми усами

\*

Посолить снегом начало весны. Чтобы сахаром не казалось

\*

Весенний дождь. Рок-музыкант

\*

Молния. Курица лапой

\*

Праздничный воздух. Сладкая вата облаков. Зеленые петарды  
первых листьев

\*

Первые пучки травы. Сколько лобков

\*

7 утра. Солнце греется на моем плече. Свернулось клубком.  
Разве что не мурлычет

\*

На небе ни одной тучки, ни одной морщинки. День ясный до горизонта. Складываю в уме 2+2. И никуда не спешу

\*

Облака-бодибилдеры. Ковер-гимнаст на турнике. Сосед играет в футбол против детей. Наслаждается легкой победой

\*

Соседский пес оставил мину прямо под водосточной трубой.  
Прямая кишка водосточной трубы

### III

\*

Теплые нити дождя. Я запутался в этом лете

\*

Ветер. Детские ладошки листьев тополя. Дрожат линиями жизни

\*

Бессонница. Птицы торопят

\*

Бабочка хлопает в ладоши. Просит продолжения погони

\*

Цветы, бабочки. Конкурс красоты в деревне

\*

Змея на камне. Как татуировка

\*

Горы. Авиашоу пчел, стрекоз, бабочек

\*

Стрекоза-байдарка

\*

Жара. Голуби и кошки равнодушны друг к другу

\*

Сказка. Слепой дождь ночью. Когда светит Луна

\*

Порывы ветра. Паруса деревьев. Земной шар вращается

\*

Тучи с черничной начинкой

\*

Вечер. Игра теней. Обыкновенный забор превращается в готический храм

\*

Дождь плачет в озеро. Как сын о матери

\*

Лист падает. Качаясь на детских качелях воздуха. Дерево виноградно молчит

\*

Облако замерло. Вдохнуло и не может выдохнуть. Тоже любит-ся закатом

\*

Первые опавшие листья. Минута молчания

#### IV

\*

Мошкара вокруг лампы. Космос в миниатюре

\*

Ночь. Звезды скучают по дому

\*

Полнолуние. Муха ползает по стеклу. Заползает в кратеры. Вы-ползает обратно

\*

Звезды хороводят вокруг Луны. Самая маленькая просится на коленки

\*

Прилунилась на моем плече. Сопит. Любит

\*

Ночь. Тишина тишинебельная. Фоновая подсветка звезд. Самолет через всю панораму

\*

Вспомнил. Как 5-летняя девочка Оля сказала — «В этот вечер, когда мы прощаемся, на небе столько больших медведиц...» (с придыханием)

## V

\*

Море вдали. Как чья-то память

\*

Луна. Утопившаяся невеста

\*

Счастье. Когда есть возможность совершать ошибки

\*

Рыболопие. В океане свободы слова

\*

Вода. Сильнее, чем весла

\*

Минута молчания. Годы замалчивания

\*

Злые люди. Неодобренные

\*

Недвижимость. Все что осталось от дома

\*

Канализационные люки. Щиты воинов, павших в суете современного города

\*

История. Содержанка власти

\*

Снобизм. Как признак отсутствия таланта

\*

Горная река. Как образец скульптуры

\*  
Капля одиночества убивает лошадь

\*  
Каждое слово. Горсть земли в яму

\*  
Тишина. Бог музыки

\*  
Слова. Призраки смыслов

\*  
Поэзия. Публичная оферта

\*  
Закат. Окурок дня

\*  
Спина — пустыня. Караван позвоночника

\*  
Закат. Не так жесток как рассвет

\*  
Фонари в предрассветных сумерках. Как пленные солдаты

\*  
Моя жизнь. Мой стокгольмский синдром

\*  
Старые фотографии. Сухие листья опавших мгновений

\*  
Счастье, я по тебе скучаю

\*  
Мое «люблю» к расставанию

\*  
Чем больше узнаю мужчин. Тем больше мне нравятся женщины

\*  
Сочувствие, граничащее с кощунством. Когда драматичное самовыражение выше тихого понимания

\*  
Настоящей свободой нельзя злоупотребить

\*  
Кризис среднего возраста. Разбитое окно в мир

\*  
Свободный человек умеет сомневаться

\*  
Справедливость. Несси. Снежный человек

\*  
Унылый и лунный. Одни и те же буквы

\*  
Змея. Двухязычный поэт

\*  
Нет предела несовершенству

\*  
Мыслю, следовательно туплю

## VI

\*  
Пора вводить термин — В МЕРУ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

\*  
Вместо Жванецкий. Все время хочется сказать Пржевальский

\*  
У него интеллект искусственный. У меня свой натуральный

\*  
Когда Черчилль показывал знак «V». Он имел в виду троллейбус

\*  
В детстве я был насекомосеком

\*  
Торжественное — «Мама, я покакал!» будущих полководцев

\*

Делал вид. Получился видок

\*

Что русскому хорошо, то испанцу хулио

\*

Люди без определенного места жительства авторитетно подтверждают. Любовь не вздохи на скамейке

\*

Похитить сценические костюмы Киркорова могли только сексуальные извращенцы

\*

Вот, эти. Которые нюхают клей. Наверное, пытаются потравить тараканов в голове

\*

Люблю русских друзей. За то, что Чингиз Айтматов периодически Чингиз Ахматов

\*

Требуются молодые неопытные пенсионеры

\*

Победи меня. Умоляет влюбленная женщина

\*

Согласно конституции Израиля все люди равнины

\*

Верлибратор. Когда поэзии хорошо

\*

Я — полуФВрикат

\*

Арабовладельцы индусов

\*

Я — антиСМИТ

\*

Мимишные морщины

\*

Хроническая палиндромия

\*

Дождиссимо

\*

Флюорография 3-го размера

\*

Познер петь Bon Jovi

\*

Сорокаградусные пииты

\*

Интеллигентные катышки

\*

Защитная эрекция

\*

Весеннее самкочувствие

\*

Снежная падаль

\*

Кровь из NASA

\*

Винодел — следователь

\*

Геноцид мандаринов

\*

Чревопревосходительство

\*

Снеголожество

\*

Любите, девушки, простых прагматиков!



## Александр ЛОМТЕВ

/ Саров /

### СТРАННЫЕ ИСТОРИИ

Короткие рассказы

#### НА РОДИНЕ

Когда двигатель неожиданно заглох, и машина встала, я пошёл пешком. Дорога была знакомой, и довольно быстро я вышел к селу. Однако, выйдя на слободу, я вдруг понял, что не очень представляю себе, где нахожусь. Это было довольно странно, мне казалось, что я знаю село, где родился, как говорится, как свои пять пальцев. Дома по сторонам улицы были совершенно другими, не теми, что я запомнил, да и люди встречались совсем не знакомые. И всё же это было моё село, ошибки быть не могло. Но как всё изменилось! Я даже не уверен был, что иду в правильном направлении.

Остановив встречного, я спросил:

— Где Выселки?

— Там! — махнул он рукой, и оказалось, что шёл я всё-таки в правильном направлении.

А вот и дом, где я когда-то родился. Теперь тут живут совершенно чужие люди. Я смотрю на дом, и тоска разрывает мне сердце. Дом перестроен и совсем не похож на тот, что я помню, возле которого когда-то играл на зелёной лужайке.

Мимо проходила какая-то полузнакомая тётка, и я сказал ей:

— Что с домом сделали!

Но она безразлично пожала плечами:

— Теперь везде так. Время такое...

И я понял, что она, конечно, права: время такое. Но дома-то всё равно было жаль.

Переполненный печалью, отправился на трассу, на автобусную остановку. Со мной увязался какой-то сельский паренёк. Мне он казался знакомым, очень похож на моего дружка детства Ваську.

Только было это сто лет назад, и Васька недавно умер; так что это мог быть разве что внук Васьки. Чтобы выйти к трассе, нужно было пройти по довольно сырой и грязной лощинке. Странно, подумалось мне, раньше ведь здесь была нормальная сухая дорога. Перескакивая с одного сухого пятка на другой, мы выбрались к обочине, и тут меня ждал новый сюрприз — забор, которого сроду здесь не было! Да и зачем он здесь нужен?

Обходить далеко, да и судя по толпе на остановке, автобус вот-вот должен подойти. Пришлось лезть через забор. На него уже забралось несколько человек, и я подумал, как бы мы его не свалили. И забор тут же начал заваливаться. Я не мог разжать ладоней, чтобы выставить руки вперёд, и понял что упаду лицом прямо в грязь. Но мальчишка сказал:

— Нет, здесь сухо.

Действительно, я совсем не испачкался, только пыль пришлось с брюк отряхнуть. Я подошёл к остановке и тут увидел участкового в милицейской форме. Он улыбнулся, протянул мне руку и, с энтузиазмом потряхивая её, сказал:

— Ну вот, ваша угнанная машина нашлась! Её сейчас пригонят сюда, и вы сможете спокойно уехать.

«Слава те, Господи!» — с большим облегчением подумал я и с чувством кипящей радости проснулся.

## **ВЫБОР**

Отец, вернувшись однажды из евпаторийского санатория, рассказал историю, которая долгое время не давала мне покоя, бредила душу и воображение. В один из евпаторийских санаториев родители привезли сиамских близнецов, сросшихся грудными клетками, а когда срок путевки кончился, не приехали за ними. Бросили. Близнецов усыновил главврач санатория. Он очень полюбил их. И тут выясняется, что совершенно необходима операция по разделению близнецов. Не оперировать — умрут оба. Оперировать — умрет один. Но который?

Чем завершилось дело, отец никогда не узнал — путевка кончилась, и он уехал. Но неподъемная тяжесть выбора поразила меня; мне было очень жаль доктора, которому предстояло одного из близнецов обречь на смерть.

Один мой однокашник пошел в военное училище. А когда его спрашивали, почему? Отвечал не знаменитым: есть такая профессия — Родину защищать. Он говорил: не нужно принимать решений; тебе приказали — ты выполнил. И все!

Но это, конечно, иллюзия. Жизнь рано или поздно поставит тебя перед выбором, как того врача из Евпатории, и этот выбор придется делать тебе самому...

## ЗАЧЕМ?

Старший научный сотрудник Иванов и младший научный сотрудник Сидоров стояли на лестничной площадке второго этажа родного НИИ и курили, коротая время до недалекого обеда за перекурком. Все приличные люди из НИИ давно разбежались, и многие завели свои дела. Сидоров не сбежал потому, что по молодости искренне верил в торжество науки и мечтал сделаться великим ученым. А Иванов и сам не знал, отчего сидел на нищенской зарплате при отсутствии всяких перспектив. Наверное, он был философом. Вот и теперь, на заплёванной лестничной клетке он внушал молодому коллеге, что жизнь складывается так, как она складывается и никак иначе.

— Такова реальность нашей действительности. Если глобально, в космическом, так сказать смысле, человек практически ничем не отличается от яблока.

— Ну, это уж явное преувеличение, — неуверенно возразил Сидоров старшему товарищу.

— Ни капли преувеличения, — Иванов картинно отвел руку с дымящейся сигаретой. — Яблоко может родить только яблоко, так же как и человек рождает лишь себе подобного. Яблоко не знает, с какой целью оно существует, и человек не знает...

— А сознание?

— Сознание... Наличие сознания ничего не меняет. Сознание лишь фиксирует процесс, но никак на него по большому счету не влияет. Человек то же беспомощное яблоко на тонкой ветке судьбы. Ты можешь сказать, а как же развитие цивилизации, техника, философская мысль... Да ведь и яблоко было когда-то кислым, зеленым жестким дичком. Теперь масса различных сортов. Но все эти сорта по своей сущности — всё то же банальное яблоко! И человек со всей его философией, цивилизацией и техникой — всё тот же банальный человек. Ни одно изобретение, ни один философский изыск не сделал человека как вид принципиально другим. Мало того, когда жизнь становится легче, человек, по-моему, становится хуже. Лиши яблоко ухода садовода, и оно тут же снова превратится в кислый дичок. То же самое и с человеком: когда в Нью-Йорке несколько лет назад произошла авария, и сутки не было электричества, это стало для миллионов людей катастрофой. В большинстве случаев, правда, катастрофой смешной. Людей лишили телевизоров, и в результате через девять месяцев случился всплеск рождаемости. Но если бы электричества лишилась вся планета, люди вернулись бы в лучшем случае в средневековое состояние.

— Но ведь это ужасно!

— А что же в этом ужасного? Только в то, что нам хочется чувствовать себя чем-то большим, чем одно из яблок планеты? Но мыслящее яблоко всё же лучше, чем яблоко не мыслящее. Виси себе на

ветке и любуйся красотами мира — сентябрьскими звездопадами, вечерними августовскими закатами, морским прибоем, приносящим из неведомых глубин запах водорослей, и грусти о своей брэнности и неразгаданности бытия. Такова действительность нашей реальности... — Иванов задумался, потом передернул плечами. — Мда... Всё-таки ты прав — это ужасно!

Минут через двадцать они сидели в институтской столовке, хлебали борщ и спорили: Арнольд Шварценеггер — стоящий актёр или дешёвка...

## ВРЕМЯ

Дед сидел у открытой дверцы голландки, смолил вонючую «козью ногу» и разговаривал. Вроде со мной, а может, и сам с собой, а может, и с мятущимся в печурке пламенем...

— Вот, Шурка, ты говоришь война, война... А мне из войны совсем не стрельба, не тяготы военные чаще вспоминаются. Я там, на войне, вдруг понял, что все в мире не так просто, что не все можно наукой объяснить. Вот, например, время — что это такое? Ну вот — пуд, он и есть пуд. Шестнадцать килограмм. Или метр — хоть утром, хоть вечером — метр, хоть в Африке, хоть на Чукотке. А вот время — что? То оно тянется, то оно летит. Бывало, сидишь в окопе перед атакой, и словно оно встало. Глянешь на часы. И стрелка застыла, часы тикают, а время стоит. А потом — ракета! И глазом моргнуть не успеешь, а уж вечер — кто убит, кто ранен, а ты водку пьешь и думаешь — «жив пока, голубчик». И время вроде как в обычную колею вошло, тикает — ни быстро, ни медленно, как надо.

Мне часто какой сон снится? Как меня в плен берут. Как дело было? Перебрасывали нас с одного участка фронта на другой. Под Москвой это было. Командовал нами лейтенант с ускоренных курсов, на фронте неделю, ничего не знает, бестолковый — глупень глупенем. Погнали нас марш-броском на другой участок фронта, заблудились, влезли в какой-то лес, болото, сыро, холодно, устали как собаки, с ног валяемся. К ночи набрели на какую-то землянку, посмотрели — сухо, нары с каким-то тряпьем. Ну, мы все и повалились вповалку, и лейтенант с нами. Ни часовых, ни охранения, винтовки в углу бросили и спать.

И вот снится мне, что я в Германию приехал, хожу по Берлину, а вокруг, естественно немцы — пальцем на меня показывают и о чем-то переговариваются. Просыпаюсь и действительно слышу немецкую речь. Рассвело, в открытую дверь и короб вентиляционный в потолок — солнце полосами. А снаружи немцы разговаривают приглушенно. Кое-кто тоже проснулся — головы подняли, прислушиваются. Вот тут все и произошло. Время вдруг страшно замедлилось. Тело у меня словно ватное стало. Смотрю — из вентиляционного короба показались гранаты. Летят — одна, другая, третья — медленно,

словно их на веревочке опускают, только веревочки никакой нету. Падают они, но медленно-медленно! Вращаются, поблескивают, зеленые с длинными деревянными ручками — на всю жизнь перед глазами. Я как замороженный смотрю и думаю: «конец тебе, голубчик». Но спокойно как-то так думаю, без тоски или паники. А они все падают и падают. Ну, сколько гранате падать два с половиной метра? Секунду? А они минут десять падали, я даже устал смотреть. И тут тело мое отошло, я почувствовал, что могу двигаться, и я отвернулся, сжался в комок, в ветошь зарылся, хотя какая защита — ветошь. Закрыв глаза и жду, а взрывов все нет и нет. Я даже подумал: надо встать да выйти из землянки. И тут как рванет — один взрыв, второй, на третьем я сознание потерял.

Очнулся — немцы раненых достреливают, выживших выгоняют на улицу. На мне ни царапины, только не слышу ничего и туман в голове — контузило. Вышел я на свет божий, вздохнул и решил: долго жить буду... Ну, а потом пока шел я в колонне среди таких же как я полусумасшедших, все про время думал. Что же это такое — время? А ты, Шурка, говоришь, война...

Дед, и правда, дожил почти до девяноста.

## ОДНАЖДЫ УТРОМ

День был совершенно обычным. Саня расслабленно брел по весенней улице, щурился на ошалелое апрельское солнце и всем телом ощущал, что именно в девятнадцать лет начинается настоящая жизнь. Он уже забыл, что ощущал подобное в четырнадцать почти в такой же вот апрельский денёк; и не знал, конечно, что снова почувствует это и в двадцать пять, и в тридцать и даже в сорок.

Знакомая улица, родной городок, всё равно — по улице идёшь или по коридору из кухни в комнату в собственной квартире. Из окон бодрое радио, на потеплевших ветвях городских тополей бодрые воробьи. «С бодрым утром!» — мысленно улыбнулся Саня, но шагу не прибавил, и не взбодрился вливаясь в общий трудовой среднедельный ритм. Быть полусонно оглушенным солнцем и тополиным клейким запахом было хорошо... К тому же теснилось в лёгких что-то непонятное, подстерегающее впереди — хорошее или плохое — не ясно.

Оно появилось буквально через десяток шагов... У тротуара остановился автобус с траурной каймой по серому борту и водитель деловито распахнул створки задних дверей, которых не бывает в обычных автобусах. Из переулка вышли люди, и Саня невольно остановился. Несли гроб. В гробу лежал некрупный покойник с чистым, светлым, слегка небритым и очень спокойным лицом. Нос индифферентно смотрел в голубенькое небо, а губы были сжаты в тонкую едва улавливаемую ироническую усмешку. Знаю, мол, кое-что, что вам всем еще только предстоит узнать.

Саню давно задевало это событие — смерть. Даже не сама смерть, а что-то трудно понимаемое, что она за собой влечет. И даже не так. Куда уходит то, что наполняло человека, когда он был жив, куда всё это девается — мысли, чувства, идеи, страсти. Куда? Не верилось, что всё просто исчезает. Нет, конечно, Саня не верил ни в какие загробные жизни и реинкарнации, о которых любили рассуждать некоторые его начитанные тяготеющие к романтическому дисидентству приятели.

Люди с черными повязками ловко погрузили гроб в автобус, и через минуту улица опустела. Саня побрёл дальше. Ощущение полноты жизни не пропало, и даже не потому, что покойник из переулка был для Сани никем. Просто каким-то седьмым чувством Саня понимал, что всё это естественно и не страшно. Хоть может быть, и слегка печально. Да и то лишь потому, что до конца не понятно...

И вдруг Саня остановился. Его осенило. Он даже и не представлял, что такое сильное чувство вообще возможно. Осенило удивительно — сильно, но парадоксально спокойно, без экзальтации и какого-то особого потрясения. Но чувство было таким глубоким, что он забыл, куда и зачем шёл. Он вдруг понял, что тоже умрёт. Нет, конечно, он всегда знал это. Но знал как-то отстранённо, холодно — умом: все умирают и он умрет. Но сейчас он понял это совсем по-другому, всем своим существом, всей душой, всем своим молодым телом. И это опустошило его, оглушило. Что теперь с этим делать? Для чего ему вдруг дали это понимание? И кто дал? Бог? Но бога нет! Или есть?!

Саня брёл по знакомой улице, не замечая ни апрельского веселого солнца, ни миниатюрной листвы тополей, ни воробьёв митингующих на усыпанном крошками батона канализационном люке. Ему стало ясно, что для него началась новая неведомо куда уходящая жизнь. Ясность и чистота этого дня ушла, он смотрел на город словно через осколок зеленоватого бутылочного стекла, почти ничего не слышал, потому что прислушивался к тому, что эхом отдавалось в груди и в голове после того короткого озарения.

Через несколько дней Саня уволился с работы, тайком сжег в ванной комсомольский билет, выбросил студенческий своего заочного и уехал из города; и только через год его городские приятели узнали, что Саня поступил в семинарию. Шёл тысяча девятьсот семьдесят девятый год...

## **ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ**

Он был пьян. Той степени опьянения, когда говорить человек еще может, но слушают ли его собутыльники, уже безразлично. Поэтому я ему верил... Он смотрел в вагонное окно, не видя ни придорожных деревьев, размазано пролетающих мимо, ни пустых переездов с мигающими семафорами, ни дальних колоколенок; и тихо рассказывал:

— В районе Гудермеса попали мы в засаду. Ссыпались с БМПшек, начали отстреливаться. Я прижался к гусенице, постреливаю, а сам о дочке думаю, увижу ли еще... Пулемет над головой грохочет, радист кричит в микрофон, подмогу вызывает, боевики все ближе, уже лица разглядеть можно. Совсем тревожно мне стало, и тут слышу, кричит мне земляк — Виталич, майор наш уральский: «Беги в кювет! Беги быстро!» Я рванул, скатился в кювет, не успел голову поднять, как в ту самую гусеницу, за которой я прятался, граната из подствольника ка-ак даст! Не уйди я оттуда секундой раньше — конец бы мне непременно! Но ужас-то весь в чем? В том, что Виталича еще в первую чеченскую убило, и похоронен он у меня на глазах в родной деревеньке... Вот так... Историю эту только двум-трем близким друзьям рассказал; а так молчу, подумают — сочиняю... А ведь правда, понимаешь? Верить?!

Я верил, верил...

## **ДВЕРЬ**

— Послушай, сон — это вовсе не игры подсознания, не хаотичная электрохимическая реакция спящего, потерявшего контроль мозга. Сон — это окно в иной мир. Или в иные миры. Неизвестный нам пока механизм, позволяет переместиться на время в другую реальность. Зачем — вот вопрос! Может быть, нечто экономит так количество носителей сознания? И каждый проживает несколько жизней одновременно в разных плоскостях реальности? Ведь всё, с чем мы сталкиваемся во сне — реально. Только не здесь. Может быть, в другой плоскости бытия, может быть, в ином пространственно-временном континууме, может быть вы прошлым, может быть в будущем, а может быть, и в настоящем — в каком-то параллельном измерении.

— Или перпендикулярном.

— Или перпендикулярном. Просто человек ещё не дошёл до понимания этого. Не всё сразу, придёт время, и учёные придумают, как нам управлять снами и путешествовать по параллельным мирам осознанно, так сказать, прицельно...

— Ну, хорошо. Сон — это окно в иные миры. Но тогда должна существовать и дверь...

— А она существует.

— Да? И что же это?

— Не догадываешься?

— Ммм, нет...

— Смерть! Смерть — это дверь в иной мир, разве не ясно?!

## АЛ ПАНТЕЛЯТ

*/ Харьков /*



### **БУДТО ДВА ЦВЕТКА**

будто два цветка  
растем мы  
рядом друг с другом  
качаясь на ветру  
и отбрасывая тени  
кто же о кто  
осмелится нами очароваться  
и унести с собой  
кто покажет нам  
неведомые миры  
прежде чем мы иссохнем  
мы знаем только  
друг друга  
мы слушаем ветер  
и землю

### **BERLIN'17**

затерявшись где-то  
между осенним кройцбергом  
и фридрихсхайном  
я купил тебе  
деревянные серьги  
с птицами  
на блошином рынке  
я знал  
что они тебе пойдут

как знал  
что должен вернуться  
именно к тебе  
я вернулся  
и оказался прав

## ЦВЕТОК ПОЛУНОЧНЫЙ

цветок полуночный не зря ты имя свое шепчешь  
ты глубже памяти вырастаешь в необъятность почвы  
на перекрестке четырех ветров колышется твой стебель  
с восхода на восход несутся лепестки твои как будто птицы

кто обретет тебя цветок полуночный в тени твоей блуждая  
кто сможет разгадать что шепчешь ты во тьме бессловной  
раскрыто твое сердце возвышаясь на ветров твердыне  
с востока на восток уносятся твои прекрасные соцветья

## ПОКА ВРЕМЯ ЕЩЕ

пока время  
еще не настало  
напомни мне  
что я сделал правильно

## НАС ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ

нас должны были предупредить  
что любовь это надолго  
будто дерево  
кормящее птиц в трудное для них время  
живущее своей  
никем не замеченной жизнью зимой

птицы прилетели  
и мы живы для них  
птицы улетели  
и мы живы  
друг для друга

нас должны были предупредить  
что любовь слишком проста

будто банальная метафора  
куда более заметная  
и живущая намного дольше  
чем ты и я

## **ЗАНОВО**

давай начнем все заново  
заново как будто случайно  
встретимся на одном и том же месте  
заново будет встречать друг друга  
на одном и том же месте несколько лет  
заново поженимся  
заново будем вместе преодолевать быт  
заново будем просыпаться в одной и той же постели  
заново станем теми  
кем никогда не были

## **ДАВАЙ СПОЁМ ЭТУ ПЕСНЮ**

давай споём эту песню  
по очереди

как будто это  
две разные песни

расскажем каждый  
свою версию событий

вспомним то чего  
могло и не быть

ведь кто поведает  
о нас лучше чем мы

когда мы разделим  
нашу песню на двое

и не узнаем её



## Лера КЛЕЩУК

*/ Санкт-Петербург /*

### ВСПЫШКА

Обои в коридоре рассыпаются от прикосновения руки, но если дойти до конца, на подушечках пальцев отпечатается рисунок или даже целый рассказ. Это похоже на буквы в моей книге, только там они собраны на странице, а здесь разлетаются во все стороны, складываясь в невероятные истории и картины.

— Это развод, шарлатанство — я запрещаю тебе тащить туда нашего ребенка! — мужской голос дрожит от напряжения.

— По телевизору сказали, что этот тибетский гуру излечит от 99% болезней! — не сдается женский голос.

— Тебе профессорá медицинских наук сказали, что эта патология не лечится! Тебе что, мало? — мужской голос срывается на крик.

— Это нетрадиционная медицина, просто в нее надо верить — и тогда поможет. Вон у Малахова показывали, что парализованный мальчик после иглоукалывания встал и пошел, — не унимается женский.

— И правильно сделал, это был единственный способ уйти от этих клоунов с телевидения, я бы тоже на его месте встал и пошел, — раздается приятный мужской смех.

— У тебя нет ничего святого! — в ужасе взвизгивает женщина.

— Зато у меня есть мозги! — парирует мужчина, не прекращая смеяться.

Стена закончилась — и я словно падаю во что-то густое, тягучее, наполненное запахами и звуками. После узкого коридора для меня здесь слишком много воздуха, и я боюсь задохнуться с непривычки. Тогда я замираю на пороге кухни и жду, постепенно привыкая к окружающей обстановке. Голоса, как по команде, замолкают.

— Сынок, ты чего так рано? — через мгновение произносит мужской голос.

— Это ты его разбудил своими криками, — с упреком говорит женский.

Я делаю три шага вперед, по привычке утыкаясь в стол. Два шага влево и снова вперед, там меня ждет плюшевый диван и Папа, который в одну руку мне даст стакан теплого молока, а в другую заботливо всунет овсяное печенье. Теперь можно расслабиться и поест, при мне они ругаться не будут. Мама уходит в другую комнату, ее мягкие шаги и запах духов понемногу растворяются в глубине квартиры. Я прижимаюсь к Папе — он твердый и такой уверенно-спокойный, как робот или дракон. Папа гладит меня по голове — у него большие и сильные руки, но когда он меня касается, они становятся добрыми, как у бабушки. Мы завтракаем в тишине. Папа не любит телевизор и мне он не очень нравится, там столько звуков, что можно ими подавиться и даже умереть.

— Все будет хорошо! — говорит Папа и прижимает меня к себе. Я слышу, как бьется его сердце, оно стучит быстро, быстро, будто боится куда-то опоздать.

— А разве сейчас плохо? — я залпом допиваю молоко и закусываю сливочность, образовавшуюся во рту, сладким печеньем.

— Да нет, с чего ты взял? — как-то неуверенно говорит Папа. Его вилка ударилась о пустоту тарелки, а значит, мы закончили завтрак. Но будет еще лучше! — почти кричит Папа, рывком выдергивает меня из-за стола, и я взлетаю в воздух как воланчик в бадминтоне. Мы так летаем не в первый раз, и мне совсем не страшно упасть.

Я чувствую себя огромным эскимо на палочке. Мне нравится есть его, когда наступает лето. Но сейчас лето наступило у нас в квартире: я одет и стою в коридоре в ожидании Мама. Мама всегда сначала собирается сама долго и шумно, потом быстро одевает меня, а потом мы должны выйти. Но чаще всего этого не происходит, она что-то забывает надеть или накрасить. И снова с криками бежит взад и вперед, пока я жду ее, готовый к выходу и таю, как эскимо на палочке. Стоять нет больше сил, и я скатываюсь по стенке, занимая удобную сидячую позу. Скрипнула дверь, тяжелые шаги, и я чувствую приближение Папы.

— Почему Сашка одетый сидит в коридоре? Ты не понимаешь, что ребенку жарко? — от звука папиного голоса я подпрыгиваю и больно ударяюсь о ручку двери.

— Гулять! — запах маминых духов резко бьет в нос и хочется чихнуть.

— Зачем ты так разоделась на прогулку? Розовое платье, белые сапоги, еще и искусственный цветок в волосы запихала. Лена, это вульгарно! — папин голос становится спокойнее.

— Это модный look, так выглядят все прогрессивные девушки, которые следят за модой! — терпеливо объясняет ему Мамв, потом берет меня за руку, и мы пытаемся выйти. Но в воздухе происходит какое-то движение, и вот я уже упираюсь лбом в папин свитер. Он стоит на пороге и не пускает Маму к двери.

— Лена, если ты посмеешь оттащить ребенка к этому тибетскому гуру, я выключу тебе кабельное и отправлю работать! — голос Папы становится устрашающим.

— Я же сказала, что мы идем гулять. Чего непонятого? — Мама резко дергает меня за руку, и я вылетаю за ней следом на лестничную площадку. И пока мы бежим к лифту, сзади доносится разъяренный крик Папы: «Если я узнаю, что ты туда ходила — выкину все твои шмотки нафиг, и косметику и туфли!». В этот момент двери лифта закрываются, и мы уезжаем вниз от папиного голоса. Единственное, что меня радует, он ничего не сказал про мои игрушки. Надеюсь, их он не выкинет.

Колеса троллейбуса шелестят как крылья большой птицы. Я сижу рядом с мамой, вокруг пахнет людьми и бензином. Мне нравится ездить на троллейбусе, качает из стороны в сторону и можно придумать, что ты пират и уплываешь на своем корабле в поисках сокровищ. А птица с огромными крыльями летит над тобой и не может догнать, ведь ты не просто пират, а заколдованный. Мама разговаривает по телефону с подружкой, а я продолжаю путешествовать по морям, раскачиваясь в такт своему кораблю.

— Анька, ну за что мне это? Я все время думала, что будет ребенок — как в журнале, сладенький такой — чтобы одевать, обувать, фотаться с ним. А тут эти очки, операции и все равно — патология! Я его руку отпустить не могу — вдруг что? А уж про все мои фантазии, типа детский модельный дом, можно забыть, он и подиума не увидит, не то что... — когда Папы нет рядом, Мама забывает, что при мне нельзя говорить об этой патологии. Я уже много знаю о своей болезни и, правда, очень хочу вылечиться и стать моделью, как мечтает Мама, вот только пока не знаю как.

Троллейбус притормаживает, и Мама выхватывает меня из пиратских фантазий и тащит к выходу. Я вцепляюсь в ее руку со всей силы, боясь нечаянно сорваться и остаться в этой душной тьме навсегда. Наконец мы оказываемся на свежем воздухе, и Мама шипит на меня, пытаясь вынуть свою руку из моих пальцев.

— Ну что ты вцепился как ненормальный — теперь у меня синяки будут! — злится Мама. Огромная птица улетает, шурша своими крыльями. Становится холодно и непривычно тихо. Я прижимаюсь к Маме, но она все еще злится, поэтому берет меня не за руку, а за капюшон куртки, и мы продолжаем идти.

— Я вижу перед собой зеленый магазин, за ним проезд и дальше детская площадка, — говорит Мама в трубку и останавливается. Я поспальзываюсь и, не сумев удержаться, падаю на нее.

— Господи, какой ты неуклюжий! — это она мне. — За магазином в арку третья дверь — поняла, скоро будем, — а это снова в трубку.

Пахнет какими-то травами и дымом, чужой мужчина что-то бормочет мне в самое ухо, но я не могу разобрать что. Сначала я заплакал, когда чужие руки стали снимать с меня одежду и втыкать в спину болочные иглы, но Мама сказала, что так надо и после этого я смо-

гу нормально видеть. Когда она ушла, я улучил момент и спросил у человека, который шептал мне непонятные слова:

— Доктор, а я, правда, смогу видеть?

— Конечно, сможешь, только надо очень захотеть, — ответил мне чужой мужской голос.

— А как это случится? И когда? — я очень надеялся, что доктор скажет сейчас или скоро, а не как те люди в больнице: «Это сложная патология. И шансов никаких!»

— Скоро — через час, или через день или через месяц. Сначала будет яркая вспышка, а потом ты откроешь глаза и уже сможешь лично видеть. Главное в это верить!

— А вспышка может случиться, когда мы от вас выйдем?

— Может, но это редко. А сейчас сиди и не вертись, надо дочитать волшебные мантры. И он продолжил бормотать непонятные слова над моей головой, а я с трудом сдерживался, чтобы не выскочить на улицу и увидеть наконец-то это вспышку, после которой я смогу видеть.

Когда все закончилось, и Доктор вывел меня за руку к Маме, он сказал ей то же самое про волшебную вспышку, но уточнил, что нужно время и вера. Я верил, что как только мы выйдем на улицу, вспышка непременно случится. Мама оказалась довольна и даже поцеловала меня и назвала «Сынок», что с ней случилось крайне редко.

Когда мы вышли на улицу, я с силой закрыл глаза, напрягся так, что даже заболела голова. Но вспышки все не было. И тогда я решил поступить по-другому. Доктор сказал, что нужно поверить, а потом будет волшебная вспышка. Я закрыл глаза и поднял голову в ту сторону, где предположительно была Мама. Открыв глаза, я ничего не увидел, но начал верить.

— Мама, вспышка, вспышка! — закричал я и даже немного подпрыгнул.

— Не может быть. Так быстро! — она недоверчиво отпустила мою руку.

— Я вижу, вижу — у тебя белые сапоги и розовое платье, а вот зеленый магазин, там дальше проезд и площадка. Смотри, я могу сам пойти на площадку! — перед глазами было все так же темно, но я понял, что главное верить, и побежал в ту сторону, где, как мне казалось, была площадка, ни на секунду не переставая верить, что скоро случится вспышка. Совсем рядом взвизгнули тормоза, и что-то тяжелое подкинуло меня в воздух, и случилась вспышка — такая яркая, такая теплая, что я зажмурился из-за всех сил, чтобы этот свет не выжег мне глаза. Когда я снова смог их открыть, я уже видел. Зеленый магазин с красной светящейся вывеской, детская площадка с потрясающей красоты горками и домиками, большая черная машина, из которой смешно выскочил маленький, толстый дядька с белым, как мел, лицом, молодая девушка в коротком розовом платье склонялась над маленьким мальчиком, неподвижно лежащим на асфальте. А я все это видел и был бесконечно счастлив.

## ДЕТИ

Особенно хорошо спится под утро, но кому какое дело, если твой ребенок фланирует вокруг тебя по кровати и требует завтрака и внимания. Стараясь закрыться руками от навязчивых приставаний, я только ухудшаю свое положение: второй детеныш приходит на помощь первому, и вот они уже вдвоем атакуют свою сонную маму. Я переворачиваюсь на живот, подставляя удивленным нападающим спину и одновременно чувствуя себя великолепным стратегом. Но секундное замешательство в глазах шалунов сменяется огнем борьбы, и вот уже два негодника восседают у меня на спине, и Машка, которая заняла место в первом ряду, недовольно прихватывает меня за волосы. Волосы — моя ахиллесова пята, в тот же миг одеяло вместе с оккупантами летит в сторону, а я, разъяренная, выпрыгиваю из кровати на холодный пол и тут же пулей заскакиваю обратно на кровать, подбирая под себя обмороженные пятки.

— Кожаный мяч! — мат, адаптированный для детей, как говаривал мой первый муж. Бесценен именно в таких случаях, когда хочется включить портовую путану, которой подсунули фальшивые купюры, но надо помнить, что рядом дети — и вуаля:

— Кожаный мяч, ядрена кочерыжка, какого дед мороза вам не спится, дети мои? — оскорблено верещу я, плавно осознавая себя частью действительности, в которой ледяной пол и прерванный сон являются нормой жизни.

Две пары невинных глаз глядят на меня из-под одеяла, ответа нет. Априори все поймешь сама, если не дура, а если дура, то так тебе и пусть. Я не дура, поэтому, не задавая больше риторических вопросов, надеваю теплые носки и халат и нехотя тащусь на кухню в поисках завтрака. Завтрака, как и ожидалось, там нет, зато есть двое старших, а потому более воспитанных детей. Те же глаза, тот же укор во взгляде.

— Где еда? — как бы вопрошают малолетние чудовища.

— Вот и мне интересно, где? — невинно парирую я, но при этом все же лезу на верхнюю полку за чудесными геркулесовыми хлопьями, которые сегодня исполняют роль завтрака для всей нашей многочисленной семьи.

Судя по шевелению в дальней комнате, остальные члены святого семейства тоже проснулись и скоро нанесут нам визит. Я быстро достаю огромную алюминиевую кастрюлю, которая вот уже много лет ассоциируется у меня с советским детсадовским прошлым. Газ, кастрюля, пачка хлопьев, вода, соль сахар по вкусу, а дальше 10 минут позора — и мы на даче, как любил повторять мой второй муж, когда случалось заниматься каким-нибудь недостойным делом. Например, гулять с моими детьми, то ли для него их было слишком много, то ли он в принципе не любил детей как класс, я так этого и

не поняла. Просто однажды, выйдя с ними на очередную прогулку, он так и не вернулся в наше семейное гнездышко. А я с соседями, тогда они еще были добры к нам, до вечера бегала по всем дворам в радиусе километра от дома и искала напуганных малышей. Хвала небу, никто не потерялся, замерзшие, усталые, напуганные, со слезами, беспомощно стоящими в их ясных глазах, все были водворены в нашу тесную кухоньку и накормлены горячим мясным рагу.

После этого я завязала с мужьями, и с мужчинами в принципе. Мои крошки единодушно меня в этом поддержали, и больше ни одна особь мужского пола не переступала порог нашей квартиры. Их доверие, любовь, дружба сполна заменили мне все мужские ласки, которые раньше я так переоценивала. Мы всегда были вместе — готовили, убирали, гуляли и даже спали иногда. Когда я забывала закрыть дверь своей «взрослой» комнаты, как сегодня. Когда я видела счастье, которым озаряются их глаза при виде меня, я понимала, что ни один мужчина не сможет так оценить моей заботы и все больше утверждалась в правильности сделанного выбора. Вот и сейчас все собрались вокруг меня, визжат, радуются, малыши лепечут что-то нечленораздельное и умильно тыкаются мне в ноги. Из дальней комнаты, семена на толстых, коротких ножках появляется Семен, он самый старший из моих детишек, поэтому первая порция каши для него. Потом Машенька и Леся, они погодки, обе девочки дивной, какой-то инопланетной красоты. Я улыбаюсь им, шепчу нежности, и каждый принимает это на свой счет и буквально светится от удовольствия. Отрывистый как угроза звонок в дверь, прервал нашу утреннюю идиллию. Я нехотя поплелась открывать, заранее чувствуя, что ничего хорошего это не принесет. Сначала глазок: правильно, соседи, лица озлобленные, губы кривятся как хвост гадюки. Может, сделать вид, что не услышала звонка? Тихонько отступаю внутрь квартиры, но мерзкий голосок за дверью меняет мои планы.

— Лилька, открывай, мы знаем, что ты дома! — это Анна Александровна, ветеран подъездных войн и по совместительству еще и председатель домоуправления. Придется открывать. Проворачиваю ключ в замке, нехотя тяну дверь на себя. Волна ненависти сшибает меня с ног, эти сумасшедшие врываются в мою квартиру. А впереди всего потока оказывается грузный, оплывший нездоровой желтизной, мужик в милицейском кителе. Как же я его раньше не заметила?

— Гражданка Иванова Лилия Степановна, на вас поступила жалоба от соседей, о содержании недопустимого количества собак в городской квартире!

— Это же надо додуматься — 12 шавок запихать в крошечную двушку! Ненормальная какая-то! — вторил ему возмущенный соседский хор.



## Игорь Джерри КУРАС

/ Бостон /

### НОЧНАЯ ПАСТОРАЛЬ

Разноцветные камешки Дафнис кладёт перед собой.  
Примеряется Хлоя к свирели под выпуклой ивой;  
и козлищи, и агницы — все возвратятся домой —  
все затихнут: от кроткой овечки до самой бодливой.

Вплоть до самой блудливой — вернуться; на звук прибредут.  
К тростнику пустотелому, к пальцам на трубке покатоЙ.  
Если время сверять по свирели, то можно и тут  
жить легко, без оглядки, встречая густые закаты.

Можно жить без оглядки и медленно думать о том,  
что отсутствие звуков всегда ожиданье свирели.  
Что лохматые звёзды стадами на небе ночном —  
тоже призваны кем-то. Вернулись домой. Присмирели.

### МЫ ЗАМОЛЧИМ

Мы замолчим, а снег — без остановки.  
В снегу свою добычу растеряв,  
койоты воют, и, хвосты поджав,  
уже ютятся в поисках ночёвки:  
ни псы, ни волки — леса полукровки —  
они, как мы. И каждый будет прав.

Их гонит ночь не выстрелом винтовки:  
один из клёнов, надломив сустав  
тяжёлого ствола, лежит, упав;  
дымится снегом, точно для издёвки.  
А, вслед за ним — разнuzданный состав

ночного на Нью-Йорк свои речёвки,  
стуча вдоль фонарей пустой парковки,  
несёт в пучину — вечный батискаф;  
списав по расписанью остановки.

Тут нет сестёр, а те, что есть — золовки.  
Запомни: никого не оправдав,  
тут и слова как будто из листовки;  
здесь время — как смиренный рукав  
в котором все движения неловки.  
Мы замолчим. Но, даже замолчав,  
продолжим говорить без остановки,  
как снег идёт. И каждый будет прав.

\* \* \*

И вот я заснул, убаюканный ливнем —  
и спал, и приснилось, и было легко:  
деревья висели над берегом дивным,  
и воды прозрачны, и дно глубоко.  
Безмолвные в озере плавали рыбы,  
бесшумная с ними дружила вода —  
и мне показалось: мы тоже могли бы  
как рыбы, прижавшись, уплыть навсегда.  
Прижавшись, как рыбы в одном водоёме,  
где гулко всплывают деревьев плоды,  
мы плыли спокойно — и в этом объёме  
весь мир отражался, как в капле воды.  
Проснувшись, пойму и увижу, что пусто  
и тускло, как за день до первого дня:  
бессмысленно в комнату свесилась люстра  
и смотрит глазницей пустой на меня.

\* \* \*

*Ирине Терре*

Пойду кормить больного лебедя на пруд,  
сплугну кармические страхи стылым хлебом;  
земные кроны, отражаясь там и тут,  
как взрывы множатся и корчатся в полнеба.  
Всё отражается: трава и облака;  
судьба и смерть; горбатый мостик и аллея;  
там птица тянется — здесь тянется рука  
её кормящая, и хлебом не скудеет.

Едимым хлебом. Кабы не было вины,  
кто вспоминал бы эту кровь и это тело?  
Кто этот хлеб (когда бы не было войны —  
и страха не было) бросал бы озверело?  
Прибитый к берегу невзрачный Лоэнгрин,  
зачем непрощеный явился ты крылами? —  
и тело-хлеб и кровь-вино своих глубин  
с каких высот раскрыл нелепо перед нами?  
О, эти образы: надсадны и просты,  
как на поверхности воды. По ней идущий,  
не так ли притчами налаживал мосты  
покуда не был окончательно расплющен?  
Хромая птица, с кем боролась ты в ночи?  
Кто в состязании открылся пред тобою?  
Какие тайные подводные ключи  
взывая к битве, тихо плакали к отбою?  
Пойду кормить больного лебедя на пруд,  
где не отвергнут приношение стильным хлебом,  
покуда ряской не покрылся там и тут  
неровный берег от воды до края неба.  
Пока не сгинул, не остыл ещё. Пока  
и хлеб в руке, и птица белая — белее,  
чем отражаются трава и облака;  
судьба и смерть; горбатый мостик и аллея.

\* \* \*

Я пишу:  
«Мать, у меня всё в порядке:  
берегу себя, как завещал Дарвин —  
не лезу под трактор, гуляя по грядкам.  
Позавчера был в Нарве».  
Я пишу:  
«Осталось чуть больше недели,  
картошка кончается, деньги тоже.  
Мы не болеем и так загорели,  
что все, как есть, чернокожие!  
Здесь, ты знаешь, ласточки в небе  
снут. И тяжёлые висят облака.  
Закаты такие, мама, что мне бы  
всё это в стихах. Но не умею пока.  
По дому соскучился просто жутко,  
доконал меня этот колхоз начисто.  
Отцу передай, что в его тужурку  
девушки наши отчаянно плачутся».  
Письмо маме.

Единственному адресату.  
Ворох бумаг спасён из помойки.  
Оно отправлено в восьмидесятые.  
До перестройки.  
Исписаны шариковой авторучкой,  
листы пожелтели, на сгибах припухли.  
Мама, ты знаешь, твои внучки  
так и не научились читать эти буквы.  
Мама! Зачем ты всё это хранила?!  
Письма, телеграмм поздравительных астрочки...  
Слышишь? — и здесь, над твоей могилой,  
снуют ласточки.

## НЕ БОЙСЯ НИЧЕГО

Не бойся ничего. Мне страшно самому.  
Щербленнная луна опять кривится в кашле,  
но отражённый мир в ночном окне — не наш ли?  
А тот, что за окном — не вторит ли ему?  
Не бойся ничего: похоже по всему,  
что с темнотой давно заводит время шашни,  
и часовые сна не стерегут на башне  
часы, а всё идут. Идут по одному.  
Не бойся ничего. Хотя до слёз пройму  
тебя тоской о том, какой я тоже зряшный,  
что жарко и темно, как в битве рукопашной —  
и не забрать с собой ни сумму, ни суму.  
Не бойся ничего. Я тоже не пойму,  
что силится ожить в наброске карандашном:  
попробуй толковать! Сгорает день вчерашний,  
и мы, в который раз, не плачем по нему.  
Не бойся ничего. Наверно, потому,  
что мысли не страшны, а домыслы не страшны.  
В истошной тишине — все звуки бесшабашны.  
Не бойся, ничего. Мне страшно самому.

## ПСАЛОМ 38

Ты не дал виноградника мне сторожить, и пастí овец  
не дозволил на склонах суровых, где прожил бы дни мои,  
повторяя одними губами, что странник я и пришлец,  
как и все отцы мои.  
Эта блажь выпадает не каждому. Только тем

для кого на песке травую круги закручены,  
у кого для любой из песен немного тем:  
про тебя, да про день, грядущий из тьмы за кручами.  
Может это счастье — бессонно считать овец  
не в своей голове, а на склоне бездонной пропасти —  
среди этих странных, травой изречённых колец,  
заматавшись в платок и щурясь на злые прописи  
звёзд на небе, когда их лучи остры;  
звёзд в колодце;  
ответных им звёзд,  
где горят костры  
в первородной копоти.

Я был нем и безгласен, и даже когда не молчал —  
я был нем и безгласен для дальних — и тех, кто был близко со мной;  
нёс одними губами невысказанную печаль —  
и оставил её невысказанной.  
И теперь, повторяя губами, что странник я здесь, что мой путь  
не имеет ни смысла, ни знака, ни века, ни имени, —  
я прошу: отступи от меня, чтобы мог отдохнуть:  
уходя, отдышаться немного, как прежде отцы мои.  
Как и всякий другой пред тобой проходящий пришлец,  
оказавшись случайно на склоне бездонной пропасти —  
среди этих странных, травой изречённых колец,  
заматаюсь в платок и прищурюсь на злые прописи, —  
звёзд на небе, когда их лучи остры;  
звёзд в колодце;  
ответных им звёзд,  
где горят костры  
в первородной копоти.

## Татьяна ТРОИЦКАЯ

/ Харьков /



### СКОЛ

«Я непростительно старше тебя». И снова царит молчание. Океан покрывается сизой дымкой, и контур твердыни и небес постепенно стирается под ней. ««Блуд» — это то же, что и «blood», — продолжает он. — У тебя хорошо получается, ты могла бы быстро выучить наш язык, если решишь остаться... Мы бы могли в октябре пару недель провести в Германии. Ты хотела попробовать баварскую уличную еду», — добавляет он.

«Наверное, было бы неплохо сделать фото воды или улиц, а позже попробовать нарисовать. Вода у меня никогда дельно не выходила», — задумчиво отвечает она.

«Да-а», — протяжно говорит он.

«Сколько соли в этом йодированном воздухе, Бенгт».

«Это для меня целая вежа, Ида», — он поворачивается к ней, беря за руку.

«Начинается дождь», — первые капельки падают ей на щеки и чуть вздернутый носик.

«Дождь — это достаточная причина, чтобы прогуляться».

«Так быстро стало темно!».

«Смени цвет волос, если тебе не нравится цвет неба», — шутит он. Бенгт писатель и владеет небольшим, но вполне известным издательством в Нидерландах.

«Мне сегодня вернули книгу, — рассказывает Ида, когда они уселись в одном из уютных прибрежных кафе. — С фотографиями. Они отобрали всего несколько, жаль».

«Альбом, — поправляет Бенгт, улыбаясь. — Не переживай, я тебе с этим помогу. Думаю, у меня есть пара друзей».

«Мне показалось, что в морском городе легче всего угадываются характеры. Но не у вас. Ваше Северное море совершенно иное. В других местах по-другому. Под палящим солнцем личины сброшены, точно так же как и одежды, еще недавно прикрывавшие далеко не идеальные тела, — рассуждает Ида. — Не обязательно играть ро-

ли, присущие человеку на работе или в дружбе, где-то там, в забетонированной реальности. Наверное, поэтому на курортах в толпе или через стену слышно так много перебранок. И удивляешься: «Зачем людям при таком четко очерченном, обличенном в слова отвержении друг к другу так необходимо оставаться вместе?»

«Да, я ведь тоже разведен. У меня есть сын. И была целая жизнь. Наверное, такая, как ты описываешь», — отвечает ван Дайк.

«У вас очень много людей с такой фамилией, — замечает Ида, — ван Дайков. Почему ты не взял псевдоним?»

«Мне кажется, у меня достаточно редкое имя», — с грустью серьезного человека шутит Бенгт. Он высок и худощав. У него короткие вьющиеся волосы, совершенно седые, и холодные пронизательные северные глаза; и некая неуловимая притягательность. Он носит дорогие джинсы и свободные футболки темных оттенков, а также кожаный браслет на руке. И он интересен.

«Я как-то была на конференции в Феодосии, много лет назад, и заметила у нас одну интересную вещь среди молодежи. У людей постарше все иначе. За столиком в кафе влюбленные пары садятся не друг напротив друга, а рядышком. Те, кто просто играют в любовь, устраиваются так, чтобы длинная крышка стола со стаканами и пепельницей была между ними. Некоторые из таких пар либо просто еще недостаточно близки, или уже были близки и охладели, другие изначально строили удобный обоим тип отношений — через стол», — продолжала Ида.

Бенгт улыбнулся: «В Европе, все же большинство отношений через стол, в таком случае».

«Так вот, нас поселили в один из отелей среднего класса. Хотя в Крыму, по-моему, других и не бывает. Звездочки рисуют просто так, как и отметку на продуктах в супермаркете: "Без ГМО", однако, никто и не проверял, что там на самом деле содержится». — Бенгт внимательно слушал. «Был там один парень, чуть старше меня, через балкон. Он приехал не сам, с девушкой. Так иногда делают у нас, когда мероприятие проводится в интересном месте. Кто-то захватывает детей, кто-то — мужа и селит у себя в номере. Питаются, правда, они отдельно, — поясняла Ида. — Так выходило, что из всех жителей мини-отеля, где нам случилось остановиться, мы с ним были единственными, кто вставал рано, чтобы уже без двадцати семь выпить чашечку свежесмолотого кофе. Он часто присаживался за столик вместе со мной. Я пила свой латте, со смехом вспоминая ритмичный скрип кровати по несколько раз в сутки из их соседнего номера. Оказалось, что мы из одного города. Даже живем как-то поблизости. Разговорились о том, о сём. И вдруг он мне выдает: "Ты видишь, с какой 'Дунькою' я приехал?" — и кивает мне в сторону своего балкона. Намек был ясен. С этим брутальным типом мог бы выйти занятный курортный роман. Может, и даже чуть дольше, чем курортный. Вот только единственное, чего не могу простить мужчи-

не — это когда он обсуждает с другой женщиной ту, с которой спит. Путь она у вправду "Дунька". Я не считаю себя феминисткой. Это вопрос чести, что ли. Не думаю, что такое можно обсуждать».

«Негодяев, моя милая, хватает везде. И это мне дает кучу материала для книг, — Бенгт заказал им еще по чашечке кофе. — Позволь мне выбрать. Этот ты не пробовала. Он местный. Его варят только у нас», — пояснил он.

Ида кивнула.

«А потом меня рассмешила одна маленькая белокурая девочка, — продолжила она. — Они шли с бабушкой впереди нас во время экскурсии по городу. "Бабуль, а тапочки и вправду резиновые! Свобода!" — закричала она и влезла в первую попавшуюся лужу. В Крыму часто дождит. Погода переменчива и непредсказуема. Солнце сменяется тучами в течение получаса и наоборот. «Бабуля» в черном ластиковом сплошном купальнике, широкая и грузная, даже не повернула головы, беседуя с подружкой ее же возраста, но более седой и менее подтянутой, облаченной в цветной халат. Обе они, раскачиваясь на своих растопыренных ногах, исчезли в тени нависших над аллеей абрикос, а маленькая девочка слегка запаздывала, предоставленная самой себе, совершенно при этом не капризничая. На фоне повальной детской истеричности, невольно влюбляешься в эту худенькую белокурую малышку, и становится даже жаль, что никто из взрослых так толком нею и не занимается и вряд ли займется позже. В центральной части США (других штатов мне посетить не удалось) дети удивляют той необъяснимой нормальностью, которая была присуща нам лет тридцать-сорок назад. Но вряд ли это плоды японского метода воспитания. При всех удобствах глобализации, унифицированный подход в сфере раннего развития и более позднего образования совершенно губителен и неприемлем для многих наций, — говорила Ида. — Прививая веточку сакуры к яблоне, можно получить некую путаницу, либо отмирание не прижившейся плоти. Некоторым деревьям стоит оставаться дикими, сохраняя свою первозданную прелесть», — заключила она.

Бенгт взял Иду за руку и поцеловал. «Ты даже не представляешь, какие страсти у нас здесь бушевали при образовании Еврозоны, — мягко сказал он. — Однако, такие процессы иногда неизбежны, и в них есть свои положительные стороны. Например, ты здесь».

«Я рада быть наконец в Европе. Наверное, в Азию больше не поеду. Устала от этих полусырых кур, кишок в разогретом перце, утиной крови, сыра тофу и коровьего желудка, поданного в качестве деликатеса. Нет-нет, только не южные территории, — призналась она. — А ведь ранее туда так тянуло».

«Тебе нужно развиваться, — ответил Бенгт. — Ты еще так молода. У тебя все впереди. Сегодня я хочу познакомить тебя с братом — и родителями. Наконец они с тобой познакомятся. Я пригласил их — к нам на ужин», — добавил он.

Бенгт приготовил мясо и охладил вино. Ида занялась салатами. Она заметила, что Бенгт был больше похож на мать, нежели на отца, в отличие от его старшего брата. Ей вспомнился один забавный египетский конфуз, рассказанный ей одной новой приятельницей во время путешествий. Дело касалось немецкого репортера. Он гостил в Каире в рамках какого-то проекта и прихватил с собой мать, дабы показать ей мир. Когда его пригласили в дом, он спросил разрешения взять с собой и маму, чем вызвал смех у хозяйки: в Египте мужчина просит разрешения привести в гости мать только в том случае, если намерен просить руки этом доме. Здесь наведальась целая семья. Они были очень дружны и крайне вежливы. Почти идеал, и, казалось, очень понравились друг другу. Даже удивительно, что выходец из такой традиционной семьи оказался достаточно современен для развода.

«Скол», — поднял бокал его отец. Ида слегка вздрогнула: было неожиданным услышать это древнее слово, обозначающее что-то вроде нашего «за здоровье!»

Когда все разошлись, вновь начался дождь, и Иде показалось, что в характере Бенгта есть что-то от этого сизого ночного дождя. — И что она уже наверняка его любила.

Они занимались любовью всю ночь, и в каждом его движении чувствовалась некая глубокая осенняя грусть, окутанная сизой дымкой. А на утро Иде никак не удавалось открыть глаза. Казалось, что кровать стоит не с той стороны и она не могла узнать занавесок на окне. Звенел будильник, дважды.

«Тебе разве сегодня не на 9.00? — спросил муж раздраженно. Ладно, я сам соберу себе лоток. Ты что-то болтала во сне по-английски».

«О чем?», — спросила Ида сонно.

«Я не разобрал. Какую-то чушь. — И добавил: Нам вечером нужно будет серьезно поговорить».

«Мне в студию к одиннадцати сегодня», — вспомнила она.

«Опять твои фотографии. Учти, я против твоей Итальянской выставки. Вечно ищешь впечатлений».

Ида поднялась и подошла к окну, за которым никогда не было океана. Воздух был по-степному сух, и уставшие от жары ветви пролили дождя.

Когда муж ушел, она приняла утренний душ и привела в порядок свои длинные густые волосы, которые носила в конском хвосте. Съев бутерброд, Ида направилась в студию. У нее были назначены клиенты. После ряда фотосессий она по своему обыкновению открыла зарубежные утренние газеты, которые теперь были в онлайн доступе, и которые она регулярно читала в перерывах в качестве передышки и чтобы не забывать язык. Писали, что вчера вечером поэт и прозаик Бенгт ван Дайк совершил самоубийство, перерезав вены у себя в ванной осколком винного бокала.

Ида впервые слышала об этом имени в реальном мире.

Она оцепенела. По телу пробежала легкая дрожь. И вдруг стало невыносимо грустно.

Ида покопалась в старых фотографиях, сделанных когда-то за рубежом, и нашла парочку черно-белых голландских снимков. Она выбрала один из них, тот, на котором было звездное морское небо, что бывает там редкостью, и небольшая улочка, вся в ночной зелени, и сделала надпись: *«Я шлю тебе фото улицы. Идя по ней с тобой, я была тогда абсолютно счастлива. Один момент. Мгновение, за которое даже не успели смениться звезды»*. И отправила снимок в галерею в Амстердам.

*20 сентября, 2018 года*



## Надя ДЕЛЛАНД

*/ Москва /*

\* \* \*

Мерцающее утро. Долгий вход  
 в рассвет по затаившим радость крышам.  
 Зима молчит мелодией глухой  
 и, кажется, сама себя не слышит.  
 Но сразу видно — немота бела,  
 узорчатые лапки галок — звонки.  
 Кто ожерельем ходит по делам,  
 пустые не устраивает гонки.  
 Кто положил зерно на теплый люк,  
 тому простятся злые прегрешенья.  
 Не знаю, кто он, но уже люблю  
 его лицо, дыхание и шею.  
 Он шел во сне по зимней немоте,  
 чтоб накормить растрепанную стайку,  
 Он был Тобой, ходячий райотдел,  
 сосредоточенный на жизни сталкер.  
 Поцеловав повеселевших птиц,  
 сминал пакет и нес до ближней урны.  
 Свет замечал и начинал расти.  
 Иначе и не наступает утро.

\* \* \*

Ребенок с возрастом перестает нудить,  
 требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,  
 понимает, что мамы нету, что он один,  
 что она умерла, что какие шутки.  
 Вот он едет растерянный и седой,  
 в старом тертом пальто, с незастегнутой сумкой,  
 совершенно такой же уже, как до  
 обретения им рассудка.

\* \* \*

как же мне выжить если она смертельна  
жизнь на минуту раньше меня с запасом  
смелости умирают во мне растенья  
но постепенно чтобы не вся и сразу  
первыми с красноватой резной бравадой  
как оловянный солдатик нет деревянный  
так одноного сдержанными дровами  
огненно очень прямо  
и остается мелкая живность вроде  
мышки-полевки белки заблудшей кошки  
эти боятся смотрят так и уходят  
глядя с испугом можно конечно можно  
можно идти остается вода и рыба  
но и они замерзают и воздух с гулом  
выдохнув поднимается голем глыба  
памяти возвратилась ура проснулась  
все что я знала до вспоминаю после  
соединяю если менять местами  
если вдохнуть обратно весь этот воздух  
все оживут но снова меня не станет

\* \* \*

все солнечные дни открылись в ноябре,  
ноябрь из окна — почти что чашка чаю,  
аквариум теней, плывущих на ребре  
по воздуху, который соткан из печали

ну что же ты, начнись! с разбегом в сорок лет  
получится взлететь и в небе помаячить  
ну что же ты, очнись, тяни другой билет —  
кленовый, например, какой-нибудь поярче

не липовый, тяни, моя другая жизнь  
расходится вверху далекими кругами  
...по воздуху воды, минуя этажи  
и крыши, где рыбак всем рыбам помогает

\* \* \*

Пока Ты воскресаешь, я пеку  
куличики. Пока под плащаницей  
свет фотовспышки печатлеет лик,  
зрачки сужаются, теплеют сухожилья,

приметы жизни проступают сквозь  
заботливую бледность, я всыпаю  
по горсточке пшеничную муку,  
размешиваю с нежностью пшеничной.  
Тем временем ожившее болит,  
и голова, как будто бы кружился  
на карусели, замечая вскользь  
цветное и тенистое, вскипает,  
а я взбиваю высоко белки  
и погружаю в праздничное тесто,  
Ты растираешь пальцами виски,  
приподнимаешься и сходишь с места.  
И плащаница, за ногу схватив,  
проделывает ровно полпути  
по полу осветившейся пещеры.  
Свершившееся входит в область веры.  
И только что, как отодвинул смерть,  
сдвигаешь камень и выходишь в свет.

\* \* \*

Дождь, любивший меня по дороге к метро  
(говорила ему: если любишь — женись!),  
расплескал под ногами прозрачную кровь,  
серебрящуюся детородную слизь.  
Был и голубь под аркой, и ангел в окне  
с немигающим нимбом сырых фонарей,  
вот и я понесла, вот и зреют во мне  
подорожник, чабрец, зверобой и кипрей.  
Водяные от мужа скрываю глаза,  
засыпаю под утро и вижу во сне:  
стебельки и листочки ползут прорезать  
трафареты для жизни сквозь смерть.

## Григорий ВАХЛИС

/ Иерусалим /



### СЕНТЯБРЬ

Лучшее время — раннее утро. Насчет радиации и тому подобное. Но главное — на пляже никого. Пробежит одинокий атлет, или атлетка, еще не потная, в бирюзовом бикини. Вылазят на поверхность крабы, да и сам песок, реанимированный ветром и ночным прибоем, еще дышит. Я лежу рядом со своими брюками, явился на рабочее место на полчаса раньше — специально для этой вот бессолнечной ванны. Светило ненавижу. Будет давить весь день. Прохлада лишь в туалете. Обдашь его мощной струей из шланга, посидишь пяток минут на лавочке — метла, совок с длинной ручкой, гарпун для изымания из песка бумаги и пластика, а также экологического цвета форменная майка ждут-не дождутся меня за зеленой, исписанной похабщиной дверью.

На пирсе уже маячит этот тип. Отсюда трудно разглядеть, но я знаю — у него худые ноги, сутулая спина и тугое маленькое брюшко, похожее на резиновый мяч. Лысина, — хотя, если смотреть спереди, скорее плешь. Удивительные леопардовые плавки, — в начале лета их давали в киоске. Вечером он ходит «в город». Я всегда встречаю его на площади. Тут она одна. И почему-то всегда около телефонной будки. Вроде бы собрался кому-то звонить. Но в будке я его ни разу не заметил. Он — бывший «совок». Под сандалиями у него носки. Весь его «призыв» давно уже адаптировался и носит вьетнамки или «на босу ногу». Он пытается пользоваться костюмом — видно, так ему привычней, но жара берет свое, и пиджак, серый в клетку, повисает на согнутой клюшкой руке. Я знаю, где он живет — все они живут в «отеле», не таком уж, впрочем, дешевом. Платит Сохнут. У себя в «номере» он готовит на плитке, и пьет воду из крана.

По утрам он на пирсе. Смотрит в даль. Даль единственное, что здесь есть. За исключением бл\*дей — увлажненных, ухоженных и ужеленных. Есть и подешевле которые, в жидких кустах за диким пляжем, рядом с раздолбанной «Субару». Тяжкие черные патлы свисают на широко расставленные колени, а на коленях лежат усталые руки, в тачке курит «прораб». Утром они спят.

Он уже на посту. Стоит как-то не так. Люди смотрят на море. На теплоход. На телок. Смотрят вообще — как оно тут всё... в общем — недорого, по карману. Шашлычки-фалафели, пепси и кока-колы... Виски «Биджи 40». Ликеры «Драмбуй» и «Пина-колада».

А он смотрит в одну точку. А может и не в точку... Ветер приподымает седенькое колечко, шевелит его, — и это всё, что живо в нем...

Провинциальный бухгалтер-снабженец-товаровед? Золотой перстень с крошечным бриллианчиком в углу, нажитом полуправедными трудами, гастритом и бессонными ночами. Примерный семьянин с внезапными скачками «налево»...

Где же его шумливый выводок? Где жена в голубой соломенной шляпке, где дочери-зятя, внуки-внучки? Кофеварки-микровэли, вывезенные из Фастова ковры? Эренбург-Фейхтвангер и Графиня де Монсоро в синем с золотом переплете? Где пухленькие измазанные арахисовым маслом щечки, наманикюренные пальчики, золотоволосые зятьевы ноги, шумливые ссоры и застольные примирения, походы «в город»? Из-за горизонта уже полыхнуло белым электросварочным светом: железной необходимостью дышат уже накаленные солнцем совок и гарпун.

Толпы бредут вдоль набережной. Вечер. Тепленькая прохлада. Пахнет жратвой, побухивает музыка. Туго набитые витрины, безмолвная борьба вывесок, маргариновый дымок грилей, запах духов, лосьёнов и пота. Фонари с натугой отодвигают темноту к морю. Оттуда доносится сдержанное повизгивание и кашель. И вдруг — огромные, с кулак, золотые звезды в просвете полосатых тентов. Набережная кончается. Я машинально бреду дальше, шарканье, бормотанье и визг стихают, доносятся лишь низкие частоты и рев автомобилей. И тут ослабевшие глаза различают столик и две скамеечки, вросшие в песок. Вокруг шевелятся пластиковые упаковки из-под «Kfc&Ko», которые я подберу завтра утром, да блестит под звездами жестянка из-под «Red bull».

За столиком кто-то сидит. На столик не опираясь. Руки на коленях, знакомая плешь тускло отсвечивает под луной. «Накушался», — думаю я. Когда возвращаюсь назад, за столиком никого.

Он снова стоит на «пирсе». Сегодня я узнал его историю! Он — учитель истории! Но вчера случилось еще кое-что: в самый полдень, когда я шел «на обед», увидел его в кафе. Мимо неспешно прошуршали шины, и он тут же вскочил и, выбежав ну улицу, стал смотреть вслед — вероятно, услышал знакомый звук мотора.

Я взял себе сандвич с тунгой, майонезом и солеными огурцами, а к нему — бутылку «Маккаби» и выйдя наружу, устроился на парапете, в узенькой полоске тени. Жара достигла своего дневного пика, но здесь, на ветерке, все равно было лучше, чем там, где под грязно-желтым потолком вяло помахивал вертолетными лопастями вентилятор. Ледяное пиво сконцентрировало на миг растекающиеся мысли, и вдруг вспомнил — старое желтое «Вольво» принадлежало хозяину «отеля».

Ителла мне все рассказала: никакой не бухгалтер, а приехал с женой. У нее была депрессия и почки, а он за ней очень красиво ухаживал, цветы и все такое... А две дочери живут в Ашдоде. Очень хорошо устроились, приезжали раз или два. А она жила с ним в Хайфе, а потом тут, в «отеле», и устроилась тоже сперва уборщицей, а потом стала кастеляншей, и хозяйин... Ах черт, точно! Я тут же вспомнил, как однажды это самое «Вольво» остановилось вдруг на набережной, в нем сидел приятного вида седой пухлый человек и курил сигару. Из-за сигары я его и запомнил, но потом забыл. И к нему в машину села пожилая, пухлая блондинка, я еще подумал — русская. Она закурила сигарету. Я сидел на складном стуле и все видел, как они молча курили. У нее было очень белое лицо с мелкими чертами, и она вся подрагивала, когда, спотыкаясь на своих каблуках, торопливо шла через пляж от машины к пирсу с бутылкой «колы» и длинным сэндвичем в бумажном пакете.

Скоро придет зима, народу поубавится. Ителла окончит свои курсы и, сугубо по-деловому распрощавшись со мною, уедет в Тель-Авив, бл\*ди прекратят работу «на пленэре», да и мне пора подумать о себе. Последним что я увижу тут, будут полосы мусора на песке, сложенные в штабеля пластмассовые стулья и забитая досками дверь.

## ПРЫЖОК

Это случилось в провинциальной гостинице. Жена куда-то вышла, а сын играл на постели. Нераспакованные чемоданы валялись на полу. С улицы доносился шум и выкрики — под окнами был базар. Только что унесли оттуда темный липкий виноград и горячие лавашы в газете. Номер был полон духоты и гостиничной вони, я решил распахнуть окно. Скрипнула рама. Серый комочек мелькнул на заоконном карнизе, кольнули игольчатые глазки и мышь не раздумывая кинулась вниз. Потрясенный, я сбежал по лестницам — обнаружить маленький трупик — но асфальт был чист и горяч. Не веря глазам, взглянул вверх — за стеклами мне почудилось лицо сына. Медленно, ступень за ступенью подымаясь на третий этаж, лишившись вдруг сил, я добрал до постели, и рухнув на нее навзничь, закрыл глаза. За одну-две минуты увидел вдруг всю свою жизнь — мелкую, нерешительную и пустую.



## Галина КОМИЧЕВА

/ Киев /

\* \* \*

Так много дней уже не слышу я,  
как ангелы поют, как плачут дети.  
Жизнь наглухо закрыла от меня  
былую щедрость солнечного света,  
живую речь земли, воды, огня,  
неделю за неделей хороня.

Был беспределен некогда простор  
развёрнутого неба. Дождь молился  
о близости с людьми. Под свой шатёр  
манило дерево. И бесконечно длился  
реки со временем неспешный разговор.

Мне не вернуться к прежним вечерам,  
когда раскаты грома не пугали,  
когда закаты нежно обнимали  
края земли, когда соединяли  
в одно — «сегодня», «завтра» и «вчера».

\* \* \*

Январских вьюг причудливые вихри  
проносятся над белою землёй,  
Крещенские метели оживили  
деревню, задремавшую зимой.

Шальных ветров изломанные крылья  
по окнам бьют и знаками с небес  
рисуют тонкой серебристой пылью  
узоры кем-то явленных чудес.

\* \* \*

В том доме, где любили вас всерьёз  
за простодушие и за бестолковье,  
за то, что вас не донимал вопрос  
о смысле бытия, и всё такое,  
теперь живут другие, — наизнос,  
*крутыми*, неотложными делами  
по горло переполненные. С вами  
им недосуг о чувствах говорить, —  
им некогда и незачем любить.

\* \* \*

Куражный, беспризорный, дерзкий Март,  
так ветрен твой разбойничий азарт,  
так заразителен твой заполошный джаз,  
колтрейновых фантазий парафраз.

Куда как хороша твоя гульба,  
не для тебя житейская судьба.  
Эхма! недолог радости постой,  
размашистой, воистину мужской.

\* \* \*

*К. Р.*

Похоже, будет дождь... Угрюмый урбанист,  
тебе не нравится бывать в деревне,  
где музыку небесный органист  
сыграл бы на живых деревьях.

Сосед бы заглянул, без дела, просто так,  
зевнул бы невзначай и, рот перекрестивши,  
завёл бы речь о ягодных местах  
и о грибных — за лесопилкой бывшей.

Он мастер безыскусно говорить,  
как дождь осенний, как закат с рекою...  
Ему так просто удастся жить  
в божественном блаженстве и покое.



## Ася УМАРОВА

*/ с. Пролетарское /*

### ЭПСИНЕЙ

Это ее тапочки рядом со ступеньками. Она, Эпсине́й, никогда так ровно их не ставила. Каждый раз, когда я прохожу мимо них, то складывается ощущение некоего ее присутствия в доме. Они сейчас как-то послушно причалили к берегу, но без того невидимого паруса, который так неугомонно развевался и жаждал направлений. Без того... бунтарского налета. Наверное, Эпсине́й показалась всем странноватой, когда еще в школьном сочинении написала, что мечтает быть, как Льюис. Помните, напарница Мерфи из фильма «Робокор»? Быть полицейским и получить этот значок копа. Ей хотелось швырять им перед начальством, демонстративно снимая с груди, как в фильме, когда кто-то был против каких-то ее действий в отношении бандитов. Льюис, причмокивая, жевала жвачку и нахально надувала шарики, которые смачно лопались. Тогда еще восьмилетнюю Эпсине́й приводило в дикий восторг осознание того, что она, как и Льюис, будет мчаться защищать людей на большой скорости в этой громко сигналижающей машине, где за рулем будет самый настоящий робот и она в брюках, в бронжилете, с оружием и в странноватом космическом шлеме. Эпсине́й постоянно цитировала в сочинениях фразы из фильма: «Служить обществу. Защищать невиновных. Соблюдать закон» или «Живой или мертвый, ты пойдешь со мной». На фоне остальных детей, которые мечтали «быть полезной учительницей, как, вы, Петимат Саламовна» и «быть доброй, как морщинистые руки моей бабушки», она, конечно, казалась невероятно крутой и дерзкой.

Поэтому из всех родственников Эпсине́й предпочитала общение с дедушкой Хамдуллой. Почему? Просто дедушка напоминал какого-то сказочного персонажа или героя из фильмов. Кирзовые сапоги, брюки галифе, черный плащ с капюшоном. Ритмично напевая себе под нос что-то вроде «тит-тири, тит-тири, тит-тири» и кокетливо поглядывая на свое отражение в зеркале, он опускал шляпу к бровям.

Иногда он размахивал кулачками и подплясывал. В ее детстве дедушка Хамдулла мчался, как ненормальный, на бричке, точно как эта Льюис из фильма. Эпсинею еле удавалось удерживать шляпу дедушки на голове, когда ветки яблоневых деревьев бились о его лицо в каком-то саду, где он работал сторожем. Вернее, стаж работы шел другому человеку, а ему нужны были деньги помимо пенсии. Дедушка Хамдулла рассказывал, что именно в этом саду он когда-то встретил настоящую анаконду. Ну, такую, по толщине, как пластмассовая двухлитровая бутылка из-под «Pepsi». И Эпсинею искренно надеялась, что в одну из поездок они все-таки встретят эту анаконду, и тщательно разглядывала траву под колесами брички, когда их неожиданно сильно подбрасывало. А если запрокинуть голову назад и открыть рот, то можно ловить лучи солнца. Еще дедушка Хамдулла рассказал, что однажды прилег на плащ и очень крепко заснул. Да, он все время любил спать, и днем и ночью, и даже перед телевизором. Как-то он закемарил, когда показывали фильм «Свадьба в Малиновке» с чеченской озвучкой. Как раз актеры отплясывали под лезгинку. Резко пробудившись, хитро оглянувшись по сторонам, он заявил: «Ну, дают чеченцы! Ну, танцуют!» И заснул, придвинув поля шляпы к глазам. Точно как киллер из фильма «Леон», который засыпал в очках сидя. Ну, так вот, под плащом дедушки Хамдуллы однажды оказалась настоящая змея.

— Йо-олооооо! — только и смог протянуть дедушка от удивления, привстав и встряхнув плащ, а змея лениво уползла. А бабушка уверяла, что он все это придумывает. Да, чтобы показать и доказать ей в первую очередь, какой он сильный и храбрый. С какими трудностями ему приходится бороться и то, как совершенно не ценят домашние его подвиги и колоссальный труд. «Исталин пирказ...» — начинались все истории дедушки для Эпсинею, но она ничего не понимала. Как и не понимала, почему он в саду отпуская лошадь и подолгу стоял, разглядывая в небе облака или горы — и от этого его глаза наполнялись слезами. Эпсинею казалось, что он плачет оттого, что никто в селе не верил ему и все только смеялись над его историями со змеями. Думали, что он стар и поэтому немного помешался в сознании, в мыслях. Поэтому она мечтала, когда станет немного старше, соорудить экспедицию по ловле анаконды в их селе, точно, и на ее голове обязательно будет шляпа, как у ведущего Сергея Супонева из программы «Зов джунглей». Тогда все поверят, что дедушка Хамдулла был прав — и это вовсе не его фантазии.

Во время войны Эпсинею позвала меня посмотреть фильм «Титаник». У ее тети Кукушки... на самом деле, ее зовут по-другому, просто по обычаю мама Эпсинею не может называть всех родственников по именам из уважения. У тети Кукушки был мотор для подачи света — и когда она доставала откуда-то бензин, то всегда звала Эпсинею и они смотрели фильмы. В тот день в село привезли трупы, и тетя Кукушка еле успевала ходить по домам и выражать соболезно-

вания. А кто-то ездил в Ингушетию за продуктами и пропал. И вообще, у многих продукты закончились. И всем было страшно от бомб и всего происходящего, но только не Эпсией и не мне. Мы плакали навзрыд, просматривая «Титаник». Нам стало так искренне стыдно, что мы никогда не слышали об этом корабле и о тех людях, которые погибли. Мы с неистовым рвением дружно влюбились в Леонардо Ди Каприо и с такой же неподдельной яростью возненавидели Кэйт Уинслет, которая осталась жива, когда можно было бы спасти его. В память о Ди Каприо Эпсией попросила сделать точно такую же стрижку, как у Леонардо, у сельского мужского парикмахера. Но так как волосы ее были густые и кучерявые, то получилась очень смешная прическа. Пришлось ходить в шапке, пока волосы немного не отросли.

Когда Эпсией исполнилось тринадцать лет, то родители дали ей немного денег и разрешили купить из сладостей все, что она захочет. От такого великодушного жеста ей снесло крышу. И когда она составляла список гостей на день рождения, выяснилось, что половина подруг выехали с семьями в Ингушетию, в палаточный городок, или в Дагестан. Ну, а остальных родители не пустили вечером, хотя они жили через пару улиц. Просто побоявшись обстрела. Пришла на день рождения только одна девочка, с которой они постоянно дрались на перемене. Но когда они вышли за покупками, над окраиной улицы кружило два вертолета. Эпсией от страха упала на колени и стала быстро ползти по грязи. А ее подруга от увиденного громко засмеялась, перекивая вертолеты. Эпсией не удержалась и тоже захохотала. Они лежали на мокрой земле, в грязи, и смотрели на красные вспышки огней под вертолетами, которые летели в город. И не могли остановиться от смеха. Так они пролежали еще долго. На выделенные родителями деньги они смогли приобрести только мармелад, так как все уже давно раскупили до них. Эпсией нагрела чайник на печке, подкинув дрова, и они ели зеленый мармелад в сахаре, уютно устроившись у керосиновой лампы.

А вообще, именно в этот период Эпсией жутко поправилась. Да и некоторые новогодние подарки для детей, которые оставила у них одна начальница, основательно подпортили ей жизнь. Почему-то глава их села сказал, что подарки получают дети от шести до двенадцати лет, но потом выяснилось, что подарков пришло меньше, чем предполагалось. И старшие дети остались без подарков. А один из ребят не упускал возможности подколоть Эпсией, что она все их подарки съела сама и поэтому так растолстела. Хотя это было совсем не так. И, вообще, Эпсией была невероятно добрая. Не верите? Когда ей было шесть лет, то папа ей пообещал, что если она выучит молитву на арабском языке, которую читают на кладбище, то он повезет ее в священное место святыни Хеды. И все, чего бы она ни попросила после молитвы, якобы исполнится. В то время как двоюродные сестры просили купить им годовую подписку на курс француз-

ского языка «Ешко», поездку в «Дисней ленд», набор куклы «Синди» с кухней, Эпсией, оказавшись там, попросила сестренку, воду в село и скорейшего возвращения дяди из Тольятти, где он потерялся еще до распада Советского Союза. Но все, что исполнилось из перечисленного списка — это вода, которую действительно спустя двадцать четыре года провели в село.

Вообще, Эпсией очень нравился их семейный культ возложения ответственности исполнения каких-то задач на других. В этом было столько магии и волшебства и отсутствия обязательств, что это ей всегда импонировало. Одна родственница из соседнего села во время войны передала их семье какое-то морское существо, которое напоминало прозрачный гелеобразный блин бежевого цвета. Иногда на поверхности проявлялись какие-то пузырьки, что демонстрировало жизнь. Нужно было загадать желание и опустить существо в глубокую и широкую, как поднос, тарелку и залить водой. Если желание исполнялось, то рядом с этим существом появлялось на свет еще одно. Новорожденного передавали другим — и эту цепочку ни в коем случае нельзя было оборвать. Но шли дни — и ничего не происходило. А эта родственница сказала, что если через неделю не будет пополнения, то уже надо выбрасывать. Прошло десять дней, но морское существо не собиралось размножиться. А наоборот, от него стало нести запахом кваса и пузырьки больше не появлялись. «Как до нас доходит очередь, так вся магия заканчивается!» — воскликнула мама Эпсией и выбросила его.

— Если в этом доме живут моржи, то я не виноват, если таким не родился! — восклицал грозно Бибиси, папа Эпсией, и на всю мощь добавлял газ в котле, скидывая с себя три свитера и туфурку. При этом он широко шагал, как будто нарочно делая большое расстояние между шагами.

— Так ходят только по-настоящему свободолюбивые люди! — подытоживал Бибиси в ответ на удивление окружающих.

А еще Бибиси хватал за руку и ногу Эпсией и подкидывал вверх, вниз, крутил вокруг себя, восклицая: «Эхе-хей! Будешь космонавтом!?» Он, словно метлой по паласу, выбивал из нее вместо пыли трусость и зажатость.

Сельчане прозвали его Бибиси за чрезмерное любопытство к тому, что происходило в мире. Единственная новость, которую он, в буквальном смысле, проспал — отставка президента. Он настолько разочаровался в своей осведомленности, что неделю старался ни с кем не разговаривать. В гневе он выгнал Эпсией за забор и закрыл на ключ ворота. А она долго оставалась на улице босиком и всем любопытствующим и вопрошающим сельчанам отвечала, что на самом деле сейчас очень полезно ходить босиком и это помогает предотвратить плоскостопие.

Кстати, моржом была мама Эпсией. Малкан, мама, была немного полновата. Больше всего на свете она была помешана на посуде.

И все их долги были связаны исключительно с покупкой многочисленных сервизов, чашек, кастрюль, ложек, бокалов, фужеров. Во время войны Малкан не давала членам своей семьи прятаться в подвал. Вместо этого они все вместе спускали туда коробки из-под гуманитарной помощи, куда была бережно сложена посуда. А бомбежки переживали в коридоре, укрывшись матрасами. Малкан редко что рассказывала о прошлом. Она всегда думала только о настоящем, насущном и необходимом. Эпсинею больше всего поразило, что когда-то Малкан кроме посуды любила одну кошку, которая жила с ними в доме в Казахстане. И когда депортированным народам разрешили вернуться домой, то мама Малкан, грозно притопнув, запретила взять кошку в дорогу. Дорога длинная — и она бы не смогла перенести столько дней в поезде. Малкан попросила всех соседей, чтобы они присмотрели за кошкой. Кто-то даже согласился забрать кошку домой. И первым делом, приехав в Чечню, она отправила по почте письмо соседям. Выяснилось, что кошка не захотела ни с кем жить и две недели просидела рядом с их домом. Ничего не ела, а потом и вовсе умерла. Видимо, с тех пор Малкан решила не привязываться ни к кому живому.

Как-то Малкан выиграла конкурс, поездку во Францию. Одна из кастрюль, приобретенных ею в известной фирме, оказалась победной и решающей. Но в посольстве ей сказали, что им кажется, что она собирается остаться во Франции, как, собственно, поступают многие ее земляки. «Вы что, совсем тут с ума посходили?! Плевала я на вашего Жака Ширака!» — сказала гордо Малкан. Видимо, услышала эту фамилию из уст Бибиси. «У нас сейчас не Жак Ширак руководит страной, а другой человек», — только и сказали в окошке. «А мне все равно! Вы что думаете, я свою Эпсинею тут оставлю ради этой Франции?!» И в фирме, посоветовавшись, вручили Малкан какую-то другую кастрюлю, чтобы не расстраивать. А во Францию отправили вместо нее одноклассницу Эпсинею. Через неделю ее мама пришла к Малкан, раздумывая от счастья и хихикающая невпопад. «Украла дочку мою! Затащили в машину, затащили силком. Ее же и здесь сватать приходили. Она и кольцо давала в знак согласия. Она такая счастливая звонила мне из Франции. Уже свадьба прошла вчера», — выпалила она. Малкан грустно посмотрела на Эпсинею. А Бибиси сказал, что это все она придумала, так как во Франции запрещена кража невест. И их посадили бы в тюрьму или завели уголовное дело. И они все это придумали, чтобы оправдаться перед той семьей. Малкан немного стало полегче, но вечером она все равно занервничала, и чтобы успокоить себя, пошла в ларек и купила две новые сахарницы.

Когда Малкан не вернули пару пиалок с каких-то похорон, то она попросила Эпсинею пометить лаком посуду, и это заняло несколько дней. На этом Малкан решила не останавливаться и сходила к одной бабушке, которая поджигает волчью шкуру, что-то там при-

говаривает и может найти вора. И если кто-то виновен, то он начинает толстеть и увеличиваться в размерах. Малкан сходил в мечеть и объявила всем, что если ей не вернут пиалы и люди не признаются, что пиалы были разбиты или сворованы, то никто не сможет ее остановить. Конечно, ни один человек в их селе не раздувался до таких размеров, но всем стало очень страшно. Убедить Малкан смог лишь Бибиси:

— Ты пойми. Горящая волчья шкура не будет разбираться в юридических нюансах и во всех тонкостях виновности. А вдруг мы просто не досчитались пиалы? И как в этом магия разберется? Мы растолстеем и все над нами будут смеяться?!

А помнишь, Эпсинея, когда бы я к тебе ни приходила, ты с гвоздями в зубах, взобравшись на стол, а затем на стул, немного покачиваясь, прибывала к стене то ковер или картину, то занавески? У вас в доме было много сломанных стульев, столов, так как ты часто падала, не выдерживая головокращения из-за пониженного давления. От тебя тогда муж ушел к другой женщине, которая «любила выходить на улицу с кастрюлями и тряпкой, демонстрируя хозяйственность». Ты так всегда подчеркивала. А помнишь, когда ты была маленькой, увидела у соседки коллекцию пуговиц в огромном тазике? Вернувшись домой, ты сняла все пуговицы с одежды Малкан и Бибиси и довольная встречала их с тазиком, наполненной пуговицами. А соседи, увидев в вашем зале большую библиотеку, включились в твою же игру и закупили много всяких книг. Только вот книги пылились на полках, производя впечатление только на гостей, но в самом доме их никто не читал. А помнишь, ты всегда напевала песню «Forever young»<sup>1</sup> группы «Alphaville», а я предпочитала песню Шерил Кроу «Run, baby, run»<sup>2</sup> с оттенком активизма. Да, нас считали старомодными, но ты всегда ценила в песнях именно чувства.

Твои тапочки, Эпсинея, прибились к берегу моих ступенек. Вместе с остальной обувью, которая томно дожидается своих хозяев. Только вот твой путь завершился. Они напомнили мне лодки, которые рано или поздно нас покинут. Знаешь, когда твоя мама раздавала одежду... ну, потому что так принято — отдавать вещи усопших родственникам, то я взяла именно тапочки. Мне кажется, они напевают мне сейчас, как когда-то ты: «Forever young, I want to be forever young.

Do you really want to live forever?  
Forever — and ever»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> «Вечно молодой» (англ.).

<sup>2</sup> «Беги, детка, беги» (англ.).

<sup>3</sup> «Вечно молодой, я хочу быть вечно молодой. Ты точно хочешь жить вечно? Вечно» (англ.).



## Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

*/ Санкт-Петербург /*

\* \* \*

Как широкий свитер складчатый,  
Снег на городе повис.  
Кто лежит — свернись калачиком,  
Кто идет — остановись.

Хлопья крупные, просторные,  
Лица бледных фонарей.  
Кто подумал слово вздорное —  
Проглоти его скорей,

Кто замыслил дело лютое —  
Позабудь его навек:  
И сердца, и стены кутает  
Шерстяной мохнатый снег —

Не спеша, спокойно, истово.  
Ты усни — и я усну.  
Не иначе, кто-то выстрадал  
Этой ночи тишину.

\* \* \*

Сядет на краю двора-колодца  
Девочка-зима с веретеном,  
Улыбнется —  
и перевернется  
Ресторан, аптека, гастроном.

Снег, как будто вылетев из рая,  
Закружит, помедлив на краю,  
И часы на башне заиграют  
Ледяную музыку свою.

И пойдут описывать кривые —  
Хлопья, отделившись от стены,  
Точно так же — тихо, как живые,  
Мертвые заходят в наши сны.

Бабушка стоит за пирожками,  
Очередь колеблется, как дым,  
Двигаемся малыми шажками,  
В незнакомой комнате сидим,

Второпях готовимся к ночлегу,  
Пахнет лесом от пучка травы,  
И строка про вещего Олега  
Струйкою течет из головы.

Ты ли меня спрашиваешь, я ли  
Отвечаю, но в глазах рябит,  
Руки зябнут, и пододеяльник,  
Туго накрахмаленный, скрипит.

И опять, процеженный сквозь ветки,  
Опротью, тенью по стене,  
Как ладонь, слетевшая на веки, —  
Только снег в окошке, только снег.

\* \* \*

Не давай мне спать, Господи, не давай мне спать —  
Тряси меня за плечо, хлещи по щекам —  
Потому что дымятся проталины, и отверста пасть  
Геенны, и время в руке тяжелеет — хоть монету чекань.

Потому что заголившаяся земля  
Пахнет женщиной, и прозрачная голова  
Ветра наклоняется, надувая щеки, пыля,  
И горит трава,

Водосточные трубы выблевают талый лед,  
И по веткам бегут зеленые огоньки,  
Едва дотронешься до руки — и вот —  
Слова уже пылятся, ненужные, как коньки.

\* \* \*

Гнутся шеи фонарей, как ковыль-трава,  
И летят из-за морей сизые слова,  
Солнце медлит на краю голубиных крыш,  
Ветер дует, я горю — но и ты горишь.

Гнутся шеи фонарей, как трава ковыль,  
Обними меня скорей через много миль.  
Посреди кирпичных рощ, каменного сна  
Ночь застегнута на брошь яркого окна.  
Смуглый тополь гол и тощ, как подъемный кран,  
Молодой голодный дождь бродит по дворам.  
Монотонные шаги слыша до утра,  
Мы с тобой, как угольки, догорим дотла.

\* \* \*

Щеголь, плут, лицедей, книгочей,  
Говорливый, как вешний ручей,  
Острослов, остролист, сердцелов,  
Певчий дрозд, потрясатель основ,  
Пересмешник, Федот-да-не-тот  
В переливах тягучих пустот  
От Архангельска до Костромы,  
Часовщик, балетмейстер зимы,  
Собутыльник живых — и теней  
Побратим, женолюб — не верней,  
Чем Эней, не странней, чем иной  
Сумасшедший в стране ледяной, —  
Старый, юный, везунчик, двойник,  
Шелестящий — не тополь — тростник:  
Затрепещет — хоть плачь, хоть пляши,  
И ромашка торчит из души,  
Точно воткнутая в снегу.  
Отмахнуться бы — да не могу.

\* \* \*

Беспричинное счастье — до слез —  
Газировкой, ударившей в нос,  
Под ногою блеснувшим осколком,  
Крытым рынком, лиловою челкой,  
Под которой изогнута бровь,  
Первым дымом зеленых костров  
На ветвях, неприрученным эхом  
В одичалом дворе, где проехал  
Мотоцикл, воробьями в песке,  
Лавашами в грузинском ларьке, —  
Пыльной улицей прущее счастье, —  
Где подростки на роликах мчатся,  
Неожиданное, как жизнь,  
Вдруг нахлынувшее — держись!

\* \* \*

Вот он плывет над нами — призрак, Бессмертный полк,  
В гулком «Ура!» — как будто грохот «Катюш» не смолк.  
Дедушки черно-белые, глянцевого отцы,  
Ветер лижет их лица — на палочках леденцы.  
Все мы на запах Победы слетаемся, как на мед,  
И мертвецы над нами тихо плывут вперед,  
В будущее. Молчали деды — придя с войны.  
Внуки пригубят крови дедовой — и пьяны,  
Столько ее разлито — рядом ли, вдалеке —  
Все мы стоим по шею в теплой ее реке.  
Волны ее упруги: здесь, посреди реки,  
Все поневоле братья, на берегу — враги.  
Завтра пойдут колонной дети — и встретит их —  
Черной икрой ОМОНа площадь: не для живых!  
Вот сгорят они в танке, примут последний бой —  
Мы их наденем на палки и понесем над собой.  
Будем любить их нежно, в мутном глазу — слеза,  
Будем любить их — павших, ну а живых — нельзя.  
Вязкое солнце льется, брызжет багряный шелк.  
Главная наша надежда — мертвых засадный полк.

\* \* \*

Как я люблю вас, современники,  
Чьи косточки еще не ломаны,  
Не знающие бед, ремейками  
Злодейств — не согнанные толпами

В подвалы. Мальчики и девочки,  
Люблю вас, петеньки и катеньки,  
Еще не ссыпанные — мелочью  
Из волосатых лап — на каторги.

Как я люблю вас, современники,  
В тенечке ждущие под соснами,  
Когда из вас навяжут венники,  
Когда засыплют вас доносами,

Напишут «ВРАГ» большими буквами,  
Везя дорогами разбитыми  
Туда, где вы, почти не пуганы  
И, в сущности, почти не пытаны,

Пред окровавленную стенкою  
Погасите улыбки-лучики.  
Как я люблю вас, современники,  
Мои случайные попутчики!



## Наум ВАЙМАН

/ Тель-Авив /

### ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ «ХАНААНСКИЕ ХРОНИКИ. АРХИВ ТРЕТИЙ»

6.7. 2000

Подхватил Бренера с Барбарой на перекрестке, покатали в Ерушалаим. Значит, он уже два года живет в Вене, с этой Барбарой: метр восемьдесят, лошадь-манекенщица с ангельским личиком, даже губки влажные, лет тридцать. Они вдвоем книжку выпустили «Вас ис дас радикал-демократише культур?» На трех языках. Борются с фашистом-Гайдером<sup>1</sup>. Подражает Лимонову? Бренер энергично опроверг, мол, для Лимонова политические игры — это спектакль и строительство «культурного» (в смысле места в культуре) имиджа, этакого писателя-сорвиголовы, а для него, Бренера, это серьезно. Вообще он немного поседел и ссутулился, бойцовская стойка профессионального дворового драчуна как-то сгладилась, сутулость перестала быть вызывающей, в яркой поджарости уже появился намек на стариковскую сухость, «р» во рту рокотало с неожиданной мягкостью (картавые демократические приобретения?), а если добавить к этому легкую гнусавость, а также удлинившийся нос (из-за дополнительной сутулости линия от плеч к носу стала уж совсем чуть ли не «чего изволите-с»), то итоги можно подводить неутешительные: борьба за радикальную демократию не пошла волчаре на пользу. Хотя, конечно, он все еще был мужик хоть куда, хоть в пи\*ду хоть в Красную армию, и я Барбару понимаю. И одобряю. Среди немцев такой экземпляр теперь и не сыщешь, нацию вычистили.

По дороге они наперебой (Барбара прекрасно говорит по-русски, учила достоевского-шмостоевского и несколько лет жила в Питере, личико ну просто ангельское) рассказывали мне о борьбе с Гайдером, фашистом проклятым, порядок, понимаешь, заводить

---

<sup>1</sup> Йорг Гайдер (1950–2008), австрийский политик правого толка, лидер «Австрийской партии свободы», которая в тот период боролась за власть в стране.

вздумал, цветные ему, понимаешь, не нравятся. Я робко вступился за европейский неофашизм, мол, не хотят немцы или французы в ислам переходить (а ведь заставят!) или менять цвет кожи (а ведь за\*бут!), «во-во!» дружно воодушевились они, «и Гайдер тоже самое утверждает». До меня все-таки дошло, что сочувствие Гайдеру выказывать нельзя, они так и из машины на ходу выскочат. Благо мы уже подъезжали к Тарасову. Как раз к пяти, ровно.

У Тарасова сидел Зелинский с лицом изможденного Иисуса, «хавали» суп.

— Сам сварил! Но вам не дам, ха-ха-ха!

Тарасов был слегка возбужден, видимо, после дозы.

— Мне надо похавать. Если я перед Птахом не похаваю, я не знаю, что со мной будет. Потом придется оливковое масло заливать, желудок лечить. Мне обещали травку и экстази!

Может это радостное возбуждение от предвкушения?

— Вы не представляете, как меня сегодня наркота за\*бала!

С утра толкуются тут, только сейчас спровадил.

Реверансы Бренеру и Барбаре были самые дружеские.

— Я ужасно рад, что ты приехал! — Тарасов нежно подержал Бренера за локоток. Вернулся к супу. Выпили оставшееся пиво. Бренер с Барбарой решили выйти, купить пива. Принесли большие желтые банки.

— Бля-ать! Чо ты принес! Это же суррогат! Никогда не покупай вот такое, с медведем, никогда!

Опомнившись (дареному коню в зубы не смотрят), Тарасов все-таки поблагодарил Бренера за щедрость и хлопоты.

К Птаху, а тот просил прийти пораньше, «пообщаться», пока гудеж не пошел, шли через тесные проулки средневекового гетто. Нахлаот — это улей. Здесь нет домов, квартир, здесь просто соты, налепленные друг на друга, кубистический пейзаж, местами покосившийся, местами оплывший. У Птаха две комнатухи и махонькая кухня (напомнило «дачную» нищету Пепперштейнов в Неве Цедеке, но там хоть Вика, цветочки в углу, в общем, благотворное влияние женщины, а тут — мерзость запустения, «плюем на все», но при этом классная акустическая система, горы дисков, изысканные книги: китайская поэзия, французская философия, скорее нора неряшливой богемы, чем благородная нищета художника. И слишком много (на мой вкус) психоделического... Начали с легких жанров: пиво, красное вино (я принес), постепенно утяжеляя: бренди, водка, подходили гости, в комнатухах уже стоял плотный запах марихуаны, обсуждали какими снадобьями продолжить («не, это не бери, потом трахаться слишком хочется...»), пошатываясь, вылезали на крышу («Петя, — говорю, — у тебя пентхауз?!»), на крыше валялись рваные одеяла и ножки от табуреток, напротив, через дорогу внизу, где Ган Сакер, видно здание Кнессета, правее — Верховного Суда, садилось солнце. Кто-то забил в бубен, кто-то застучал на гитаре, запел. Мы,

старики (Тарасов, Бренер, Вайман), сидели во дворике, Бренер ораторствовал о тотальной коррумпированности, требовал «отрефлектировать все элементы социальной иерархии», мол, и художники все коррумпированы («вот и ты, — уел он Володю, — торчишь тут на хляву и упиваешься поклонением тебе, как мэтру»), разъяснял свою «радикальную демократию»: надо дать высказаться низам, прозвучать музыке рабов, «вот у рабов нет коррумпированности», про анархию заливал, на Фуко ссылался. Ну, а я ему: освобождение от рабства — плохой способ борьбы с коррупцией, рабов надо покрепче привязать к веслам и не сюсюкать по поводу их несказанной музыки. Барбара заскрипела зубами. Тарасов куда-то исчез, когда вновь вышел во дворик, то, облокотившись, как Герцль на перила балкона, надолго застыл. Просто застыл. Потом раздался вопль на весь квартал: «Бля-аать! Как я торчууу!» И дикий смех колокольчиком. После чего поэт оторвался от перил и радостно затопал ножками, что-то вроде веселого танца «торчок». Но его сильно шатало, и он опять схватился за спасительные перила. Бренер был трезв, они с Барбарой только пивка пригубили, и, кажется, голоден. Предложил пойти поесть. Я тоже протрезвел, смешно сказать, ну выпил полтора стакана вина, ну погорланил во дворике на разбитой гитаре «Ты жива еще моя старушка» — все в ужасе разбежались, осталась одна некрасивая девушка... Протрезвел и помрачнел. Пир на празднике чужом. Тут были ничего девушки, но я им годился, ну, если еще не в дедушки, то уже и не в папы, в общем, эх-ма, ладно, пошли пожрем-с. Мяса?! Бренер что-то неопределенно промычал насчет мяса и мы тронулись.

— А меня что, не берете?! — возмутился Тарасов.

Он оторвался от перил и чуть не перемахнул через них.

— А как ты себя чувствуешь? — участливо спросил Бренер.

— Я в порядке, я в полном порядке.

И мы пошли вчетвером обратно на Агриппу. Тарасова по дороге мотало, один раз он даже почти упал, присел этак на тротуар.

— Сейчас. Отдохну.

— Рассуждаешь ты еще здраво, — говорю, — но двигаешься уже неуверенно.

Он усмехнулся. Присели у «Сами». Володя, пошатываясь, пошел заказывать, он чувствовал себя хлопочущим хозяином. Принесли салаты и пиво. «А мясо?» — говорю. «Мы вегетарианцы», — произнесла Барбара трудное русское слово. Ладно. Закусили. Володя мучил лицо: скалил зубы, рычал — все беззвучно. Два раза чуть не упал со стула. Таким я его еще не видел. Разговор не пошел, да и так все было ясно. Я сказал, что буду в августе в Тироле, пригласили в гости, обменялись телефонами и «емелями». В полдесятого я отчалил.

А вообще Бренер личность магнетическая. Настоящий «боец невидимого фронта», вот, у которого, что называется, «рука не дрогнет». Сегодня эта порода вырождается, пора ее заносить в красную

книгу. И ведь чем приходится заниматься: обс\*рать музеи и малевать доллары на Малевиче. Или вот черному пролетариату подмахивать. Подлое время...

И не прав я, что он «ссутулился», может физически и так, но пружина жива, только еще круче, еще опасней завинчена. Всю ночь он мне снился...

### 7.7

Жена:

— А ты знаешь, я почитала Бренера и мне понравилось.

— Да? Что же тебе понравилось?

— Ну, ясно, что человек хочет сказать. И современно.

Взял я их «манифест»:

«Призрак бродит по планете — призрак радикально-демократической культуры. То в анонимном рисунке палестинского граффитиста, то на институциональной выставке в Вене, то в маргинальном чикагском журнале, то на рабочей демонстрации в Мексико-сити (ну да, он же сказал, что переписывается с сапатистами) — то тут, то там — возникнет вдруг изображение или текст, криком кричащий или спокойно констатирующий: «радикально-демократическая культура — в действии!

Все силы неолибералистического сообщества, все скрытые и явные агенты глобализированного капитализма едины в священном порыве затравить этот призрак... А что же сами радикальные демократы? Каков их собственный язык, то есть какова их собственная клокочущая истина? Какова их идентичность, то есть каковы их способности к сопротивлению в момент, когда ничто уже не может служить рецептом: ни дохлый ситуационизм, ни измордованный внутренним большевизмом РАФ, ни экспрессионистский постструктурализм Делёза, ни параноидальный, хоть и героический Унабомбер, ни двусмысленная «субверсия» восьмидесятников, ни двурушническая левизна Жижика и его адептов? Пора уже «мастерам» и «мастерицам» радикально-демократической культуры передо всем миром открыто изложить свои взгляды и свои намерения, представить свою теорию и свой праксис и противопоставить сказкам о призраке либерально-демократической культуры осмысленную и четкую позицию. С этой целью встретились в стерильном и мертвенном пупке Объединенной Европы — в право-консервативном городке Вене — две революционные кошки по имени Барбара Шурц и Александр Бренер, и составили текст, который вы сейчас читаете».

Это, конечно, не Маринетти, но... И в чем же, блин, их «клокочущая истина»?

Здесь одни жуют маслины,  
А других клюют павлины.

Здесь одни едят кокосы,  
А других съедают осы.

Пулю в дулю:  
Меть в бабулю.

Или:

Всюду смертельная инъекция!  
Всюду электрический стул!  
Всюду одна дезинфекция  
И дискотеки разгул!

Вместе, вместе —  
Как волосы в тесте!

Или:

Да здравствует солидарность кривых,  
Убогих, безногих и полуживых!  
Крепите цепи эквиваленций!  
Влепите боссам под жопу коленцем!

Бум! Бум! Бум!  
Что за шум?  
Это панки  
Штурмуют банки!!!

Или (последнее в книге стихотворение):

Деньги. Сон. Стакан. Подтирка.  
Прыщ. Спагетти. Корridor.  
Утро. Бритва. Ложе. Стирка.  
Деньги. Член. Рубашка. Сор.

Ухо, горло, нос!  
Сиська, писька, хвост!

Последняя строка жене особо понравилась.

Все это перемежается разъяснениями «актуальной политической и культурной ситуации мультикультурализма», «несоизмеримости двух миров, двух культур — угнетателей и угнетенных» и объяснениями «почему преодоление исторического образа государства всё еще актуально — и даже более чем когда-либо».

Ну и, конечно, антиглобализм: «Глобализация, то есть интенсивное разбегание капитализма в разные стороны, создает мировую экономику, базирующуюся на космополитическом ограблении всех трудящихся...»

Почему я так разболтался-расцитировался на тему «Бренер»? Он чудовищно косноязычен, словесные приемчики избиты, но в речи

есть энергия, напор, наглость. Его мягкая тигриная повадка завораживает, почти сексуально. Даже Тарасов готов вильнуть хвостиком. И эта жажда крови и насилия, жажда бунта... Эх, была бы страсть, а уж господ ли к стенке ставить, или рабов распинать вдоль дорог — кто подвернется.

Одной ли мы крови с ним? Нет, пожалуй. Мне кажется у него с юмором слабовато. Атрофирован. Вот и глава есть в манифесте «Серьезность и несерьезность»:

«Нам резонно возразят: а разве современная культура действительно серьезна? Разве не хихикает она и не паясничает, разве не идиотничает и не корчит рожи? Разве не боится, как смерти, трагического?..»

Тоже вот, хоца трагического...

Позвонил Володя:

— Тебе было интересно?

— Да, Бренер, конечно, интересный малый...

— Он один из последних интернациональных бойцов. И из самых умнейших людей, каких я знаю. А Барбара — какая умница! Как философию знает — за\*бись!

— Да... Надеюсь, мы еще пообщаемся.

— Обязательно, обязательно пообщайся...

— Хотя, в какой-то мере я интерес к нему утратил. Знаешь, когда еврей начинает искать «пролетариат», жаждущий, по его мнению, освобождения, а если нет пролетариата, так он вместо него найдет чернокожих, «загорелых», палестинцев, в общем, угнетенных...

— Ты зря с ним про политику!

— Ну, во-первых, он политикой занимается. А во-вторых, дело не в этом. Он мне показался неискренним.

— Неискренним?!

— Ну да. Силушку некуда девать, хочется мирового пожару, это я понимаю, только не трепись мне про угнетенных, освобождали уже, пошло это. Да они ж его первого, на ближайшем фонаре, под «музыку рабов» и повесят, и правильно сделают. К тому же он литературно — уникально бездарен.

— Да, это верно. И он это знает. Но зато какие у него были перфомансы!

## 8.7

Позвонил Винокур, пригласил, могу и привести, кого захочу. Может ему Бренера подсуропить?

А Бренер все-таки из головы не выходит. Вот утром взял с полки Карла Поппера (искал, что Озрику на день рождения подарить) и старый еврей таки надоумил: перед нами типичный враг открытого

общества. Это же про Бренера: «эстетизм и радикализм должны привести нас к отказу от разума и к замене его безрассудной надеждой на политические чудеса». Но тут же и оправдывает: «сила древних и новых тоталитарных движений... основана на том, что они пытаются ответить на вполне реальную социальную потребность». А может, не столько социальную, сколько психологическую? Поппер, конечно, заикнулся на нацизме и коммунизме, что не удивительно, однако дело не в тоталитаризме, и даже не в социальной потребности. Ведь сам пишет: «открытое общество постепенно может стать тем, что я хочу назвать "абстрактным обществом"», в котором люди «живут в анонимности и одиночестве», а следовательно, в несчастье (!). И на чём же он основывал свои надежды на «лучшую жизнь» в «открытом обществе»? Основные тезисы: «ты прежде всего интеллект» (таков, якобы, был ответ Сократа) и «вера в человека». Ну, «вера в человека» вообще не выдерживает никакой «научной критики», не говоря уже о том, что тут Поппер проваливается в столь чуждые его сердцу нищезанятие и большевизм. А вот «ты прежде всего интеллект» — это программа. И пугающая. Ведь интеллект — это машина (тут не может быть не только «нравственности», но просто человеческой теплоты). То есть пока в человеке еще теплится «органическая жизнь», пока у него еще бьется сердце, пока помнит о роде и племени, о любви и страхе — не дорос он еще до настоящего «открытого общества». Оно, настоящее, наступит, когда у человека ничего кроме интеллекта не будет функционировать, атрофируется, или будет удалено. Славная перспектива...

### 10.7

Бренер живет у родителей, иногда у бывшей жены с сыном. А Барбара нашла приют у какого-то сатаниста, поклонника Мейсона. То есть он и поклонник Бренера, написал ему и пригласил. Барбара говорит, что он тихий. Но видно, что она побаивается, и вообще не очень довольна решением жилищного вопроса.

Гольдштейн, услышав, что я общался с Бренером, очень оживился, даже как-то засуетился, мол, очень хочет с ним встретиться, «записать беседу». Я обещал передать. Спросил его насчет рецензии для Морева. Он сказал, что сейчас «завален». Опять же книгу пишет.

В три ровно (с немецкой пунктуальностью) позвонил Бренер. Они в Тель-Авиве, с Володи. Договорились, что я через полчаса подъеду к фонтану на Алленби.

Бренер с Барбарой стояли у столика кафе, под тентом, у них был вид людей добровольно принявших муки. Впрочем, мучилась вся Юго-Восточная Европа: в Бухаресте — 42, в Афинах — 46, в Турции тож, везде пожары. У нас еще ничего, где-то 35, только влажность процентов 75, парилка. Володя вылез из фонтана, шата-

ьясь и отряхиваясь, как мокрая собака. В фонтане сидело еще несколько юных пар: обнимались, целовались, иногда вяло брызгались. Решили поехать в Яффу. В порту сели в кафе у кораблика, заказали пиво и салаты. Обращаясь в основном к Бренеру, я начал с того, что публичный обсерватор музеев и порча шедевров — это акты террора против созданной системы ценностей в культуре: то есть, они за террор? Барбара спокойно, но твердо возразила, что террор в этом смысле существует и с другой стороны, со стороны «господствующих классов», которые навязывают свою систему ценностей. Она держала себя подчеркнуто отчужденно, как я ни старался игриво улыбаться ей, чуть ли не подмигивать, как ни подталкивал к ней тарелку с любимыми ею маслинами. И чем дальше, вширь и вглубь, уходил спор, и чем откровеннее становились мои высказывания, тем очевидней и враждебней её неприятие. «Да-да», обрадовавшись «жесткому» ответу, поддержал ее Бренер. Не люблю мужиков-подпевал, а пуще того — баб-идеологов, и уж совсем ненавижу сухих, как волны, революционных дамочек, и возникло желание вывести их на чистую воду, доказав либо лицемерие, либо философскую несостоятельность. После первой кружки я решительно углубился в антропологию, после второй — вдохновенно взмыл в небеса ритуала и мифологии, и постепенно спор приобрел характер пьяненького базара (Бренер, и особенно Барбара, а он на нее оглядываясь, были трезвее — обошлись первой кружкой), мы уже перекрикивались вперехлест, я с Барбарой, Володя с Бренером (так и сидели, крест накрест). Бессмысленность спора толкнула меня на мстительность: я сказал, что книгу их прочитал, но мне было неинтересно. В конце концов спорить подустали, да и все уже было съедено-выпито, меня окончательно (приговор не подлежал обжалованию) записали в романтики, что на их либерал-демократише фене есть синоним фашизма. Пошли на мол. До заката было еще далеко, воздух туманился душным маревом, теплый, влажный ветер налетал с моря и гнал волны на камни, поднимал их и бросал, как беспрекословных солдат на лютые стены, любуясь вместе с нами своей жестокостью. Я присел на камни, Володя вздумал купаться, прям здесь, между волнами и камнями, я сказал ему, чтоб не дурил, еб\*ет о камни, в лучшем случае будет бо-бо, Бренер с Барбарой ушли дальше, гулять по молу со стороны бухты, он был усижен рыбаками, а когда вернулись, присоединились к моим уговорам, в конце концов Тарасов в море не полез, пьяный-пьяный, а кумекает. Предложено было поехать чуть южнее, за мыс, там пляжи, и искупаться. Я согласился, хотя возникло ощущение, что ситуация себя исчерпала. Да и жарища-духотища... Пока шли к машине, Барбара все решительней склонялась к тому, что купаться ей не хочется. Опять же — медузы. Потоптались в неопределенности и решили разбежаться. То есть я поехал домой, а они еще пошли куда-то пешком (от моих услуг в качестве перевозчика отказались), Тарасов обещал показать какую-то тайную бухту, где нет медуз. Договорились, что поедем все вместе к Винокуру.

## 13.7

Позвонил Володя.

— Мне понравилось, как ты говорил, ты меня даже удивил, очень внятно. Они тоже это отметили. Даже Барбара сказала, что на этот раз ты говорил интересней, чем тогда в машине. Тот ваш контакт им не очень понравился. Ну, Барбара вообще считает тебя фашистом.

— Да-да...

— Ну какой ты фашист, ей-Богу.

— Да уж... Чья б корова мычала.

— Аа, ха-ха! Да! Надо было Барбару подколоть!

— Тем, что Гитлер был австриец? А вообще-то, спор был не так уж интересен. Во-первых, Барбара — настоящая фанатичка. А с Бренером разговор не получается, потому что он... неискренен, выскальзывает. И все время на нее оглядывается. У меня сложилось впечатление, что он ее боится. Я думаю, он от нее очень зависит.

— От ее отца.

— От отца?

— Ну, он деньги дает на книги.

— Аа. Ну, тем более. Зависит кругом. И женщина она ничего, трудно оторваться, и житуха в Вене, контакты, она ему дает возможность выйти на европейскую публику.

— Да при чем здесь контакты, он всемирно известен. Я недавно читал книгу какого-то англичанина, 98-го года книга, и он уже о нем упоминает, о Бренере.

— Конечно, чтобы измалевать Малевича никаких контактов не надо, и сразу станешь знаменитым, и о тебе будут писать. Но если заниматься идеологической пропагандой, издавать книги, тут совсем другое дело.

— Может, ты и прав.

— А вообще, они симпатичные ребята, с ними интересно. Так что к Винокуру пойдём?

— Нет, Бренер сказал, что он не хочет. Его же не пригласили.

— Так я сейчас позвоню Винокуру, он его пригласит!

— Нет, он не хочет. Да и ни к чему. Ну подумай, Винокур же урла, настоящая урла, и там такая публика соберется, фашисты, один к одному...

— Да уж! — засмеялся я.

— Короче, ни к чему это.

— А ты сам-то пойдешь?

— Пойду. Понимаешь, что еще тяжело с ним, с Винокуром, он давит, на глотку берет. Да и физически давит, думаешь: скажешь нет, он тебе кулачищем как врубит, ласты откинешь.

— Да, — я хмыкнул. — Может ты и прав, что не стоит их к Винокуру... хотя это было бы интересно, на ринге они бы неплохо смотрелись.

# Н. СОЛОГУБ

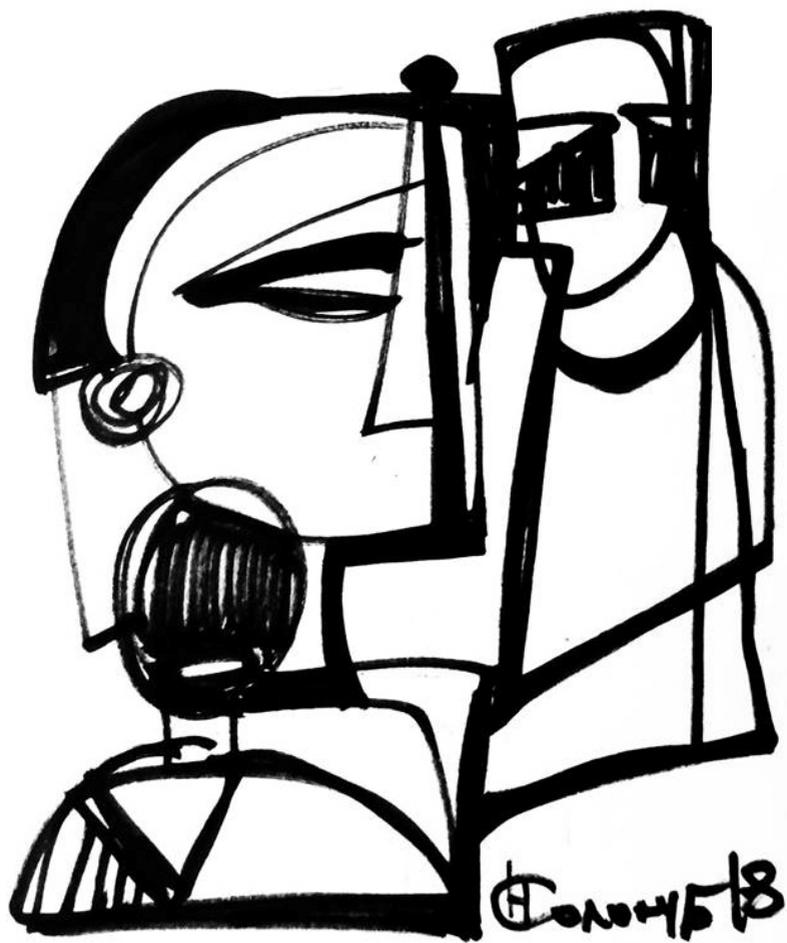
/ Киев /



## О ХУДОЖНИКАХ

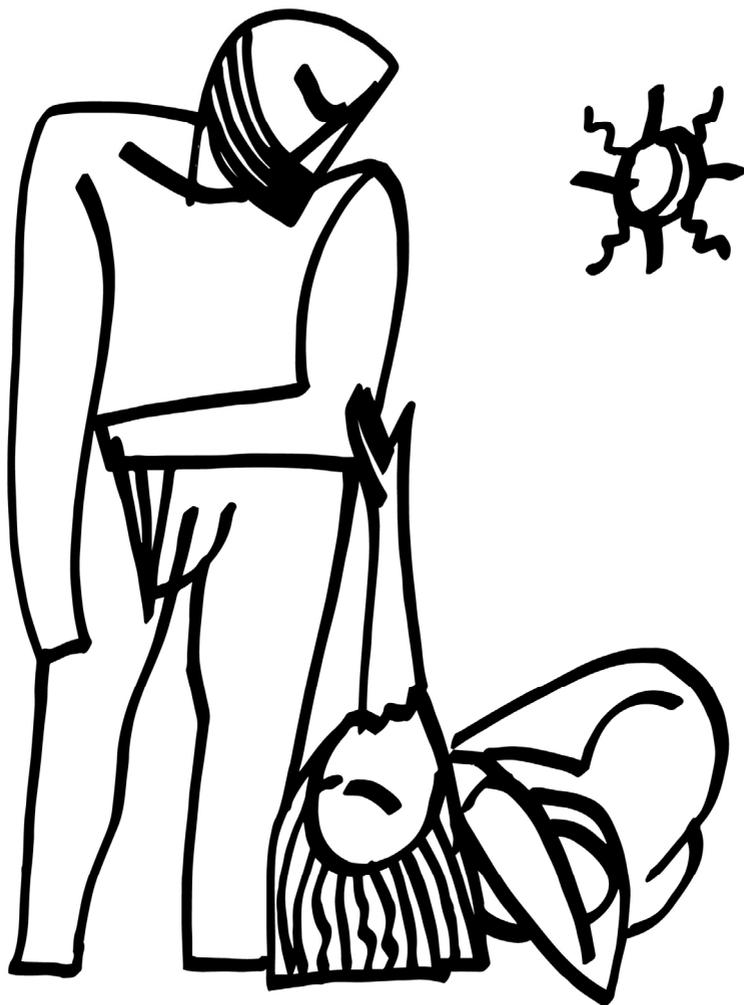
Когда меня спрашивают о сущности современного художника, я склоняюсь к причудливому, футуристическому мнению. По внутренней структуре он должен быть высоким специалистом в этой области. Мне он видится абсолютно убедительным во всех доступных творческих проявлениях. Безусловно, это не только, визуальные направления в искусстве, но и смелое участие в литературных, поэтических и музыкальных проектах. Современный художник как клапан, сдерживающий повседневное псевдокультурное давление, как фильтр в системах подвоха маскирующегося под творческие проявления. В противном случае, при отсутствии требуемых компонентов, невозможно будет бороться с человеческой косностью, мракобесием и провинциальностью культивирующих путь в мрачное средневековье. Другими словами, художник может и должен трудиться во всех этих сферах, в знак доказательства того, что естественная среда окружающая нас вполне может не быть агрессивной. Если с изложенной доктриной достигнуто внутреннее согласие, то теперь талант и разум должны контролировать наши руки, руки — клешни для управления могучей силой искусства. Теперь мы Творцы! Художники с большой буквы, с длинной кистью и с закрепленными крыльями на своем теле! Осталось только использовать кисть и надежно закрепленные крылья в соответствии с вышеупомянутыми идеями. Потом затягиваем злободневную песню, звеня предполагаемыми эксцентриками на мягкой губе. Еще приклеиваем гибкий шланг к своему копчику, чтобы предотвратить рост хвоста во избежание опасного процесса одичания и скатывания в пучину невежества, присущего хрупким душевным организациям. Выкрикиваем в противоположное отверстие с резьбой поэтическую подборку. Завершая чтение, медленно привязываем страусиные перья к шлангу. Затем надеваем разноцветный нимб-шапочку на верхнюю часть головы и становимся в полный рост во внутренней части мастерской напротив холста. Творим, придерживаясь вышеупомянутых постулатов!



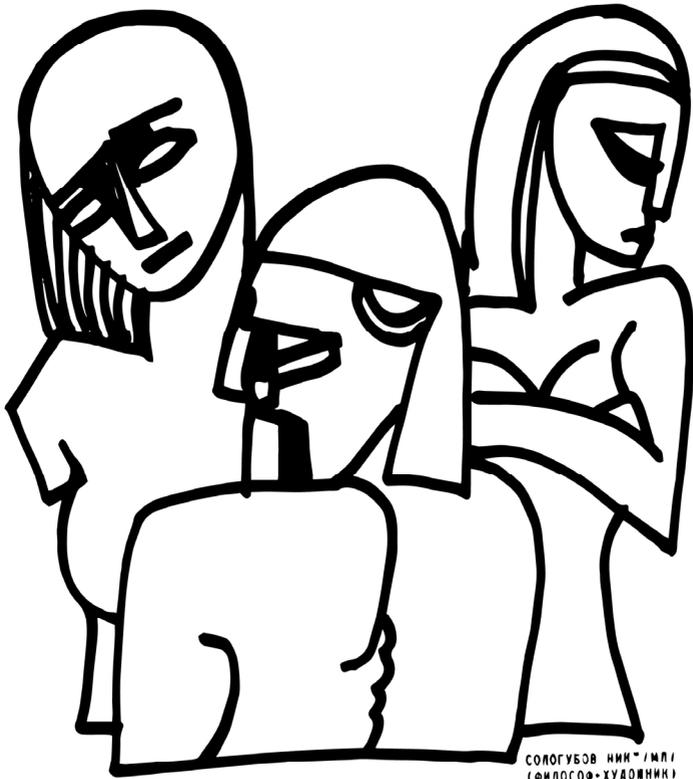




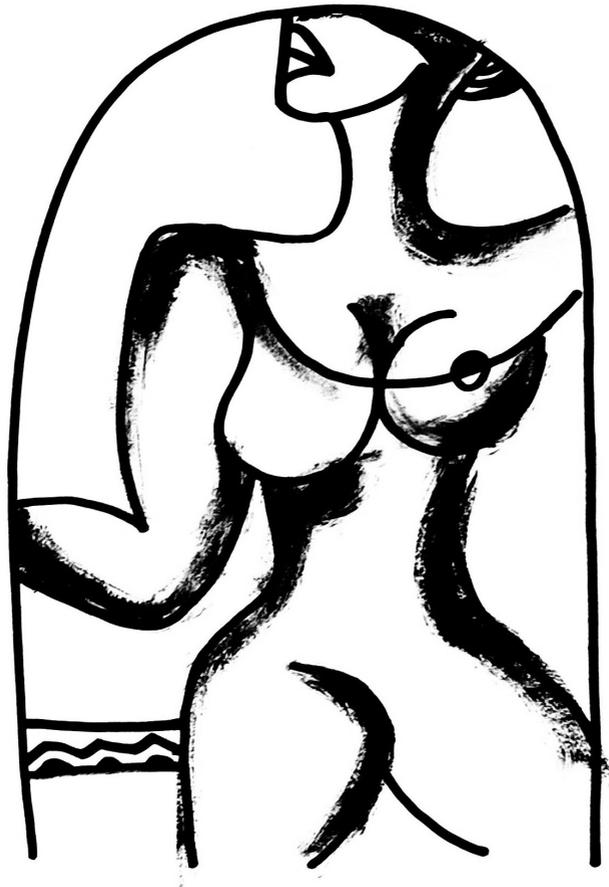
СОЛОГУБОВ НИИ" (МЛ /  
- философ-художник)



СЛОГУБЭВ. НИК" / МЛ /



СОЛОГУБОВ НИИ\* /МЛ/  
(ФИЛСОФ-ХУДОЖНИК)  
Т-4162064-4160542-





СОЛОГУБОВА ИЛИН\* / МЛ. /  
1. ИЛЮСТРАЦИИ  
3-4162004 4160542-



Dono 1/8 13



СОЛОГУБОВ . НИК " / МЛ /

# Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



## ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?

Вот уже полгода ничего не пишу.

И, как всегда, с молодых лет, когда не пишется, страх, что — навсегда.

Пушкин (конечно же, Пушкин! что не приключись, является в памяти) тоже страшился, когда стихи *не шли*.

Осенью 1835-го отправился в Михайловское с единственным намерением — писать, но Музе на этот раз не жилось с ним в глуши лесов сосновых.

Он отчаивался: соблаговолит ли, успеет ли еще когда посетить его?

Он чувствовал встречное дуновение старости.

Знакомая крестьянка сказала ему: «А ты, мой кормилец, состарелся, да и подурнел». Он привел ее слова в письме к жене, прибавил: «Хорош никогда не был, а молод был».

Той *бесплодной* (его слово) михайловской осенью ему было тридцать шесть. Но в графике его жизни возраст — поздний. Оставалось ему *гулять на свете* пятнадцать месяцев.

Мое стариковское время рушится стремительно, как водопад.

Расстелил постель, застелил постель — и снова пятница (моя нынешняя шутка).

А я полгода не пишу.

Снял с полки объемистую книгу в зеленом переплете — антология русской поэзии. Открыл наугад — что выпадет? Можно не поверить, решить, что подгадал. Но, право, так было. Выпала Каролина Павлова, единственное взятое в антологию ее стихотворение: «Моя напасть! мое богатство! // Мое святое ремесло!..» Стихотворение о том, что — *не пишется*: «Проснись же, смолкнувшее слово! // Раздайся с уст моих опять...»

Но — не раздается. Сажу в кресле, подремываю (это я, прежде и по ночам спавший лишь коротко), ворочаются в голове какие-то сюжеты, слова являются, хорошие, нужные слова, но отчего-то непреодолимо далекими всякий день оказываются эти некогда привычные несколько шагов до *верстака*.

Вспоминаю известный образ: часы, у которых стрелки отделены от механизма. Маятник качается, шестеренки цепляют одна другую, но на циферблате не является время.

Может быть, я уже слишком многое успел написать из того, что хотел? Может быть, каждому человеку для работы пером, как и для всякого иного жизненного поприща, назначена хронологическая граница, которую не дано переступить?

Когда-то я подсчитал, что оказался старше всех героев «Войны и мира» за исключением Кутузова. Теперь — годы промелькнули — уже и Кутузов далеко позади. Кутузову в книге — под шестьдесят, за шестьдесят. Шестидесяти шести Кутузов покидает книгу (и этот свет: «...Делать больше было нечего... И он умер»).

Старый фельдмаршал у Толстого — очень старый. И внешне, и внутренне. Всё познавшая старость и совершенная опытность жизни (читаем у Толстого) с их как бы изначальным пониманием того, что было, есть и будет, побуждавшие его без участливого интереса, даже с презрением относятся к уму, чувству, знанию окружающих.

Любопытно, каким бы стал Кутузов в «Войне и мире», если бы Толстой писал книгу в семьдесят лет, а не в неполных сорок.

Как сказано, семьдесят лет — прекрасный возраст, но понимаешь это в восемьдесят.

(Впрочем, об этом, кажется, я где-то уже рассуждал и шутку эту приводил...)

Теперь шестьдесят (возраст Кутузова) для меня — возраст моих детей.

Хороший современный писатель, недавно отметивший свое шестидесятилетие и посвятивший этому событию специально написанный текст, заглядывая вперед, выводит с ужасом: «90 — число ледяное. Тут комментарий бесполезен. Не только люди и их дела, но и память о них, и сами слова замерзают, не выдержав оцепенения небытия».

А я сажу в кресле, подремываю и радуюсь закату (у меня окно на запад): золотое, как угли в печи, небо и тянущиеся по нему синеватые облака. И страдаю, что уже полгода не пишу. Сюжеты толкутся в голове, манящие подробности описания, сменяя одна другую, являются в воображении, хорошие слова поспевают и перо просится к бумаге, но какая-то сила, может быть, вот эта познавшая опыты жизни старость, не пускает к рабочему столу.

Сижу.

Дремлю.

Воображение из подробностей и слов лепит что-то странное, пока не вполне понятное.

Думаю: надо бы всё же записать кое-что. Хорошо сохранить подробности и слова такими, какими они выходят из печи, пока не остыли. Когда надеешься удержать их в памяти, а потом начинаешь разогревать, обычно многое теряется.

Всего-то и нужно подняться из кресла, сделать шаг, выдвинуть средний ящик стола, достать записную книжку.

Вместо обычных записных книжек я использую толстые общие тетради календарей. Всегда одинаковые, в темно-синем дерматиновом переплете.

Пишу я в них авторучкой с пером, ручку наполняю чернилами из флакона (чернила «Пеликан» так называемого «королевского синего» цвета). Ныне такую обычную ручку с насосом для чернил (недорогую) стало купить трудно: в продаже по большей части ручки, которые заряжают готовым патроном, уже заправленном чернилами.

...Мысли и образы тревожат, взбадривают меня.

Я выдвигаю ящик, в котором всё мне известно, из которого я всякую мелочь могу тотчас достать наощупь, и — застываю крепко схваченный неожиданностью.

Посреди ящика, поверх календарных тетрадей в темно-синем дерматине, лежит черный пистолет.

Обыкновенный пистолет ТТ, точь-в-точь такой, с каким я расстался шестьдесят шесть лет назад, когда закончил военную службу далеко на Севере, на том недлинном участке границы, где Россия соседствует с Норвегией.

Я смотрю на пистолет — и чувствую его памятью руки: ладонью, локтем, плечом; в памяти слуха звучит хлопок выстрела.

Летом там, на Севере, долгие белые ночи. Солнце будто играет с людьми в какую-то космическую игру: движется над горизонтом и не уходит с небосклона.

...Изумленное узнавание сменяется тревожным неведением: что же мне теперь с ним, с этим пистолетом, делать?

Надо, конечно, тотчас отправиться в полицию (незаконное хранение оружия — штука рискованная), сообщить о странном происшествии. Но в полиции не очень-то верят мистическим историям, хотя постоянно с ними встречаются; там, в полиции, предпочитают логические построения.

И правда. Если в ящике стола оказался пистолет, значит кто-то его туда положил.

Допускаю, что, оказывая опасливое почтение *ледяной* цифре моего возраста, полицейский чиновник одолеет профессиональную подозрительность и поверит, что — не я. Володя младше меня на двадцать с лишним лет, его непричастность к творящемуся в мире злу несравненно труднее доказуема. Но главным подозреваемым без сомнения окажется двадцатисемилетний внук Левочка, милый, добрый мальчик; он работает в университетской научной библиотеке. Я-то знаю, что Левочка и под дулом пистолета не возьмет пистолет в руки (получился каламбур), но знаю также, что въедливого полицейского господина рассказами о нравственных воззрениях юноши, о душевном его вегетарианстве, даже о принадлежности к движению «Мир без оружия» — не убедишь. Господину из полиции нужно только одно: понять, как пистолет попал в ящик моего стола.

Входит Володя.

«Подымайтесь, — говорит он. — Пошли пройдемся. Смотрите, какой вечер. А вы будто навеки погребли себя в вашем кресле».

«Какие прогулки! Тут такое!..»

Я рассказываю Володе про пистолет.

«Любопытно...»

Володя не удивляется. Он убежден, что в нашем несмотря на все достижения человеческого ума или благодаря им еще неизведанном нами мире *возможно всё* (он это постоянно повторяет).

«Можно посмотреть?»

Володя подходит к столу, достает из ящика пистолет, взвешивает его на ладони.

«Тяжелый».

Со щелчком вынимает магазин.

«А из него уже стреляли. Одного патрона не хватает».

«Ну вот, — говорю я. — Лишние сложности в полиции».

«Какая полиция? Не хватает только с полицией связываться».

К государственным и общественным учреждениям Володя вообще относится с прохладой и недоверием.

«Что ж мне теперь заряженный пистолет у себя оставить?»

Тревога томит меня, я начинаю сердиться.

«Может быть, мне бумаги пистолетом прижимать? Вместо пресс-папье. Чтoб ветром не унесло».

«Да вы не волнуйтесь, — успокаивает меня Володя. — Какое пресс-папье? Закопаем его в саду. И все дела».

«В саду!.. — Для моей тревоги это слишком просто. — Потом захочешь выйти в сад, а у тебя под ногами — пистолет!.. Еще и собака унюхает, разгребет землю...»

«У нас нет собаки».

«Ну, лошадь...»

Хотя лошади у нас подавно нет.

«Хорошо, — охотно соглашается Володя. — Бросим его в канал. Скоро стемнеет. Перед сном отправимся на прогулку — и бросим. Там, на дне, полно железного хлама. Помните, когда чистили канал, одних старых велосипедов вытащили штук двадцать. А еще и тележки, украденные из супермаркета...»

«Весь этот сюжет как-то напоминает «Нос» Гоголя».

«Что поделаешь, — говорит Володя. — Сказано ведь, что все мы вышли из его шинели».

"Из шинели, — ворчу я, — а не из носа".

Раскаленные угли за окном покрываются серым пеплом, по небу расплзается мрачная синева.

Возвращается из своей библиотеки внук Левочка, милый, добрый мальчик. Заглядывает ко мне в комнату.

«Ну, что, дед, всё сидишь, думаешь?»

«Сижу, милый, думаю».

«И о чем же ты сегодня сидишь-думаешь? Если не секрет, конечно».

«Секрет, конечно, — стараюсь я попасть в тон. — Но одному тебе, по секрету: сижу-думаю про пистолет».

«Что еще за пистолет?»

«Черный. Тяжелый. ТТ. В магазине одного патрона не хватает...»

«Какая мерзость... — Левочка морщится. — Вокруг столько замечательных тем. А ты зарылся в кресле со своим пистолетом. Отстаешь от жизни, дед».

«Ну, это с какого бока посмотреть, — не соглашаюсь я. — Может быть, я, как раз наоборот, порядком ее обогнал...»

Неширокий канал протекает через парк; по берегам канала стоят старые платаны и клены, их могучие стволы будто изваяны из камня. В солнечный день дорожки под густыми раскидистыми сводами старых деревьев похожи на «аллеи в Альбано», которые любили писать русские художники первой трети девятнадцатого столетия, жившие в Италии. Вечером, когда темно, берега канала неярко освещены желтыми фонарями (фонари в аллеях парка желтели уже сто лет назад у Ахматовой).

Мы с Володей подходим к серому гранитному парапету. Володя, как обычно перед началом всякого дела, начинает раскуривать трубку. Занятие это не быстрое: зажигалки у Володи дешевые, работают скверно, он долго щелкает ими, меняя одну на другую, пока табак как следует затлеет и задымится.

(Мне хочется для красоты написать, что черная маслянистая вода в канале казалась застывшей, что в ней, покачиваясь, слабо отражались звезды, но я понуждаю себя отказаться от этого намерения.)

Поблизости никого, только в конце аллеи зелеными светлячками мелькают огоньки на ошейнике выгуливаемой собаки.

Володя достает из кармана куртки пистолет, завернутый в плотняный носовой платок.

«Я его бензином на всякий случай протер, чтобы отпечатков пальцев не осталось», — говорит Володя.

Мне вдруг становится жалко расставаться с пистолетом, жалко пистолет, который обречен теперь ржаветь на грязном дне канала.

«Кончай скорее, — говорю я Володе. — Пока нет никого».

«Добро», — говорит Володя.

Он перегибается через парапет и — не бросает пистолет, а, медленно раскрыв руку, бережно выпускает его в воду, будто это и не пистолет вовсе, а освобождаемая на волю живая рыба. Пистолет, соскользнув с его ладони, ныряет в глубину; даже кругов не появляется на черной маслянистой поверхности воды.

Володя снова долго щелкает зажигалками, раскуривая погасшую трубку.

Мы отправляемся пройти вдоль канала. Вокруг по-прежнему никого. В темной воде, покачиваясь, слабо отражаются звезды. Тихо. Только в конце аллеи — «Юта! Юта!» — какая-то дама с неразличимым в темноте лицом звонким голосом вытребывает завозившуюся в кустах собачку.

«Вчера команда штата Юта выиграла у Милуоки. Два — ноль. Напрасно вы упрямы и не стали смотреть. Красивая была игра». Володя не пропускает по телевизору матчей первенства Америки по футболу (сокеру).

Мы решаем непременно отметить особость минующего дня в чреде однообразных дней, нами проживаемых

Ни я, ни Володя оба уже (почти) не пьем, каждый по своей причине.

По дороге домой мы заходим в кондитерскую на углу нашей улицы и заказываем кофе, мне с яблочным пирогом, Володе с кремовым тортом (он сладен), и клубничный пломбир (Володе двойную порцию).

Чашка кофе на ночь никогда не мешает мне благополучно и быстро заснуть. Если, конечно, я пью ее с яблочным пирогом, а не с беспокоящими мыслями и накопившимися в душе тревогами.

Вдруг в дверях слышится звонкое: «Юта! Юта!», — и в кондитерской появляется дама с собачкой. Седая благообразная дама в клетчатом пальто, никак не похожая на чеховскую героиню. И собачка какая-то бесформенная, с всклокоченной шерстью, так что, если бы не поводок, сразу и не поймешь, где у нее голова и где хвост.

Дама останавливается на пороге и внимательно оглядывает всех сидящих с зале.

Привычное подозрение быстрым движением сжимает мне сердце.

«Как ты думаешь?,,» — тихо спрашиваю я Володю.

«Возможно всё, — пожимает плечами Володя. — Возможно, она знала про пистолет еще до того, как вы обнаружили его в ящике».

«Не так громко!» — умоляюще прошу я, больше глазами, чем голосом.

«Если она мисс Марпл, — Володя и не думает говорить тише, — то нам от нее всё равно никуда не деться».

Дама приближается к прилавку, просит с собой две булки с изюмом и с пакетом в руке снова направляется к двери. Собачке не хочется покидать теплое помещение, наполненное запахами вкусноты, она упирается и пронзительно лает.

...Небо за окном уже почти совсем темное.

...«Ну что, дед, всё про черный пистолет сидишь-думаешь?»

Внук Левочка, милый, добрый мальчик, заглядывает ко мне в комнату.

«Всё про пистолет, миленький, всё про пистолет», — стараюсь попасть я в тон.

«И что же ты придумал хорошего?»

«Понимаешь, пистолет возникает ниоткуда, а потом исчезает, неизвестно, навсегда ли».

«Ты что-то мистиком становишься на старости лет, — смеется Левочка. — Ноткуда, никуда... Я сегодня тоже пистолетами занимался: написал письмо американскому президенту с требованием запретить свободную продажу оружия. И это, дед уже не мистика, а реальность».

«Ну, и что президент? Запретит теперь?»

«А куда ему деваться?»

Я выбираюсь из кресла, подхожу к книжной полке, беру книгу в зеленом переплете.

Открываю где откроется.

«О, вещая душа моя! // О, сердце, полное тревоги, // О, как ты бьешься на пороге // Как бы двойного бытия!..»

Право же, опять не подгадывал. Но, может быть, подгадал. Пальцы уже изучили книгу, бессознательно чувствуют нужную страницу.

Так у Лермонтова в «Фаталисте»: то ли пистолет и в самом деле дал осечку, то ли пальцы — без умысла — знали, как для этого нужно *прижать* ручку.

Когда я ставлю книгу на место, я замечаю в стене под полкой маленькую черную дырочку.

Не нужно быть ни мисс Марпл, ни тем более мистером Шерлоком Холмсом, чтобы угадать в ней пулевое отверстие.

Я беру ножницы, аккуратно расковыриваю штукатурку, и мне на ладонь выпадает черная пулька.

Такое случилось уже однажды шестьдесят шесть лет назад там, на Севере, в освещенном белым северным солнцем помещении для чистки оружия.

...Мы с Витькой Никулиным почистили пистолеты, Володя Драганов почему-то завозился.

«Ты что-то задумчивый сегодня, — весело поторопил его Витька. — Кто много думает, тому есть не дают. Смотри ужин прозеваешь».

«Мне сегодня ужин не потребуется», — сказал Володя.

«Что так?»

«Приглашен».

«В увольнение, что ли? — спросил Витька. — А не говорил ничего».

«Вы, ребята, идите, покурите пока, я сейчас быстренько справлюсь», — сказал Володя.

Что-то странное было в его голосе. В дверях я обернулся и посмотрел на него.

Он сидел, ссутулившись, за столом и быстро, привычными движениями собирал пистолет.

У него было красивое лицо: нос с горбинкой, яркие глаза. (Лев Толстой написал однажды: *светлый черный глаз*.)

Мы с Витькой вышли из казармы, остановились возле врытой в землю бочки с водой, в которой плавали окурки, и принялись свертывать наши сигарки.

Белесое вечернее солнце соверщало свой нескончаемый круг по небосклону.

Витька чиркнул спичкой.

И тут в казарме раздался выстрел.

Пуля прошила Володе голову и застряла в деревянной доске подоконника. Тотчас подоспевший офицер особого отдела выковырял ее отверткой.

«Что же он? — бессмысленно спрашивал Витька. — Ведь всё у него лады! Лады!»

...Входит Володя.

Я протягиваю ему пульку: «Вот, застряла в стене, под книжной полкой».

«Ясное дело, — ничуть не удивляясь, говорит Володя. — Будем делать уборку, возможно, и гильза найдется».

«Но ведь не стрелял никто!» — говорю я почти с отчаянием.

«Если бы мы знали, кто стрелял, то и никакого сюжета бы не было».

Володя смотрит в черный прямоугольник окна:

«Рано стало темнеть».

## Дмитрий БЛИЗНЮК

/ Харьков /



\* \* \*

я люблю женщину, которая не любит меня.  
опускаюсь к ней на парашютах страниц,  
пока она пьет эспрессо на балконе.  
она плавает в моих стихах, как эмбрион в лирическом желтке,  
и я стучу пальцем по монитору — эй, привет.  
каждое утро я заставляю ее принимать душ из чернил:  
каждое утро она завтракает кусочком меня,  
рану посыпает солью, вяло жует круассан,  
говорит на шелестящем жаргоне зеркал, что постарел  
за прошедшую ночь.  
тогда я беру шпатель, печенье,  
цементирую трещины, извилины,  
пока мозг не говорит: хватит.  
любимая, мы заблудились с тобой  
в шагающем лесу событий.  
и прошедшее тянется за нами, как пустой гроб  
проснувшейся Белоснежки.

\* \* \*

в последнее детство...  
перед прыжком в ржавую рожь взросления,  
ты умираешь от заражения  
мысли.  
испускаешь иллюзии, как каракатица  
невесомое облачко чернил, хотя  
тебя никто не преследует.  
так будущее сливается с настоящим, так  
небо и море — любовники —  
сливаются в мнимой черте горизонта, и это похоже  
на синюю кастрюлю  
с синей крышкой, неплотно прикрытой, а внутри  
варится янтарный осьминог солнца.

\* \* \*

дождливое утро со сладостным запахом бензина —  
бокал с мокрыми болтами и пыльцой цветущих лип.  
нам некуда спешить: человечество никто не ждет.  
добро и зло саморастворятся, как нож в кислоте,  
престав быть злом и кислотой.  
однажды и мы исчезнем, не оставив причин.  
нас разделяют не времена, но окаменевшие личности,  
горгульи Notre-Dame de Paris,  
пористый шлак идей.  
дьявол бродит среди нас, как сумрачный рыбак по мелководью,  
и тихо охает — мальками душ едва прокормишься.  
о где же ты Фауст, друг, с фаустпатроном осеннего тумана...  
здесь раньше шумел корабельный лес, а теперь поросль  
стандартных зубочисток с мятными кончиками  
в прозрачных колпаках.  
мне не нравится запах эпохи —  
плотный, галлюциногенный душок тотальной сытости.  
запах потребителя. так пахнет новенькая пластиковая мышеловка,  
приторный дым, тонны сахара в мешках —  
все, что осталось от мыслящего тростника.

\* \* \*

дни молодости  
до краев наполнены нами,  
как пластиковые ведра апельсиновым соком.  
своевольничаем: таланты, оторвы.  
летние винные вечера — золотистый арахис в сахаре.  
и заката ненасытная, огненная лава — ему все мало,  
мало самого неба:  
драконятам дали кожу на вырост, а нам — жизнь,  
и худощавое чудище путается в шелковисто-пыльных  
складках кожи,  
а ты стоишь на балконе, замотанная в простыню,  
будто белка в лаваш, куришь, вбираешь  
глазами проспект.  
это наш мир.  
мы не слизь разумная,  
но река времени не помнит, кто в нее входил  
и выходил, плескался, дурачился, обнимался, мочился.  
а у нас перед домом наливаются зрелостью  
сливовые деревья — черные цыганки  
с темно-синими перстнями, бородавками

на кривых пальцах, дьявольскими очами, скворцами,  
темно-синими мочками ушей, ух!  
и каждая неделя с тобой —  
стручок сладкого молодого горошка:  
срываешь семь нот, и эта музыка,  
которую.  
никто.  
не слышит,  
передается через касания,  
через.  
чувствуешь сквозняк?  
девочка-истина подула на прядь —  
солнечную паутину,  
закрывшую нам глаза...



## Влада ВОЛОДИНА

/ Рязань /

### КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

Ни слова в «Каменном госте» нет о мужской красоте. Красавец в Севилье и Париже, далеко на севере, — у нас, может быть, молод и хорош дон Карлос. Зачем Аполлон, когда есть страсть и смерть? Разве за радости плоти гибнуть Инезе? У нас, как Роксану на балконе и Тамару в монастыре, соблазняют словесно.

Романтического красавца оставим ранним поэмам. Что после всех гитан и дуэлей осталось бы от вашей прелести? Речь о неизъяснимой воровской чаре, о смущеньи души. Дело не в том, что соблазняет негодяй и красавец. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Можно ли, чтобы у Пушкина был поэтом простой бабник? Этот соблазнитель, конечно, не чистокровный Жуан.

Скажем, из барокко июльская ночь, любовь на могильных плитах, постельные утехи при трупе и развратник в монастыре, но из романтизма — демонизм, одиночество, превосходство и жестокость к себе подобным. Нельзя помыслить русский романтизм без особой духовности. Красавец Мольера нам пошлая сволочь, — у нашего циника и развратника есть душа. У нас, в Мадрите — Испания чистой воды, но одухотворённое соблазнение может быть только в петербургском светлом сумраке.

Женские демоны прекрасны во плоти, есть Каролина Собаньская, Марина Мнишек, Лаура, Вольская, Клеопатра. Мрачных красавцев всерьёз у Пушкина мы не знаем. Есть мадритская ночь, епанча и шляпа. Испанский гранд как вор, и воровская масть темна.

### AVENTURE

Пани Кострицкая, прекрасная полячка, родила сыновей римскому офицеру. И римский офицер, сволочь, бросил пани с двумя детьми. Представьте, что дети растут в прекрасную эпоху во Франции и Италии, а пани стала куртизанкой и аферисткой. И мадам Ко-

стрицкая обещает детям, что скоро выйдет за настоящего графа, — а если мадам не выйдет, приедет дядя из Варшавы. Дядя, пан Костицкий, тем временем ходит по бабам в Польше. Представьте, что так прошло восемнадцать лет.

В предместье Парижа пани Костицкая встретила богатого мсье. Представим, что мсье делает предложение, но мсье простолюдин — мадам не может опозорить шляхетство. И пани представляет детям мсье вместо дяди. И старший сын Гийом, застав мать в объятиях пана Костицкого, даёт мсье по морде — не за кровосмешение, но за самозванство по французской морде — и уезжает в Париж.

## ПАЛЬТО

### Сентиментальное путешествие

1

В оренбургских степях мы украли пальто у родного дяди и уехали в плацкартном. Я была человеком пяти лет, моя мать была польская пани и отчасти Манон Леско. Страсть к авантюре была у нас в крови. В ней мы виновны, но в своём романтизме мы невинны. Страсть и авантюра есть блуд и воровство — романтик в этом бездарен или несчастлив. Гофман был авантюрист в душе и честный юрист, — граф Калиостро, Сен-Жермен и Морис Бенёвский были рационалисты. Авантюрер всегда материалист, но прекрасней всего бескорыстная авантюра. Отправьтесь в Грецию, в польский легион, на войну с Бонапартом — и умрите в невероятной скачке; увезите княжну для другого; пригласите Командора на ужин. Высшая страсть к воровству — литературная страсть, и наша душа Фемида и сивилла, слепая и прозорливая ласточка.

Мы похитили пальто, как сабинянку, увезли его, как гусар молодую княжну. Тогда я узнала авантюру и кражу.

2

Подлость в том, что если по одной линии у вас в крови горе и страсти, а по другой — дом и честный труд, вы будете любить горе и страсти. Есть старый Кант и прогулка в полдень — есть плащ гранда и донна у статуи. Прекрасны мосты, цыгане и заставы — и прекрасно быть без греха. Зачем де Гривё любил воровку? Почему аббат Прево сбежал из монастырей?

Кузена нашей польской прабабки звали Юра Нечеволодов. Отец его служил под Оренбургом. Юра был прекрасный юноша. Семнадцати лет он выиграл в бильярд сто рублей и пальто и сбежал из дому навсегда.



## Виталий ШНАЙДЕР

/ Ганновер /

### «ПОПЫТКА РОМАНСА»

#### **Вещунья**

*Ю. П.*

Она вещунья: может предсказать  
Событий ход, развитие сюжета,  
Продолжит ли свой путь извечный  
Лета,  
Иль повернет она течение вспять.

Девчонке доверяет тайны Клио,  
Уrania ведет беседы с ней  
О странах, что лежат на дне морей,  
И о луне, играющей с приливом.

Понятен с детства ей язык цветов,  
И шелест листьев, и дождя шуршанье,  
Собачий лай и гнома бормотанье,  
Живущего среди розовых кустов.

\* \* \*

«Мы крепко связаны разладом...»  
*Арсений Тарковский*

В твоей судьбе нет места для меня.  
Любовь ушла, исчезла безвозвратно,  
И бесполезно звать ее обратно  
Во тьме ночной или при свете дня.

Спасаясь от губящего огня,  
Мы разошлись по жизни безоглядно.  
Нас чернь с тобой судила беспощадно,  
И мучила тебя твоя родня.

Все кончено, лишь пепел да руины.  
И путь в кабак по улицам недлинный,  
Где заливаю водкою я боль.

Мы были крепко связаны разладом.  
Тебя мне видеть издали позволь,  
Теперь мне, право, большего не надо.

\* \* \*

*И. К.*

Цветы, бокалы, белая стена,  
я это вижу в призме дней так ясно,  
вот в дом мой входит женщина одна,  
раскована, игрива и прекрасна.

И, театрально застывая у окна,  
со всем, что есть во мне, она согласна,  
слегка касается щеки моей, бледна,  
в глазах ее горит огонь соблазна.

О, выжигающий сердца огонь,  
что оставляет только серый пепел.  
И снова, как тогда, дрожит ладонь,  
и рой воспоминаний тих и светел.

Пойду за их веселой чередой,  
и след в пространстве растворится мой.

\* \* \*

*М. Х.*

Как и встарь, веришь лживым речам сиповки.  
Вечер входит в синем плаще, как незванный гость.  
И чешутся руки пальнуть в нее из винтовки,  
Но «не убий» в башке застряло, как в горле кость.

И потягивая свой эль в английском пабе,  
Водишь перстом по лбу, как стилем по листу,  
И диву даешься, как в этой блудливой бабе  
Мадонну сумел узреть, склонившуюся к Христу.

**Попытка ромansa**

Мир без нее как будто потускнел —  
С него содрали лак и позолоту.  
Прошла контроль и вышла к самолету,  
Не помню точно, в среду иль в субботу,  
А я курил и долго вслед смотрел.

И потянулись россыпи ночей  
Тоскливо-долгих, темных, одиноких.  
И понял я, что счастлив был лишь с ней  
Средь суетности и мерцанья дней,  
Теперь таких невысказанно далеких.

\* \* \*

*И. Д.*

Проходит жизнь, но остаются строки,  
а день уходит вдаль и в темноту.  
Мы встретимся однажды на мосту  
над пропастью, где Тибр течет глубокий.

Рассеянно ты спросишь: «Как ты, милый?»  
И я отвечу явно невпопад.  
И бешеный февральский снегопад  
накроет мост, закрутит что есть силы.

И полетим над черною рекой,  
сверкающей подобием зеркала.  
И я спрошу: «А может, все сначала?..»  
Но ты исчезнешь, помахав рукой.

\* \* \*

*М. Х.*

Всё разрушено, всё разбито,  
И уюта остывший след, —  
Предотъездная волокита, —  
Суета, что постылей нет.

Были годы — все шло так гладко  
По накатанной колее,  
Но растерло их в прах брусчаткой  
В дальней северной стороне.

И теперь на стенах лишь тени, —  
Нас с тобою давно там нет, —  
Их игра и переплетенье,  
Чёрно-белый кордебалет.

# Анатолий МИХАЙЛОВ

/ Санкт-Петербург /



## ОДИН

(Фрагмент письма Володе Козаровецкому)

Спешу тебе сообщить благую весть: вчера в Н о в о й газете неожиданно вспомнили Игоря Тюльпанова и опубликовали целый ворох его словесных зарисовок; правда, одна из этих миниатюр (я даже несколько раз её перечитал) сначала меня крайне озадачила.

### ДОВЛАТОВ

Довлатова я в Ленинграде знал. Мой приятель, поэт Валя Лукьянов, человек странный, и тоже сейчас в другом мире, однажды сказал, что хочет привести мне одного писателя. Поскольку я всегда во всём сомневаюсь, я сразу подумал — ну, что же это такое, зачем? Но он его привёл, и Довлатов прочитал несколько рассказов. Да что-то я никак не отреагировал, потому что сам жил 30 лет в коммунальной квартире, знаю, что это такое, и слушать еще рассказ об этой жизни — ну просто было тошно.

Насколько мне известно, Валя никогда с Довлатовым не встречался (иначе бы мы с тобой об этом точно знали) и по этой причине никак не мог его познакомить с Игорем.

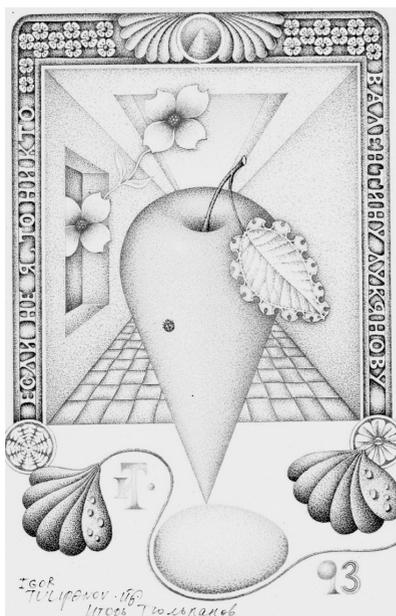
Игорь уехал из Советского Союза в 78-м, а Валя (в своих регулярных вояжах из Москвы в Ленинград никогда не пересекавшийся с вернувшимся из Эстонии и водившим в своём заповеднике экскурсии Серёжей) познакомил меня с Игорем в 74-м. Я уже свалил с Колымы и тянул свой вяло текущий срок в коммунальной квартире на Старом Невском. Это было еще до моей встречи с Леной и припоминается, как в сентябре 74-го Валя привёл его в мою каморку, и они сидели на моей развалюхе-тахте; нарезав принесённые в своей традиционной авоське помидоры и поливая их подсолнечным маслом, Валя рассказывал, как на прошлой неделе где-то в районе полуночи при выходе из пропахшего мочой и облеп-

ленного амурами вестибюля нашего подъезда вдруг обратил внимание на двух точно отправившихся на дело пацанов, одному из них было лет семь, а его сотоварищу, ну, может на пару лет больше, оба карапуза были в начищенных, как у героя моего «Покровского бульвара» Двор Иваныча, сапогах, и у одного из них из-за голенища торчал огромный кухонный нож; я, как всегда, был благоговейно счастлив, в то время как участвовавший в нашей коллективной трапезе Игорь, внимательно слушая Валю, успевал при этом краем глаза фиксировать развешенные у меня над письменным столом гравюры Толи Цюпы. И в эту же осень ко мне из Москвы приехала моя магаданская «горлица среди ворон» Лариса и мы с ней намылились к Игорю в гости на Политехническую, где он нас угощал своими «разгильдяями». И тут вдруг всплывает такая деталь: Старик, помнится, всё ещё смеялся, что «Тося теперь для Игоря вроде палочки-выручалочки» и когда Игорь отчитывался перед своей «Дульциней», а где это он весь вечер пропадал, то всегда всё сваливал на гостеприимного Толю Михайлова, мол «заскочил на Старом Невском на минуту к Тосе и как-то ненароком застрял».

И через 18 лет мы с Игорем снова встретились, но уже в Нью-Йорке, и я ему рассказал, что 5 лет тому назад Валя в Москве умер. А в феврале 93-го, когда мы с Леной опять прилетели в Нью-Йорк, то Игорь нас встретил по выходе из трейна на конечной станции в Бронксе и повёз на своей машине к себе; в ту зиму в Нью-Йорке разразился катастрофический снегопад, и, когда мы с Игорем к нему ехали, то бушевала пурга и несколько раз нас чуть не занесло, но Игорь оказался классным водителем и всякий раз уже было застрявшую машину всё-таки вытягивал, и нам на пути то и дело попадались занесённые снегом беспомощные американцы. Мы провели у него полдня и у себя в доме на фоне своих работ он снимал нас на поляроид (и иногда он нас с Леной или кого-нибудь из нас по отдельности вместе с собой, а иногда еще и вдобавок со своим любимым Марсиком, как бы внедрял в свои сюжеты); и тут же получались свежеиспечённые коллажи, которые Игорь нам с Леной на прощанье подарил, и уже к вечеру под аккомпанемент всё еще бушевавшей снежной круговерти, продираясь сквозь униженные ломтиками фирна сугробы, доставил нас опять на конечную станцию в Бронксе, откуда уже только к ночи мы с Леной вернулись на родимый Брайтон.

На следующий год я прилетел в Нью-Йорк без Лены и когда возвращался обратно в Россию, то Игорь меня на своей машине со всем моим барахлом отвез в аэропорт имени Кеннеди, но в 32 положенные килограмма всё не влезло, и несколько экземпляров Костинной «Вавилонской башни», которые я по поручению твоего любимца вёз в бывший Советский Союз «ради внедрения культуры в народ», а также отремонтированные на Брайтоне у сапожника ассирийца ботинки остались у Игоря до следующего приезда, и Игорь мне подарил два своих слайда (или правильнее постера):

один — своей работы еще середины 70-х, где Валя в нимбе и с короной в виде колечка изображён перерезающим ножницами золотой пятак — картины, что теперь олицетворяет фасад нашей с тобой В е т в и з и м ы, и другой — своей прощальной эпитафии в виде совсем не треугольной, как у Вознесенского, груши и надписью если не я то никто — на тыльной стороне её обложки. А также Р у с с к и е т е р ц и н ы Дмитрия Бобышева со своим рисунком клонный к (как его со всей своей ослепительной нежностью окрустил склонный к излишней сентиментальности ККК) Д е в о ч к а Д и м о ч к а изображён как бы в раздвоенном ракурсе; но самое для меня драгоценное — дружеский шарж, где я зафиксирован в купленной в уцененных товарах на Брайтоне бейсболке и с бородой, и его дарственная надпись «Толе Михайлову от Тюльпанова 04.22.94 Нью-Йорк»; и, в свою очередь, я презентовал ему несколько своих изданных в Питере самопальных книжиц, среди которых (в качестве самой главной художественной достопримечательности) доминировала моя «коммунальная хроника».



Но отремонтированные ассирийцем ботинки и несколько скучающих на блюде отрубленных голов «воспламенённого мерцанием чешуи краснугубой плясуньи» «холодного как русское поле» Кузьминского так навсегда и остались у Игоря, потому что эта наша с ним встреча оказалась последняя, и, как я теперь догадываюсь, именно эти мои каракули (про которые мне довольно часто доводилось слышать, что она (эта моя «коммунальная хроника») «ну прямо вылитый Серёжа Довлатов» (кем я никогда не устану восхищаться и чем никогда не устану гордиться) в одной упряжке с давно позабытым Толей Михайловым и уже стершиеся из памяти, вдруг прилепились к его никогда не имевшему место сюжету.

И, наверно, совсем не зря свою работу, олицетворяющую фасад нашей с тобой так пока ещё и не распустившейся В е т в и з и м ы, Игорь назвал О д и н, и эта метафора, конечно, имеет отношение и к самому Игорю: ведь только он один еще 40 лет тому назад уже сдержал своё выбитое на эпитафии слово.



## Дана КУРСКАЯ

*/ Москва /*

### МЕЗОЗОЙ

Да что там останется? Тени и блики в окне.  
Известка на пальцах. Песок в волосах у обоих.  
Моллюск пересохший. Следы позвонков на спине.  
Зеленый орнамент из пальм на древесных обоях.

А в небе стремительной точкой возмездье горит.  
оно приближается, не позволяя уйти от  
предчувствия — скоро обрушится метеорит,  
с падением которого кончится Юрский период.

\* \* \*

Когда на Малой Бронной тает снег,  
Мне не звонит тот самый человек.  
Он где-то воздух пьет неторопливо.  
О, чудный мой, чудны твои дела.  
Прости, что я осилить не смогла  
Таких чудес прекрасные порывы.

Я помню, как любил меня январь.  
И ветер в трубах выл что пономарь,  
На потолке бродили те же тени.  
Пока над миром сыпалась мука,  
Все та же невесомая рука  
Мне раздвигала белые колени.

Возможно, я однажды и вернусь.  
Чтобы муку рассеять или грусть.  
Ах, сколько мук рассеять может каждый, —

Из них испечь бы славный каравай.  
Смотри, как я сажусь в пустой трамвай —  
Ведь это перемелется однажды.

А что твоих касается чудес,  
То будем обсуждать уже не здесь —  
В Кейптауне или поселке Павда.  
В Нью-Йорке, в Туапсе, в Караганде...  
А правда, что ты ходишь по воде?  
...Он улыбнулся и ответил: «Правда».

\* \* \*

*Ю. Т.*

если и жить зачем-то, то вот зачем:  
чтобы оно приходило почаще, чтобы  
бывший до этого всеми неизречен  
голос обрел, зазвучав из моей утробы,

этим секретом на миг овладев давно,  
ты над собою власть потеряешь снова,  
слышишь, я замолчала, чтоб только опять оно  
кончиком языка в мой рот приносило слово

этой монетою будет оплачен счёт  
там, где светлей и прозрачнее нет мерила  
видишь, я умираю, чтоб жило оно ещё  
чтобы звучало мной  
плакало  
говорило



## Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва /

### ХУДОЖНИК ПЁТР БЕЛЕНОК

Беленок. Пётр Иванович. Петя.  
 Если по-украински — Петро.  
 Трудно жил он на белом свете.  
 Излучал — сквозь темень — добро.  
 Словно тополь, был он высоким.  
 Был он худ, бородат и лыс.  
 В одиночестве — грустнооким.  
 Восходящим — сквозь годы — ввысь.

В шестидесятых годах столица наша, Москва, была единственным городом — это сущая правда — Советского Союза, страны, которой теперь давно уже нет, где всем нам, людям богемным, представителям всем, так можно посолиднее говорить, тогдашних неофициальных, подпольных, так иногда выражались, литературы и искусства, нонконформистских, так ещё говорили об этом, несмотря на всякие сложности, можно было существовать.

Москва заменяла нам далёкий, почти что сказочный, манящий, недосягаемый, мифический или реальный, таинственный, эпохальный, в сумятице календарной поистине легендарный, прекрасный, должно быть, Париж.

Здесь была — среда. Вот что важно. Вот что всех нас вело сюда. И поэтому мы отважно покидали свои города. И съезжались сюда — отовсюду, где до этого жили мы. И тогда надежда на чудо будоражила наши умы. И Москва огромная вскоре становилась родной для нас. И на бурном её просторе был возможным наш звёздный час. И работали мы на совесть. Что ни день — сплошные труды. В этом — прежней эпохи повесть. Счастья признаки и беды. В этом горечь и в этом радость. Вне бездушного забытья. Привкус горечи. Но и сладость драгоценного бытия.

Здесь всю кипела подспудная, но зато всегда полноценная, независимая от советских громогласных законов и правил, подходящая нам, привольная, на события разные щедрая, привлекательная, интересная, расчудесная, словом, жизнь.

Богема, на редкость пёстрая, такая неоднородная, плавильный котёл, да и только, гремучая, жгучая смесь людская, каша-малаша, как в детстве мы говорили, густое, бурлящее варево, как можно теперь сказать, постоянно, с рекордной скоростью, с каждым годом всё более быстро, пополнялась и обновлялась выходцами из провинций.

И вот в шестьдесят седьмом году появился в Москве художник, оригинальный во всём, и прежде всего — в своём необычном творчестве, приехавший, по причине вполне понятной, сюда, по зову души своей, мятежной, крылатой, чистой, приехавший потому, что этого требовал дар его, настоящий, крупный, врождённый и подкреплённый работой и опытом ранним, полезным, незаменимым для него, приехавший в новое пространство, в новую жизнь, а может быть, даже и в новое измерение, так ведь бывает, с Украины, — Пётр Беленок.

Общительный, выделяющийся сразу в любой компании, в любом, даже самом шумном, с неизменной выпивкой, сборище, и, тем более, при общении спокойном, полезном, дружеском, с беседами неторопливыми, об искусстве, о том да о сём, выделяющийся из толпы, заметный даже на улицах, привлекающий взгляды людские необычным и притягательным, с непохожестью на других, с обособленностью всегдашней от расхристанной заурядности, от унылого быта, от пошлости, от занудства и всех безобразий повседневных, чуждых ему, всем, каким-то инопланетным, так могло показаться кому-то и казалось, видом своим, несомненно, талантливый, нет, даже больше, очень талантливый, он легко и просто завязывал многочисленные знакомства, вскоре в дружбы переходящие, и надолго, поскольку сам из такого же теста был, как и все мы, тогдашняя, странная, разношёрстная, дружная братия.

Во всём его облике, словно высвеченном лучом солнечным, летним, ярким, из темноты ночной, налетевшей невесть откуда на окрестности городские с их потугами на уют, с их попытками дать пристанище утомлённому человеку, с их подспудной надеждой дремлющей на грядущий возврат тепла в зимний мир, занесённый снегом, было, так оказалось, особое, не московское, нет, украинское, из других краёв и совсем из других преданий и песен, из другой, трагичной, лирической, сложной, смутной, древней истории, удивительное поистине, от природы, непоказное, но для всех уже очевидное, несомненное обаяние.

Длинный, как говорили в шутку, то есть высокий, тонкий в кости, худой, с аккуратно, ровно подстриженной узким клинышком птичьим бородкой и уже лысеющей, круглой головой, которую он, по привычке, не опускал даже в трудные времена, грустноглазый, то по-мальчишески озорной, то меланхоличный, с украинским призывком в мягком и спокойном звучании голоса, без излишеств ненуж-

ных, негромком, да ещё и с юмором, всеми принимаемым и ценимым, как и всё в нём, своеобразным, и защитным, само собой, и, конечно, с его великой, навсегда, любовью к искусству, он, такой вот, как есть, во всём органичный — и необычный, со своею долею, личной, о которой не распространялся, как-то сразу запоминался.

И вскоре, так уж сложилось, он стал совершенно своим в кругах столичной богемы и буквально, на долгие годы, так решила, видно, судьба, словно врос в неё — навсегда.

Беленок, в украинский период свой, был по образованию скульптором, с блеском учился в Киеве, необычайно рано обратил на себя внимание и сразу же после учёбы начал, с изрядным рвением и молодым усердием, работать по специальности.

Поселился он в Ровно. Туда его, кажется, пригласили.

Ему предоставили там превосходную мастерскую. Дали ему, от щедрот, видимо, и немалых, ровенских, областных, целый отряд помощников, которыми он командовал полновластно, как генерал, или, во всяком случае, творческий местный властитель.

Он получал бесчисленные, один за другим, чередой непрерывной, лишь успевай выполнять их, ведь новые ждут очереди своей, разнообразные, вроде бы, а на деле однообразные, от искусства весьма далёкие, по причине своей стандартности и шаблонности, хоть и с приметамы очень скромных новаций, заказы, он в этом — преуспевал.

И Ровенская, и соседние, близлежащие области, все эти земли, колхозы, посёлки, районные центры, а также города, большие и малые, неумолимо, стремительно заполнялись его заказными скульптурными композициями.

Число их росло и росло. Могло оказаться вскоре, при темпах таких, ударных, стахановских, не иначе, и с явной натяжкой творческих, пожалуй, астрономическим.

Он запросто мог позволить себе, когда пожелает, обычно под настроение, хоть десять раз каждый месяц, слетать на денёк-другой в Москву, чтобы там побывать на выставке новой или побродить по музеям неспешно, посмотреть кое-что, для души, обновиться, встряхнуться, вздохнуть об искусстве, святом, настоящем, чтобы тяга к нему возрастала, с каждым разом, сильнее и сильнее, и в итоге неистовой стала, и к деяниям другим призывала в монотонности ровенских дней.

Был он в Ровно, конечно, звездой, пусть и местного всё же масштаба. И заказчиков — длинная очередь. Он условия им диктовал.

Избалован он был вниманием. И трудился он — со старанием. Всё, что просят, в гипсе, и в мраморе, или в бронзе, он создавал.

Грустил иногда, нежданно, неведомо — почему.

Считали, что — блажь. Удача сопутствовала ему.

Казалось, игра была сыграна — и нешуточная карьера разворачивалась перед ним, не в областном уже, а в республиканском масштабе, с брезжущими впереди лаврами всем известного официального скульптора, к тому же и неумолимого, что само по себе хорошо, положительного, в трудах, да и в жизни своей, работы.

Но всё это, все посулы и возможности, все компромиссы, на которые вынужден был он, ради жизни успешной, идти, с каждым днём, с каждым прожитым годом, становилось всё более чуждым для него, неприятным, противным, бесполезным, бессмысленным, лишним, и мучительным, и огорчительным, вызывало уже отвращение, было просто невыносимым, обострённо воспринималось, как дурной, навязчивый сон или дикое, затяжное наваждение. Ведь внутри Беленок был — совсем другим.

Помыслы и пристрастия его, сокровенные, искренние, ничего не имели общего с безликим официозом.

Душа его тяготилась двойственностью сложившегося положения, восставала против деления жизни, против деления творчества на две половины, тайную, свободную, независимую, и явную, конформистскую, стремилась любой ценою, как можно скорее вырваться из плена пускай и щедро оплаченного заказчиками, но на поверку гиблого, лживого соцреализма.

И вот с ним произошло нечто, круто, без промедления, властно, так, что пути назад больше не было, но зато перед ним открывался новый, неизведанный, пусть и трудный, но зато и достойный путь, повернувшее всю его жизнь.

Неожиданно, так отважно и стремительно, что нельзя объяснить этот шаг иначе, как решением по чутью, а возможно, по зову свыше, он оставил свою карьеру благополучного, правильного скульптора-реалиста, бросил вдруг абсолютно всё, перебрался в Москву — и здесь начал, по существу, с нуля, совершенно новую жизнь, — жизнь свободного, независимого от всего, что мешало раньше, художника, жизнь полунищую, но и радостную для души, целиком посвящённую творчеству, личному, незаёмному, такому, к которому он был, несомненно, призван.

Дело в том, что стал Беленок заниматься, всерьёз, упорно, совершенствуясь постоянно, развивая свой собственный стиль, выразительный, образный, броский, совершенно особенной живописью, непохожей на всё, что было наработано до него, той, в которой, прежде всего, безусловно, была новизна, новый взгляд на явь и фантазию, новый угол острого зрения, и приёмы его, и умение обобщать, выделяя главное, и находки, неожиданные, смелые, и открытые интуитивные, и тематика всех работ, композиций, безукоризненных по структуре своей, по редкостной лаконичности, за которой проявлялась взрывная сила, были настолько яркими, неизменно оригинальными, что сразу же, незамедлительно, привлекли к

себе всё возрастающее и повышенное внимание знатоков столичных искусства современного и по праву, да, вполне заслуженно выдвинули его, человека приезжего, недавнего провинциала, ставшего москвичом, в первый ряд мастеров андеграунда нашего, позже названного, почему-то, «другим искусством», а ещё позднее, со временем, и вовсе — «вторым авангардом».

Беленок — это важно помнить, потому что связано это и с его судьбою, и с творчеством, фантастическим, но и реальным, впрочем, в странной живущем яви, которое он обычно, и с юмором, и всерьёз, что намного вернее, пожалуй, если вдуматься, называл «психическим реализмом», далеко не случайно, зная, что конкретно он говорит и о чём, напрямик, открыто, говорят все его работы, всё, что он выражал в них, чуя что-то страшное впереди, всё, что он прозревал давно, раньше всех своих современников, обострённо и верно, — вырос в украинском селе Корогод, и значение этого слова — хорювод, ведь именно так в старину всегда говорили, вот и вырвался к людям оттуда хорювод беленковских работ, из лесного края щедрот, из обители счастья и чуда, но село родное, увы, находилось всего в пятнадцати километрах от места страшного, как потом оказалось, в будущем, поразившем всех, от Чернобыля.

Так что рай беленковский был, как потом оказалось, опасным.

Словно мина была коварная под него заложена кем-то.

Кем? Возможно — силами тёмными.

А возможно — и бестолковыми.

Рай был — хрупким и уязвимым.

Рай прекраснейший был — и сплыл.

Это сейчас мы все, жители многих стран, а не только земли черныбыльской, беленковской, лесной, родной для него, драгоценной, кровной, той, которую он любил, связь с которой он ощущал постоянно, прекрасно знаем — там, в далёком лесном краю, в невозвратном его раю, потерявшем красу свою и покой, вместе с волей, — зона.

Что-то вроде чёрной дыры.

Где исчезли чьи-то миры.

И понятия. И законы.

И любовь. И надежда. Зона.

Ужас общий. Растущий страх.

Вместо радости — только прах.

Вместо жизни — существованье.

Вместо родины — лишь названье.

Так, на карте пометка. След.

Посреди отшумевших лет.

Или — место пустое. Сон.

О случившемся — долгий стон.

И давно ещё, во второй половине шестидесятых, беленковскую мастерскую на Абельмановской улице, в сыром и тёмном подвале, заполняли, переполняли, так, что их присутствие здесь не случайным казалось посланием к людям, вещим предупреждением о грядущих событиях грозных, оргалиты, разных форматов, от совсем небольших до огромных, и картоны, тоже различные, и бесчисленные листы, груды просто, бумаги ватманской, с экспрессивной невероятно, до накала неимоверного, необычной, всех поражавшей, озадачивавшей, заставлявшей призадуматься, словно кричавшей о таком, что ждёт впереди, что грядёт, провидческой живописью, в которой было тогда ещё выражено предчувствие Чернобыльской катастрофы.

Да, без всякой мистики ложной, благодаря чутью, благодаря прозрениям своим, Беленок не только предсказывал, что, со временем, неизбежно произойдёт, но и зывал ко всем живущим: чувствую, люди, там, впереди, беду!

На работах его тогдашних, на глазах у всех, наяву, на виду у всех, близко, рядом, непрерывно происходило нечто слишком уж страшное, даже, получалось, такое, которое всё вокруг навсегда сметало и губило, — непоправимое.

Трансформировалась, распадалась, на куски, на частицы мелкие, на пылинки, на атомы, ранее неразрывная, сильная, целостная, не разрушить её, казалось, никому, ни за что, материя.

Метались повсюду растерянные, охваченные всеобщим, повальным, растущим ужасом, потрясённые тем, что рядом, только что, в самом деле, внезапно произошло, что застигло врасплох их, люди.

Налетавшие вихри вздымали их вверх, уносили куда-то далеко, растворяли в пространстве, навсегда, так, что впредь не найти.

Привычный для всех пейзаж изменялся до неузнаваемости. Это был уже не пейзаж, но — жестокий распад пейзажа.

Ключья смутные. Очертания всех утрат. Зиянья пустот.

Рваный, смятый, смятенный мир. А вернее — остатки мира.

Почва вздыбленная, вода, закипающая, клокочущая, норвящая, вроде, выплеснуться к нам, сюда, за края работ.

Вся природа, разом пришедшая в состояние хаоса дикого, за которым, где — неизвестно, да и вряд ли будет известно, оставалась былая, утраченная, навсегда, похоже, гармония драгоценного естества, вся разрушенная в одночасье, невозвратная целостность мира, — вот что, в давних шестидесятых, в беленковских тогдашних работах, открывалось нежданно людям.

Художник свои видения показывал всем — под музыку.

Был у него в мастерской подвальной — магнитофон.

Обычно включал он запись тревожных произведений Кшиштофа Пендерецкого, любимого своего польского композитора.

И — начинал доставать, из углов, из всяких укромных закутков мастерской — работы.

А потом — расставлял их, везде, где придётся, лишь бы их видели.

Работы, с изрядной скоростью, в стремительном темпе, множились, без конца сменяли друг друга.

В сочетании с музыкой это неизменно производило впечатление очень странного, с монтажом по чутью, по наитию, на глазок, наугад, пророческого, да и только, вот именно, фильма, поразительной, неповторимой по воздействию своему на людей, многозначной хронике, устремлённой сплошным потоком к нам, живущим в своём, спокойном, относительно, впрочем, времени и как будто бы зафиксировавшей, так пронзительно, выразительно, с максимальной силой творческой, так давно ещё, в годы прежние, посреди бесчашья, — грядущее...

Смотреть беленковские, странные, необычные, непохожие на уже привычную живопись наших смелых авангардистов, или так вот — нонконформистов, появившиеся в столице как-то вдруг, как залётные птицы, и прижившиеся неожиданно, и, похоже, надолго, в ней, в бурной смене ночей и дней, словно впрямь особое что-то, удивительные работы — москвичи, и не только они, но и люди из самых разных городов бывшего Союза, да ещё и люди, которые приезжали из-за границы и которым всё было в новинку на холмах и просторах столичных, словом, все, кто в годы минувшие проявляли, хотя бы изредка, пусть и так, интерес к искусству, и, конечно же, те, которые хорошо разбирались в этом, знатоки, по тем временам, иногда и коллекционеры, люди творческие и просто любопытные, так бывало, и подобных было немало, и, пожалуй, таких не счесть, все, кто знали о том, что есть Беленок, — ходили охотно.

Порою в знакомый многим из богемы тогдашней нашей, не то, чтобы обжитой, но кое-какие признаки жилья имеющий всё же, поскольку была здесь самая необходимая мебель, довольно сырой подвал с оконцами, выходящими во двор углового дома на Абельмановской улице, набивались десятки нагрывавших сюда, разномастных, жаждущих приобщения, и немедленно, прямо здесь, в мастерской, к искусству, посетителей, — и художник, неизменно гостеприимный, несмотря на такое вот гостевое сверхизобилие, всех их всегда принимал.

Никому не отказывал. В дверь постучатся — тут же откроет, приглашая к себе:

— Заходите!

Люди — сразу же заходили.

И — оказывались уже не в московском, для всех привычном, то осеннем, с дождём и ветром, то морозном и снежном, зимнем, город-

ском, беспокойном, шумном, с маемой, суетою, мире, но — в другом, совсем непохожем, беленковском. И это был мир фантазий и мир прозрений, мир видений и наваждений, мир призывов, предупреждений о грядущем. Тревожный мир.

И создатель его, Беленок, открывал над миром своим некий занавес, что ли, условный, как волшебник, или артист, персонаж из фильмов Феллини, и несметные гости его вовлекались туда, входили, оставались там, кто — ненадолго, кто — надолго, потом с трудом выбирались оттуда, скопом, ошарашенные, потрясённые, но, похоже, всё же спасённые от чего-то невероятного, что могло с ними всеми быть, и уже не могли забыть всех увиденных ими работ.

— Реализм! — говорил Беленок.

Заявлению этому гости удивлялись:

— Как?

— Неужели?

— Почему?

— Зачем?

— В самом деле?

И тогда Беленок поднимал палец длинный, качал им в пространстве мастерской, то влево, то вправо, и всегда уточнял:

— Панический!

И гости, напоминая нестройный античный хор, облегчённо вздыхали:

— А-а!

— Ну, тогда всё понятно!

— Панический!

Знатоки рассуждали:

— В искусстве — это новое слово.

— Факт!

— Несомненно!

— Такого в живописи никогда, согласитесь, не было.

— И, заметьте, как виртуозно Беленок применяет коллаж!

Дамы тоже входили в раж:

— Петя!

— Петенька!

— Пётр Иванович!

— Нам понравилось!

— Даже очень!

— Мы сегодня восхищены!

— Мы осанну вам петь должны!

А друзья — улыбались: нравится беленковская живопись людям. И, как сказано было в писании, это, в наши-то дни, — хорошо.

Беленок довольно поглаживал небольшую бородку клинышком, щурил светлые, с лёгкой лукавинкой, с ясным, добрым светом, глаза, — и спокойно, с мягким акцентом украинским в негромком голосе, обращался ко всем собравшимся, предлагая:

— Так, может, выпьем?

И собравшиеся откликнулись на призыв беленковский:

— Выпьем!

И просмотр сменялся — застоьем.

То довольно скромным, то — бурным, так бывало порой, с размахом, если гости в большом количестве приносили с собой питьё.

Выпивали — и говорили.

Об искусстве? Да обо всём.

Балагурили. И курили.

Сизый дым висел, невесом.

Иногда и стихи читали.

Вечер длился. Который час?

Да не всё ли равно? Детали!

Время — с нами. Здесь и сейчас.

Расходились обычно — к ночи.

Беленок — провожал гостей.

Оставался один, короче.

Вне событий — и вне вестей.

И с утра — он уже трудился.

Без работы — никак нельзя.

Путь есть путь. Если впрямь открылся.

Даже просто своя стезя.

Но пред ним был, конечно, — путь.

Личный. Собственный. Настоящий.

С долей, чуемой, предстоящей.

На пути — высветлялась суть.

Путь есть жизнь. Лишь в труде все вещи.

В давних истинах — дух и свет.

Что за ветер гудит зловеще?

И откуда? Из прежних лет?

Не из будущего ли? Тени.

Знаки. Символы. Грозный мрак.

И опять — череда видений.

Отмахнуться — нельзя никак.

Значит — надо работать. Снова.

Значит, живопись — тоже речь.

Рукотворная крепость слова.

Убереечь — и предостеречь.

Всех землян: впереди — опасность.

Люди, знайте о ней — теперь.

Сонм работ. Пристрастность — и ясность.

В мастерской — открытая дверь...

Беленок, человек радушный, приветливый, гостеприимный, любил, когда в мастерской, после его ежедневных, напряжённых трудов, собирались, не непрерывно, конечно, да всё же довольно часто, дружеские компании.

Постепенно его подвал стал для многих из нас, богомных, далеко не всегда устроенных в этой жизни сложной, людей, надёжным, проверенным местом, где можно было, в компании с художником, отдышаться от всяких житейских трудностей, на какое-то время, но всё-таки спрятаться от невзгод, а то и, в случае крайнем, в ситуации драматичной, или совсем уж безвыходной, если хозяин позволит, даже заночевать.

Беленок обладал, это могут подтвердить все, кто знали его, замечательным чувством юмора, причём этот юмор был особенным, характерным, по-гоголевски, украинским.

Он легко вносил просветление даже в самую мрачную, вроде бы, хуже нет, да и только, аховую, беспросветную ситуацию.

Начнёт шутить — и друзьям становится веселее.

И сызнова всё в порядке, и жизнь опять хороша.

И с ним человек — оттаивал, успокаивался, понимал, что есть в этом граде столичном поддержка, добрая, дружеская, и есть на земле человечность, и выстоять надо опять.

Юмор-то был у Пети, но сам он, и я это знаю лучше других современников, был человеком грустным.

Грусть его врачевалась только его искусством.

Толком никто не знал о личной Петинной жизни. О его женитьбах, разводах, о детях, да обо всём, что с ним происходило раньше, что происходит нынче, как он в Москве выживает, как существует он.

Всё это было — закрыто. Для знакомых его многочисленных. Для гостей постоянных. И даже, так он вёл себя, для друзей.

Что-то известно мне было о нём. И, пожалуй, немало.

Но сокровенное самое прятал он и от меня.

Впрочем, под настроение, что-то он и рассказывал о себе. Но всегда — немногое. Словно меру и в этом знал.

И только в восьмидесятых стал Беленок раскрываться мне одному, всё чаще, всё больше, — видимо, чувствовал потребность жгучую — высказаться, нечто важное рассказать.

Избранным, с глазу на глаз, читал он порой переводы собственные — любимых своих французских поэтов — Сен Жон Перса, Анри Мишо.

Помню, что это были хорошие переводы.

Сделанные Беленком в прежние годы, в Киеве.

Из укромного уголка доставал тетрадки заветные с записанными когда-то его аккуратным почерком текстами переводов, поэмами и стихами.

Становился серьёзным, собранным, — и всегда вдохновенно читал.

Часто читал он, помню, Сен Жон Перса — «О, море, море!..»

И мастерская будто бы наполнялась гулом прибоя морского, и ветер свежий из окошка к нам залетал.

Переводы Петины были — в единственном экземпляре. В рукописях. На машинке никто их не перепечатал.

Году в девяностом спросил я Беленка:

— Где твои переводы? Почитал бы ты их. Так хочется снова услышать их!

Петя махнул рукой грустно:

— Тетради — украли... Кто и когда — не знаю. Как теперь почитать?

Я только вздохнул. А что мне можно было на это сказать?

Но всё это было — потом. Значительно позже. В годы, когда распрощался Петя с подвальной своей мастерской и стал обитать в квартире на улице Молдагуловой.

А в годы шестидесятые и в годы семидесятые — молва о Петиных славных переводах французских поэтов разносилась по всей Москве.

И Петя тогда не единожды друзьям своим их читал.

И звучало — «О, море, море!..»

И не было вовсе — горя.

И болезней. И всяких напастей.

Беленок был — в расцвете сил.

Врождённая доброта сочеталась всегда в нём с крестьянской рассудительностью и мудростью.

Сельский хлопчик, такой одарённый от природы, вырос и чтит все заветы предков своих.

В нём крепка была — верность традициям.

Был он жив — связью давней и прочной, неразрывной, несокрушимой, где бы ни был, — с родной землёй.

Меня к Беленку тянуло всегда — ведь почти земляк.

И немало было говорено с ним, и важного для обоих, и особого, откровенного, и такого, что так и осталось между нами, такого, которое больше некому было сказать, за долгие, легендарные годы нашей хорошей дружбы.

Певали мы с ним, бывало, и старые, изумительные, украинские наши песни.

Чистой души человек — что могло быть лучше в расхристанном и тревожном донельзя мире, посреди маеты столичной и тоски, порой безграничной, в завихренье страстей, событий, безобразий, трудов, наитий, в те, далёкие слишком от нынешних, но упрямо не уходящие никуда, всегда — настоящие, беспокойные, но поистине драгоценные времена!..

Выставки у Беленка — бывали в Москве. Не часто. И это вполне понятно, по давним-то временам.

Но всё-таки мог он работы иногда показывать людям.

В знаменитом кафе московском «Синяя птица», известном не только недолгими выставками художников авангардных, но ещё и тем, что привычно и охотно там собирались джазовые музыканты, играли для избранной публики, и на эти концерты закрытые непросто было попасть.

В институтах научно-исследовательских некоторых, где учёные приобщались тогда к культуре, тоже были Петины выставки.

Стал он, по нарастающей, участвовать, вместе с другими нашими авангардистами, в выставках зарубежных.

В середине семидесятых, когда неофициальное наше искусство неожиданно, временно прорвалось к зрителям, Беленок, вместе с Целковым, Рабиным, Штейнбергом, Зверевым, Яковлевым и некоторыми другими художниками, соратниками, выставлял свои композиции, большие, монументальные, на ВДНХ, в павильоне «Пчеловодство», где, к изумлению всех москвичей, властями разрешена была необычная эта выставка нынешних ярких звёзд отечественного, родного, выходит, для всех, авангарда, и куда непрерывной рекою в течение нескольких дней текла широкая, бурная и просто неиссякаемая, жаждущая приобщиться к искусству, толпа людская.

С годами работы Петины всё чаще репродуцировались в изданиях зарубежных и в каталогах выставок.

Искусствоведы писали о нём, как о ярком мастере, оригинальном и остро современном, создавшем свой мир, драматичный и даже трагический, о мастере, узнаваемом всегда, со своим лицом.

Годы безвременья — или, по-русски, бесчасья, — были для художников наших нелёгкими.

На Запад уехали — многие из товарищей Беленка.

Он — остался на родине. Трудно сказать сейчас — почему.

Об этом он, замыкаясь в себе, не любил говорить.

Его приглашали, буквально зазывали, усердно, часто, много раз, и в Европу, и в Штаты, сулили всякие льготы, уверяли, что там он сумеет в полной мере, так, что все ахнут, наконец-то реализовать свой блестящий, огромный талант.

Думаю, что причина, по которой он, несмотря на призывы уехать на Запад, всё же остался на родине, была простой: Беленку, как никому другому, быть может, нужна была почва под ногами. Почва! Не просто словцо. Но — именно почва. Питающая его. Дающая силы ему. Спасаящая его.

Отринуть её от себя он, крестьянин, с детства ходивший босиком по родной земле, никогда, ни за что не мог.

Крестьянская, кровная этика, святое, именно так, отношение — и любовь — к земле своей древней, к родине, не позволяли ему покинуть родные пределы, где вырос он, где призвание обрёл своё, навсегда.

А жить Беленку становилось — всё труднее. И с каждым годом эти трудности — возрастали.

Несмотря на известность художника, работы его покупали лишь от случая к случаю, изредка.

Под настроение Петя охотно дарил их, если кому-то — друзьям, приятелям, знакомым, даже случайным, — были они по душе.

Он жил в основном на то, что раз в году, терпеливо, привычно дождавшись очереди в союзе художников, где он числился, и получив заказ, а с ним и возможность что-нибудь заработать, снова лепил Ленина.

Лепил — с отвращением. Как же по-другому ваять вождя? Только так. Иногда — и с закрытыми глазами, на ощупь, чтобы не видеть вынужденного, а может, вымученного, поскольку надоело ему давно заниматься этим, стандартного, скучного «произведения» — и летали, вибрируя в воздухе, прикасались нервно к поверхности ненавистной ему скульптуры его длинные, чуткие пальцы.

Так вот, почти вслепую, изваяв ещё одного в бесконечной ленинине заказного «ростовичка», поглядывал на него устало, ворча про себя что-то, видимо, очень сердитое, и с явным, уже заслуженным облегчением — с ним расставался.

Деньги, которые он раз в году получал за скульптуру, распределял наперёд, чтобы хватило их на еду, простейшую самую, на материалы для живописи.

Человек, в быту своём скромном совершенно неприхотливый, Беленок постепенно, не сразу, но, что делать, уж так получилось, всё, наверное, к этому шло, стал с годами и вовсе аскетом.

Известность его — росла.

И где же? За рубежом.

Ну а в родной стране люди официальные — о нём привычно молчали.

Будто и не было вовсе здесь такого художника.

Но он-то ведь — был! И много, больше других, работал.

Хроническое отсутствие внимания — Беленка, разумеется, огорчало.

Внимание было — другим. Подспудным. Неофициальным. Дружеским. И оно — поддерживало Беленка.

Было и понимание. Тоже — вне официоза.

Впрочем, для прежней эпохи это — в порядке вещей. К сожалению. Слишком жестокой бывала эта эпоха к творческим людям. Им трудно жилось тогда.

Беленок — держался, как мог. На упрямстве. На воле. Долго.

Но — сказались все сложности. Петя ощутил на себе их сполна.

Пошатнулось некогда крепкое, с богатырским размахом, здоровье.

Горьковатым и грустноватым, а потом и тревожным стал бывший ранее лучезарным украинский юмор его.

Тем не менее, надо было как-то, пусть и с трудом немалым, с полунищим почти раскладом в настоящем — существовать.

И он — лепил одного Ленина в год. Увы, некуда было деваться. Где же взять ещё средства на жизнь?

И — создавал упорно сотни новых своих работ.

Можно, конечно, долго рассуждать, находя слова для этого подходящие, о редкостной нестигаемости, об украинском упрямстве Беленка, давно уже ставшего москвичом, о том, что, единожды ступив на путь свой, кремнистый, как оказалось, он, человек в искусстве отважный, не изменял пути этому никогда.

Можно и подчеркнуть: вот и ещё один пример действительно трудной, трагической, что уж скрывать, так и есть ведь, судьбы художника — с крупным и ярким талантом, с огромным запасом энергии, но — вынужденного годами прозябать буквально, вести нередко полуголодное, затворническое, — а может, жреческое? — кто знает! — и кто расскажет об этом теперь, на таком отдалении от лет, о которых я говорю и которых нет уже, прошли, миновали, канули в минувшем, легендой стали и мифом, — существование.

Когда-то в его мастерской собирались довольно часто и охотно, поскольку общение было всем нам необходимо в завихрениях жизни столичной и всегда помогало нам выживать и работать, лучшие представители творческой, пёстрой, но такой колоритной элиты, было шумно порою, и весело, и всегда интересно всем.

(— Вы куда?

— К Беленку!

— Мы тоже!

— Так поедем?

— Конечно, поедем!

Приезжали. Дверь мастерской открывал Беленок. Приветливый. Весь — радушие. Улыбался широко. Принимал гостей:

— Здоровеньки булы! Проходите! Здравствуй, Генрих! Здравствуй, Володя! Здравствуй, Игорь! Приветствую, Вагрич! Здравствуй, Эдик! Здорово, Саша! Здравствуй, Таня! Привет, Виталий! Здравствуй, Толя! Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Дима! Я всем вам рад!

Заходили все в мастерскую.

Начиналось — наше общение.

Продолжалось — нередко за полночь.

Иногда — и намного дольше.

Беленок был душой компании.

Все любили бывать у него.

Все ценили его искусство.

И дружили многие с ним.

И, казалось, был он, высокий, бородатый, гостеприимный, да ещё и труженик ярый, вдохновенный, свыше храним...)

Но к концу перестроечных, странных, даже слишком, восьмидесятых — Беленку, такому на редкость терпеливому человеку, жить уже невозможно стало в мастерской, в сыром и холодном, хоть давно обжитом подвале. Простужался он часто, болел.

И покинул он мастерскую. Перебрался в свою квартиру небольшую, неподалёку от Кускова. В ней было суше и теплее. И начал там, как и прежде, много работать.

Больше стало тогда — одиночества. Что же делать! Планида такая. Или, проще, — доля людская? За окном — суета мирская. Ну а здесь — тишина, покой? Сплав привычный — грусти с тоской.

А творчество — продолжалось, виток за витком разматывалась упругая эта спираль, — и знал Беленок прекрасно, что искусство — его спасение, панацея от тягот и бед.

И горел в его обиталище по ночам не гаснущий свет...

(Ну а теперь — небольшое, но важное отступление.

Отец мой, Дмитрий Григорьевич Алейников, был человеком удивительным, наделённым, от природы, талантами разными.

Ему дано было — многое. Прямо с детства, сразу, — и щедро.

Но основным его даром, самым важным, — был дар художника.

Был он акварелистом замечательным. Выдающимся. Подобных я не встречал.

Отец мой — сам по себе. Держался — особняком. Не зависел — ни от кого.

И подход к акварели, и техника, и методы многолетней и всегда вдохновенной работы, всё — своё, и ничьё другое, ни на что и ни на кого не похожее, да такого у отца и быть не могло.

Отец — пейзажист. В работах его, это прежде всего, всегда, в любой его вещи, — есть то, что писатель Грин называл парением духа.

Он дарил людям — радость. Нёс он — ясный свет. Выражал он — дух, созидательный, творческий, древний, — своего родного, степного края — и своего родного мира. Дома. Родной своей почвы.

Я помню, как восторгались работами отца моего московские художники, мои друзья-приятели, герои и подвижники неофициального русского искусства, новаторы, авангардисты.

Ворошилов, Яковлев, Зверев, Пятницкий. Славная гвардия.

И, конечно же, Беленок.

Оставаться к отцовским работам безразличным и равнодушным — Петя никак не мог.

Они приводили Петю в какое-то небывалое, по его-то годам, волнение.

Беленок волновался искренне, откровенно и непосредственно, бурно, словно ребёнок.

Высокий, не просто худющий, а совсем уж отчаянно тощий, в старых джинсах и старом свитере, посверкивая заметной сквозь редкие волосы лысиной, покачивая похожей на плотный шар головой, пощипывая свою чуткую кистью скульптора, с длинными, крепкими пальцами, способными даже на ощупь ваять из глины, из гипса, да из чего угодно, скульптуры любых размеров, седеющую бородку и аккуратно подстриженные седеющие усы, рассматривал Петя пристально отцовские акварели, то приближая их резко, почти вплотную, к небольшим, глубоко сидящим, иногда беспомощно-детским, доверчивым, светлым глазам, то отдаляя их, на вытянутых руках, от себя, чтобы видеть что-то, ему одному понятное, и причмокивал языком, поахивал и покряхтывал, отчего эти звуки сливались в обобщённое «ох, ух ах», — и видно было тогда, что работы ему очень нравятся — и это он так, по-своему, выражает своё одобрение, своё восприятие их.

Насмотревшийся вдоволь, Петя говорил мне, всегда — со значением:

— Твой отец — молодец! Работы — я скажу тебе прямо — люкс! Не как-либо что, а что-либо как! Наш хлопец. Певец Украины.

Особенно Беленок любил подчёркивать это украинское — вот, мол, видите, какие мы все, художники, украинской землёй взращённые, действительно гарные люди! — сами теперь посудите, сколько у нас настоящих, во все времена, талантов!..

Он и по-человечески любил моего отца.

Иногда отец приезжал из Кривого Рога в Москву, и особенно — в годы, когда, после долгих скитаний бездомных, была у меня семья и своя, наконец-то, квартира.

Здесь он тоже много работал. И в пейзажах его жила благодарность русским лесам и окрестным паркам старинным, где любил он бродить один, сердцем всем и душою всею принимая дары природы, вдохновлявшей его, — и радость бытия, с животворным светом, становившимся неизменно долговечным, целебным сиянием.

И в столице отец — порою виделся с Беленком.

Сядут, бывало, художники в сторонке от всех, вдвоём, и беседуют увлечённо, по душам, о чём-то своём.

А то и поют, вдвоём, — украинские старые песни.

Отцу моему симпатичен был Беленок. Всегда, когда приезжал я к родителям, он спрашивал: «Как там Петя?» Приветы ему постоянно, в письмах, передавал.

Сближала их — любовь к родной природе.

И даже не сближала, а роднила.

И верность родине. И песням. И, конечно, — незыблемая верность их — искусству.

Выходец с Украины, из-под Чернобыля, Петя Беленок тосковал в Москве. Жил, здесь, как на чужбине. Пусть и был он в богеме — своим. Пусть известность его, как художника, с каждым годом всё больше росла. Но сердцем он был — в далёком отсюда, родном краю.

И происходило с ним, всё чаще, — что-то совсем уж тяжёлое, даже страшное, — и старался он это всячески от друзей, от знакомых, — скрыть, по привычке защитной своей отшучиваясь, остря, переводя разговор совсем на другую тему.

А его сокровенная тема была — разумеется, родина.

Эту духовную нить, незримую прочную связь Петя сызнава ощущал только в беседах со мной.

Только в нашем, таком уже долгом, доверительном, плодотворном, по-настоящему дружеском, надёжном вполне общении он иногда, не часто, всё-таки раскрывался.

Пожалуй, один я — из всех — и знаю его, таким, каков был он в самом деле.

А человеком был он чистым, грустным, и ясным, и наивным, и глубоким, — как песни, что певали мы вдвоём, те песни украинские, что встарь звучали — там, в подвальной мастерской на Абельмановской, потом — на кухне полупустой, не очень-то уютной, без признаков тепла, его квартиры, где близко, в двух шагах, через дорогу, чуть шелестело листьями Кусково, и вставшие на цыпочки деревья заглядывали ночью к нам в окно...)

Предчувствия иногда — сбываются. Вот что важно.

К предчувствиям относиться — надо со всей серьёзностью.

И тем более, если предчувствия подкреплены — видениями.

Беленок — рисовал, рисовал.

Предчувствовал и предвидел — грядущее. Выражал — наперёд — языком искусства.

И его видения — как их назвать? — конечно, пророческие! — а ещё какие? — сбылись, реальностью стали. Явью.

Чернобыльская авария ужаснула внезапно — всех.

Тогда и вспомнили сразу о том, что давно уже говорил Беленок на образном языке своих необычных и таких прозорливых работ.

Слишком точным — каким же ещё — только так! — оказалось прозрение.

Слишком ранило — как же иначе? — ведь на то и возникло оно, чтобы ранить! — душу художника.

Никогда теперь не удастся ему хоть когда-нибудь вернуться в родное село, на родину предков, — там зона.

С болью он говорил об этом в дни, когда я, купив какие-то, что уж было тогда в магазинах, понемногу всего, продукты, чтобы он, совсем отощавший, хоть немного поел, и, если хватит денег, бутылку вина, навещал его, полубольного, и сидели мы с ним вдвоём, по старинке, привычно беседуя, как и прежде, о важном для нас.

Но работы его содержат, помимо всего, что предвидел он, ещё и нечто такое, что, в извечном противостоянии с коварными силами зла, препятствует разрушению: в них есть великая, светлая, упрямая вера в людей, в торжество несомненное разума, лейтмотивом проходит в них, озаряя их, — убеждённость в жизнестойкости бытия.

За пеленой трагедийности — возникает свет обновления всей израненной и страдающей, но живучей, стойкой природы.

И ясное осознание этого преображения, пусть и в грядущем, всего сущего — помогало — в настоящем — художнику жить.

Но что-то — словно цветущее дерево кто-то жестокий сломал — надломилось в нём.

Всё больше он стал замыкаться в себе. Замыкаться — сознательно. Закрываться, отъединяться — от расхристанной, сложной, горчачей действительности, с которой не хотел примиряться всё чаще, от всего, что связано с нею — там, за блочными стенами дома, от всего, что мучительно близко, но всё-таки — там, за окном, а не здесь, где находится сам он, со своими думами грустными, со своим, сберегаемым им, светлым, чистым, радостным миром, доступ в который закрыт надёжно для бреда и зла.

Месяцами, а то и дольше, не выходил он из дому.

Не хотелось ему окунуться в реальность, с которой был он давно уже не в ладу.

Неподвижно лежал на тахте, размышляя о чём-то своём. Читал. Крутил рукоятку старенького приёмника, разыскивая зарубежные радиоголоса, с их новостями, такими непохожими на отечественные. Слушал, всё чаще, музыку.

Потом, встряхнувшись, рывком выбирался из своего долгого оцепенения, с головой окунался в работу.

Появлялась новая серия работ на больших оргалитах, которые он разыскивал в мебельных магазинах — и по частям, поступательно, перетаскивал их домой.

Если не было оргалитов — рисовал на бумаге.

Он работал — и это главное.

Он работал — и, значит, жил.

И снова работы новые показывал он друзьям.

И в квартиру его набивались иногда десятки людей.

Но уже в посещениях этих — не было прежней радости.

И в показе работ уже не было — прежнего куража.

Всё стало — намного проще.

И — что делать — механистичнее.

Показал работы свои.  
Посмотрели их. Похвалили.  
Пообщались. И — разошлись.  
Кто куда. По делам, возможно.  
По домам. По чуждой ему до сих пор, огромной Москве.  
И опять Беленок оставался — в одиночестве. Тосковал. Выпивал. А порою — пил. И бывало, что и подолгу.  
И опять он потом восставал из тяжёлых своих состояний.  
И опять он — много работал.  
А потом — опять замыкался в себе, от всех и всего.  
И — снова впадал в хандру.  
И потом, очнувшись от этого наваждения, — снова работал.

Между тем, работы его оказались в музеях западных.  
И с выставками путешествовали они по различным странам.  
С успехом прошла персональная выставка в Калифорнии.  
Русский музей в Петербурге в советские годы был очень надёжным хранилищем нашего авангарда. Сотрудники этого славного музея приобрели у Беленка, сознательно, большое число работ. Платить за них много они, разумеется, не могли. Но не в оплате ведь дело. И Петя, насколько я помню, даже, кажется, большинство работ — просто им подарил.

Немало его работ увёз из Союза в Грецию, в тамошний свой музей, Георгий Дионисович Костаки.

Помню броские фотографии зарубежных различных выставок и чудесные экспозиции, где работы сильные Петины великолепно смотрелись.

Помню разные, присылаемые из западных стран, приглашения — приехать туда-то, ждут, мол, с нетерпением, и туда-то, которые с грустью, устало показывал мне Беленок, словно свидетельства некие чего-то более чем странного, непривычного, ничего, конечно же, общего с отечественной действительностью не имеющего, находящегося так далеко, что в само реальное существование такого вот благополучия и какого-то непостижимо спокойного давнего лада трудно было поверить.

Художник, провидевший раньше всех остальных грядущее и переживший, естественно, немалое потрясение, когда всё, о чём прорицал он в работах своих, сбылось, находился на новом этапе сложного своего, но верного, потому что он был предначертан, пути.

Появились, одна за другой, новые, да ещё и очень большого формата, действительно монументальные, выразительные композиции.

Экспрессивная, мощная живопись, вся в движении непрерывном, в сочетании с элементами обдуманного коллажа, чередовалась с близкими к «магическому» реализму, портретами, смелыми, точными, и поэтому возникал совершенно особенный синтез.

Беленковский мастерский почерк был отчётлив и виден везде.

Как выражаться любят умные искусствоведы, работы новые Петины, безусловно, являлись свидетельствами несомненной творческой зрелости.

Более четверти века выдерживавший упрямо в работах своих высокий, отважно и верно взятый, по чутью, по наитию, тон, художник, думали многие, спасён и возвышен творчеством.

Заполучив в подвальной мастерской тяжелый плеврит, в восьмидесяти годах, к сожалению, часто хворает?

Ничего, не беда, поправится.

Он обязательно выздоровеет.

Хандрит? Впадает в депрессии?

Пребывает порой в состоянии самого, что ни на есть, безвыходного отчаяния?

Подумаешь! Юмор вывезет.

Украинский юмор — такой, он откуда хочешь, его, вот увидите, снова вытащит!

Это же Беленок!

Он живучий, все знают, стойкий.

Таково было общее мнение — в столице, которая всё-таки, за долгие годы известности беленковской, по-настоящему так и не поняла, не сумела понять Беленка.

И терпеливый на редкость, но давно и серьёзно больной, одною творческой волей и работой своей державшийся, замечательный этот художник, человек одинокий, усталый, никому никакими просьбами о помощи не докучавший даже в тяжкий период, — умер двадцать первого октября девяносто первого года.

Его, наверное, можно было тогда спасти.

Но никто Беленка не спас.

Говорили, что увезли его, наспех, с тяжёлым приступом, в больницу, — и там оставили в коридоре, на койке, в муках непрерывных, совсем одного.

Пытались его лечить?

Никому ничего не известно.

Это был финал беленковского одиночества затяжного — посреди неприветливой осени, в равнодушном к нему октябре...

Меня в это время не было, с лета ещё, в Москве.

О случившемся с ним — узнал я с довольно большим запозданием.

И многое из всего, что связано в жизни было с Беленком и с нашею дружбой многолетней, я вспомнил тогда.

И увидел его — так ясно, по-особому ясно, такого, каким он и был всегда — чистого, светлого, грустного, ранимого человека.

Дорогого. Надеюсь, для многих.

А не только ведь для меня.

Невнимание к человеку — примета нашего времени.

Горькой, пригревшейся складкой остаётся она у рта.

И только в искусстве нашем — понимание и воскресение.

...Петя, Петро! Лежит прах твой нынче где-то в Измайлове, в церковной ограде, в чужой тебе совершенно московской земле, — да и то потому только, так уж получилось, что Саша Морозов, писатель, наш общий друг, узнав о том, что твоя супруга бывшая долго, полгода, а может, и год, урну с прахом твоим не могла захоронить полюдски, потрясённый дикостью этой, нелепой, потусторонней, договориться сумел сам тогда с властями церковными — и с таким запозданием странным, что и слов-то не подберёшь, чтобы выразить это, да всё же похоронил тебя, друг, — и твоё одиночество прежнее в столице всё продолжается, и только стало оно теперь, наверное, вечным...

Нет Петра Беленка? Он — есть!

Из минувшей эпохи — весть.

В настоящем — память и честь.

А в грядущем — решайте сами.

И работы его — живут.

Существуют, людей храня.

Да и сам он жив — для меня.

Потому что свет его — с нами.

# Зузана КУГЛЕРОВА

/ Братислава /



*Зузана Куглерова — поэт, прозаик, переводчик, журналист. Родилась в 1955 году в г. Братислава (Словакия). Окончила Университет имени Я.А. Коменского; специальность история искусства и педагогика. Основатель журнала Rainbow (Словакия). Соучредитель интернет-ассоциации PARS ARTEM и издатель её электронного журнала. Автор 30 книг (рассказы, стихи, исторические романы). За последнюю поэтическую книгу «Игра со мной» получила премию «MOBILE PRIZE» (Прага, 2017). Член словацкого ПЕН-клуба, Союза писателей Словакии, Союза писателей Македонии и др. Член Академии славянской литературы и искусства (обладатель приза Синдиката болгарских учителей, 2018). Живёт в Братиславе (Словакия).*

## БАЛЛАДА

Моя душа вернулась в дерево —  
спокойна, обнажена.  
Ветвится в тишине.

Гора нашёптывает балладу  
о трёх братьях.

Двое уже на небе,  
но один  
ищет печальную сестрёнку.

Она превратилась в перо —  
неуловимо касается его остывшего сердца.  
Превратилась в дождь.  
Превратилась в листья.  
Опадает осенью на дорогу,  
откуда нет возврата.

Двое ушли,  
но один  
ищет печальную сестричку.

Она зачарована в этом дереве.

## ГАСНУ

Огонь опять впадает в горе,  
сужается петля,  
и я горю.

Он оставил поджигатель —  
несколько сполохов пламени.  
Загораются в ночи и опаляют сны.  
Ищу в них давнюю страсть,  
укутываю ладонью тлеющий уголёк.  
Молчи, пожалуйста, Бог боли,  
пусть ещё горит, пусть это просто...

Ворошу золу воображения.  
Вчера они были живы —  
разноцветные рыбы с полупрозрачными плавниками.  
Плыли в моем сердце  
твои поцелуи, руки,  
твои искры.

Сегодня от них ничего не осталось —  
залегли на глубине, потухли.

И я как пламя керосина  
гасну.

## ОЖОГИ ПОД БЕЛЫМ ПЕПЛОМ

Полтретьего ночи  
читала стихи одного человека —  
в каждой строке след звёздной пыли.  
Так же одинок — как и я  
в своём одиночестве.

Ощущение ветра, коснувшегося огня —  
он сбежал прежде, чем пламя угасло.  
Хижина скрывает угли

под белым пеплом.  
Кружу над нею ладонью,  
пламя ещё не исчезло...

Выключаю звезду в окне,  
но не прячусь в темноте тлеющего сердца,  
слабого мерцания на кончике сигареты.  
Жду утра.  
Зари.

\*

Сбегаю от всего,  
не имеющего будущего и смысла.  
Отвечаю на зов других путей —  
пусть заглушат бунт в крови,  
реке текущей.  
Одарят сном и сбросят оковы с ног.

Не чувствую битвы за общую кость,  
чувствую, как дым  
поднимается над алтарем,  
на котором лежит жертва Богу мира.

Предпочла бы найти свой конец света —  
где водопадом дождь.  
Когда окажусь там,  
повешу сердце на гвоздь. На каплю.  
На воздух.

Аминь.  
И придёт тьма.

## **ЗВЕЗДА**

Не знаю, чего боюсь —  
любви или ненависти,  
молчания или слова.

Обрубаю собственные корни,  
стараюсь не быть,  
не помнить,  
не чувствовать боль.

---

Извлечённые чувства  
скатываю как пальто,  
тревожа сновидческую пыль.

Я хотел уберечь, сохранить...  
в глубину глубин,  
в чёрную дыру,  
в которой потерялась Вселенная.

Воспоминания взрываются  
барабанным боем внутри.  
Боюсь...

...что и там он оставит после себя  
такую же маленькую доверчивую звезду...

*Перевод со словацкого Владимира Коркунова*

# Остап СЛИВИНСКИЙ

/ Львов /

Перевёл с украинского Станислав Бельский



## НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА

Удивляться:  
в управление завершённых дел  
воробьи залетают сквозь крышу

Удивляться:  
старуха в подъезде ссорится  
с темнотой

Удивляться:  
расступилось море,  
а они на жару негодуют

Писать:  
не более чем оставлять свет  
в прихожей

Удивляться:  
на мусорнике — отдельный контейнер  
для домашних растений

Знать:  
все мы — как рыбы и снег —  
непотопляемы

\* \* \*

И даже в самом конце,  
когда почти никого не узнавал,  
когда город был для него словно только что возведённым,  
он встречал нас, танцуя.  
Открывал двери с белой бутоньеркой в петлице,  
полный упрямой свадебной радости,  
и говорил:



# Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

/ Харьков /



## ОРАКУЛ ИЗ СТРАНЫ СОВЕТОВ

*Борис Хазанов. Посох Мафусаила. — Киев: Каяла, 2018 — 236 с. (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»)*

...В самом начале этой книги ее автор признается, что хотел бы, как Стивен Дедалус, очнуться от кошмара истории. При этом он уточняет, что в *такой* истории, где следовало идти в ногу со временем и страной, жить было невозможно, и бегство — в литературу, искусство, эмиграцию, в конце концов — задумывали многие, кого сама жизнь списывала на берег в качестве «расходного материала». Бегство, побег для одних предусматривал долгое путешествие в творчество для других, и «посох Мафусаила» в названии книги — мудрая метафора, действие которой разворачивается на всем жизненном пути.

Итак, если уж история, то — литературы, и это единственное, что удерживало на плаву автора — политического эмигранта, видного представителя зарубежной русской литературы, выпустившего за годы изгнания несколько десятков томов художественной, эссеистической и мемуарной прозы. В своей новой книге Борис Хазанов размышляет о смысле и назначении писательского ремесла в эпоху информационной революции, о судьбе художника и новой роли литературы в современном массовом обществе. Уже сами названия глав обещают встречу со старыми знакомыми в новых, вы правы, декорациях времени и литературной науки, которая, как известно, не стоит на месте, и очередная, авторская интерпретация классических тем и сюжетов — как всегда, захватывающее и увлекательное чтение. «О языке и стиле», «О красоте прозы» (при этом не забыта проза дневниковая), о таких знаковых фигурах, как Франц Кафка, Андре Жид, Чезаре Павезе, Витольд Гомбрович.

«Я не раз задавал себе вопрос: что значит хорошо писать? — вспоминает автор. — Ведь писатель, не правда ли, — это тот, кто хорошо пишет, как ни казалось бы тавтологией такое определе-

ние». На самом деле, как известно, могут быть и плохие писатели, ведь если бы все они были хороши, у нас была бы совсем другая литература. И автор, добавим, в силу своей «неправильности» не оказался бы в изгнании. С другой стороны, он ведь и сам всегда был за «нестандартный» подход к прозе — хорошо это или плохо, особо с этим не сверяясь и демонстрируя черты настоящего мастера-новатора, экспериментатора, формалиста в непоследнем колене. Критика не зря не воспринимала его прозу за фантастику, как номинировал ее сам автор. «Мне грезится повесть, — признавался он, — в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречаемых образов, непредсказуемых поворотов». А если, спросим роман, где все связи неслучайны, а ходы продуманы даже в «экспериментальном» хаосе? «Романист — не тот, кто пишет романы, — отвечает автор. — Романист — это тот, кто мечтает написать роман». И эта книга именно мечты и грезы о «хорошей литературе» — признанного мэтра, который знает, как и из чего она сделана.

Смысл такого подхода к истории литературы — в искренности автора и пронизательности мастера. Разве одно не дополняет другое? Оказывается, не совсем, и перед нами честный и частный случай, который вполне может оказаться общепризнанным правилом. «Автобиографическая проза, пусть даже слегка романизированная, в силу своей двойной природы обречена на неудачу. Писатель, который отважится поместить собственную персону в центр своего нового произведения, потеряет себя. Он может сказать: «Эмма — это я», но не «я — это Эмма». Ибо он остался тем, кем был: сочинителем. Жизнь, которой предстояло стать литературным сюжетом, вопреки его самым честным намерениям, против его воли станет беллетристикой. Таково проклятье или благословение писательского ремесла. Литература противится правде. Искусство видит в ней диверсию. В отместку художник творит собственный правомочный суррогат правды».

С другой стороны, здесь может иметь место ультиматум западной литературе, в которой доминирует как раз «описательный» момент, а не «правда жизни», которой, согласимся, заражен каждый, кому когда-то довелось жить в стране штампов и клише в литературе.

## Сергей ШАБАЛИН

/ Нью-Йорк /



### АВИАМОТОРНАЯ

Я еще пройду по этим дворам...  
на Авиамоторной,  
салютует прохладный ветер  
внезапно наступившей осени,  
что пробует свои силы  
уже в середине июля,  
вздымая поблекший индустриальный мусор  
из флайеров и обрывков «МК».  
Пройдусь с допотопной мыльницей,  
фотографируя росписи на бортах хоккейных коробок,  
и с бутылкой «Арсенального» в нетвердой руке  
навек демобилизованного.  
Я пройду с компактным гипсовым Лениным,  
неизвестно как уцелевшим в девяностые и нулевые —  
он сойдет с невысокого пьедестала  
в самом центре громадно-прямоугольного двора...  
Наверное, здесь живет электорат КПРФ,  
уберегший вождя от реформаторов и вандалов.  
Или начинающие, социально-ответственные миллиардеры,  
понимающие ценность сей статуи для частных коллекций будущего.  
Возможно через год или два  
Ильича установят на балконе какого-нибудь нью-йоркского  
негоцианта,  
который купит фигурку у главы районного ЖКХ...  
Как знать?  
Я пересеку двор наискосок,  
втиснусь в маршрутку и поеду к Марине на «Фрезер»,  
но, зная, что она там нынче не служит,  
выйду на остановке «Аптека»,  
чтобы присесть на заветной скамейке

и поговорить с человеком трудной судьбы  
и знакомым алканом.  
— Скучно, Серёжа, скучно — скажет он.  
— Мне тоже скучно... и грустно, — отвечу я.  
К тому времени ветер утихнет, появится солнце,  
и я выпью еще одно пиво  
у палатки, где спешно заворачивают шаурму  
и продают магниты для холодильников и сигареты.  
Я еще пройдуся по этим дворам...

## СПАЛЬНАЯ ЗОНА

За окном обыкновенного нью-йоркского автобуса —  
обыкновенный дождливый день.  
Такой же серый, как Квинс —  
большой и безликий кусок земли.  
Топографическое недоразумение.  
Ландшафт авторемонтных мастерских  
и бензозаправок.  
Незыблемая проза жизни...  
Даже Бруклин более вариативен —  
там есть променады и даунтаун.  
И музей изобразительного искусства  
с неплохой коллекцией импрессионистов.  
Под станциями бруклинской «надземки»  
варились сценарии кассовых фильмов,  
бродил призрак Роки Бальбоа...  
А в Квинсе совсем нет поэзии.  
И нет мифологии.  
Но есть назначение —  
это огромная спальня  
маршевых солдат капитализма.  
И я один из них.  
Но мне не хочется в генералы...  
Не хватает амбициозности.  
Мне также не хочется  
доспать остаток своих дней именно здесь.  
Я сделаю это в каком-нибудь другом месте.

# Илья ИОСЛОВИЧ

/ Хайфа /



## ГОРБАНЕВСКАЯ И МАКСИМОВА

Я решил написать, что помню о Горбаневской и Максимовой. В сущности, помню немного — в основном это было около 60-ти лет назад. Я поступил в МГУ на мехмат в 1955 году, а они на год раньше, в 1954-м, на филфак. С Горбаневской я познакомился летом 1957-го, когда в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в новом здании на Ленинских горах организовали литературное объединение. Оно выгодно отличалось составом участников и терпимостью руководителя (Старшинов) от объединения гуманитарных факультетов, которое заседало в клубе МГУ на улице Герцена. К этому времени я уже про Наташу слышал — мой школьный друг Сережа Аверинцев рассказал, что у них на филфаке есть такая девочка,



*Лето 1956, ул. Моховая, Наташа Горбаневская, Ира Максимова, Вадим Роговин*

Наташа Горбаневская, которая пишет замечательные стихи. Когда Наташа на объединении их прочла, они мне в самом деле очень понравились. И всем понравились, хотя по тем временам было ясно, что они не для печати: неясная и нечеткая политическая позиция, мелкотемье и т.д. Коля Старшинов, наш руководитель, как правило, своего мнения не высказывал, но и печатать у себя в журнале «Юность» не предлагал. Он там заведовал отделом поэзии. Все эти стихи Наташа, мне кажется, потом никуда не включала и не печатала, а напрасно.

**Из «Цветных сонетов» — «Черный»**

Черные сосны на белом снегу,  
На черной проталине грач,  
А я идти уже не могу,  
Просто хоть плачь.  
В верхушках сосен весенний гул,  
Ветер с юга горяч,  
А я на юге не знал тайгу  
И был инженер или врач,  
Не помню, но брюки порвались в шаг,  
И я уже заработал цингу,  
Но я из такого ада бегу,  
Что чем с покаянной вернуться назад,  
Я и погибели буду рад,  
Под этим небом, на этом снегу.

\* \* \*

Хоронили управдома,  
Шли за ним четыре дома,  
И старейшие в квартале  
Три старухи причитали:  
«Ах, разве знаешь, разве знаешь,  
Где найдешь, где потеряешь,  
Об какой корявый сук  
Обломаешь свой каблук».

\* \* \*

Много маленьких мелких ушек  
Лезут в двери: «Хотим послушать...»,  
А потом прибежала старуха,  
Сунула в дверь мохнатое слухо,  
Ведь это всем и весьма интересно,  
Что он скажет, такой прелестный?  
А он поступил мудро,  
Подарил ей чулки и пудру,  
И спросил, надевая брюки:  
«Где здесь можно вымыть руки?»

Знакомые рассказали, что у Наташи большая дружба, а возможно и роман, с филфаковским комсомольским поэтом Эдиком (Эдмундом) Иодковским, автором песни «Едем мы друзья, в дальние края, будем новоселами и ты и я». Как говорили, Эдик песню написал, а ехать на целину на практику не хотел, но его заставили под угрозой репрессий. В комсомольском комитете филфака сидели суровые деятели: Лакшин (будущее главное демократическое перо «Нового мира») и, если не ошибаюсь, Мариэтта Хан-Магомедова, будущая Чудакова.

К нам на объединение однажды пришел Андрей Вознесенский, еще мало кому известный. Я с ним сразу подружился, и Наташа тоже, он даже за ней ухаживал. Наташа дружила с Ахмадулиной, и мне как-то дала почитать несколько толстых тетрадей с переписанными ахмадулинскими стихами — говорили, что потом они оказались в архиве Гинзбурга в КГБ в папке с надписью «Иословиич». Еще она дружила с Юрой Маниным, который вскоре стал очень известным математиком, и с группой биологов, что собиралась в доме писателей на Лаврушинском переулке у популярной пары: Ген Шангин-Березовский и Ляля Хаджи-Мурат. Кстати говоря, очаровательный и талантливый Ген был аспирантом у одного из самых отвратительных соратников Лысенко: профессора Нуждина.

Дед Шангина, писатель Феокист Березовский, был тем, на кого указывала известная пародия в «Золотом теленке»: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдовался...». Ген был более просоветский, чем его окружение, кроме того он был член партии, но тем не менее, считался вполне своим. Он писал стихи, музыку, сочинял песни — на биофаке он был одним из самых известных людей. Одно время Наташа приходила в этот гостеприимный дом каждый вечер.

В общем, знакомых на естественных факультетах у Наташи было полно. На объединение ходил химик Юра Чаповский, он познакомил меня и Наташу с Саней Грибом, на химфаке тогда еще училась художница Наташа Доброхотова, которая была потом подругой Горбаневской много лет.

Саня Гриб написал на Наташу смешную эпиграмму:

Послушай, Натали,  
Ужасная мура  
Стихи Цветаевой, твои  
Et cetera...

Кто меня познакомил со Стасом Красовицким, я, признаться, уже не помню, но Горбаневская тоже была с ним и его компанией знакома. Наверно это было через Леню Черткова, стихи которого я знал, но самого его никогда не видел. Однажды Наташа меня привела к кому-то из этой бражки Красовицкого — они там не читали стихов, а потушили свет и целовались, девушки сидели у мужчин на коленях. Мы с Наташей просто выпадали из этого стиля — но так уж это было. Андрей Сергеев сам мне позвонил, и мы с ним встретились и долго разговаривали, гуляя вокруг Собачьей Площадки на Арбате (которой давно уже нет).

Друзей и знакомых у Наташи было все больше и больше, и все считали ее не то что бы гением, но очень талантливой.

Молодость — это когда тебя любят за то, что ты есть, а не за заслуги или положение. Так формулирует Аллен де Боттон. Я с Наташей общался чуть не каждый день и старался сохранять все ее стихи, записки и письма. Она часто бывала у меня дома вместе с Вознесенским и отдельно, и моя мама неизменно кормила их котлетами. Однажды они скомпоновали и послали мне письмо, якобы от страстной поклонницы, но я их разоблачил. Как-то на объединении они мне послали записку: «Ваши стихи пронзают наши бедные сердца, как французских рыцарей пронзали стрелы английских лучников в битве при Кресси (или при Пуатье)».

С Ирой (Ираидой) Максимовой Наташа меня познакомила наверно в конце августа или в начале сентября 1957 года, сразу после окончания фестиваля. У Иры была комната в общежитии МГУ в новом здании на Ленинских горах, в зоне Б. Она была иногородняя, золотая медалистка из города Плавска, Тульской области. В этой комнате она жила со своим мужем, Витей Сипачевым, которого в результате разыгравшегося скандала с листовками летом забрали в армию и уже услали в Забайкалье. Мы сразу же подружились. Как поется в песне: «сильнее страсти, крепче, чем любовь». Ира была очень привлекательной женщиной, сделанной целиком из легированной стали, верный друг своих друзей. Для Горбаневской она была чем-то вроде смеси друга и матери.



*Ира Максимова*

История с листовкой была также связана с Горбаневской, причем я ее узнавал по частям с 1957 по 2009 год. На этот счет имеются изданные записки Володи Кузнецова, но они не слишком доступны (Тыняновский сборник, Вып. 10, 1998). С Володей Кузнецовым я познакомился, когда он уже после всего вышел из лагеря, хотя я до восьмого класса учился в той же школе 103 на класс позже него.

Студенты филфака Андрей Терехин и Володя Кузнецов (сын знаменитого лингвиста, профессора П.С. Кузнецова) в марте 1957 года написали довольно лихую антисоветскую листовку по следам венгерских событий осени 1956 года. Напечатали около 10 экземпляров (две закладки) на пишущей машинке Вити Сипачева в комнате Иры Максимовой, и где-то их расклеили или разбросали. Три экземпляра оказались в КГБ. В КГБ среди руководящих кадров еще не кончилась чистка и лотерея со смертельным исходом — кого-то расстреливали, других лишали орденов, разжаловали и исключали из партии, а кого-то оставляли в покое. Они продолжали свою и опасную и трудную службу. Антисоветские листовки — это не мифические шпионы, а реальное дело, на него были брошены лучшие силы.

Незадолго до того посадили поэта Леонида Черткова, КГБ стал таскать его знакомых и вышел на Горбаневскую. Ее задержали на пару дней, и она, как тогда говорили, дала обширные показания, в частности указала на Терехина как на автора стихов из этой листовки:

У нас идиоты в моде,  
Примера какого еще вам?  
Это же видно по морде  
Того же Никиты Хрущева.

В приговоре это называлось: оскорбление одного из руководителей партии и правительства.

Ира Максимова мне говорила, что Наташу тогда охватила безудержная паника. Кузнецов приводит эти показания, и читать их достаточно тяжело. Хотя Брехт и сказал: «Несчастливая страна, которая нуждается в героях», но в героях нуждаются все. Терехина арестовали, и



*Ира Максимова  
и Виктор Сипачев*

он тут же сдал кого мог, хотя гораздо умнее было бы никого не впутывать, а все брать на себя. Кузнецова арестовали через пару дней, и он тоже сознался и рассказал все про всех. Витя Сипачев и Ира Максимова, наоборот, ничего не сказали и ничего не подтвердили. Это им обошлось довольно дорого: Витю отчислили якобы за непосещение военных занятий и забрали в армию. Вдогонку послали протокол об исключении из комсомола (армия этот протокол к исполнению не приняла — на местном уровне). Иру тоже отчислили, но через год ее восстановили, она доучилась на филфаке и защитила дипломную работу по творчеству Луначарского.

Дело в том, что по Ире вздыхали многие деятели из немногочисленной мужской части филфака: и коммунисты (Егоров), и троцкисты (Роговин), и русские черносотенные националисты (Байгушев). Именно Байгушев больше всех постарался, чтобы с нее сняли строгий выговор с предупреждением и восстановили на пятом курсе. Потом мне иногда попадались его статьи — волосы вставали дыбом.

Иру выселили из общежития, и она какое-то время жила у родителей Сипачева, а потом уехала к родственникам в Вильнюс. Наташа, уже отчисленная с филфака, продолжала ходить на наше литобъединение и даже опубликовала стихотворение в газете «Московский университет»:

Я мечтаю о сыне,  
Это самое сильное в жизни желание,  
Невозможное, и возможное,  
И такое желанное...

Потом она уехала в Ленинград. И Ира, и Наташа каждую неделю мне писали, но при переездах и отъездах все эти письма пропали. Замечу, что все мы были очень бедны, но Наташа вообще непонятно как сводила концы. После 1960 года Наташа и Ира вместе работали в Книжной палате.

Владик Егоров, постоянный друг Виктора и Иры и Наташи, сделал небольшую карьеру, вступил в партию и работал в газете «Правда». В конце 70-х я видел по ТВ, как он брал интервью у министра МВД Щелокова. Тот рассказывал, как он любит евреев и какие близкие друзья среди евреев были у него еще в детстве. Помимо прочих достоинств, у Владика были сильно оттопыренные уши. Однажды мы вместе с Наташей написали коллективное стихотворение (каждый по строчке):

Подарите мне со временем собаку,  
Ярко-синюю со временем собаку,  
Буду холить и ласкать свою собаку,  
И слезами поливать свою собаку.  
Вот и вырастет собака пребольшая,  
Ярко-синяя собака и большая,  
И с хвостом и с распрекрасными ушами,  
Как у Владика Егорова ушами.

Перед самой перестройкой Владик даже был каким-то начальником в издательстве «Советский писатель».

Как Наташа вышла на Красную площадь в 1968 году, и как издавала «Хронику текущих событий», я не описываю — все это хорошо известно. Гораздо меньше известно как «Хроника» размножалась: это Витя и Ира ее переснимали и печатали на фотобумаге в своей ванной. Я собирал деньги на эту фотобумагу среди своих знакомых — это была безопасная форма протеста.

По мере того как Наташа становилась все более известной, я стал замечать, что она не слишком обращает внимание на обстоятельства и отношения своих друзей. Она стала общаться с Гинзбургом, а около него терлось слишком много неопределенных людей, часть которых, по моему мнению, на него же и стучали. Вся эта публика без разбора втерлась к Наташе, и она бесхитростно им доверяла и доверялась. В дальнейшем ее неразборчивость только усиливалась. К примеру, она сочла естественным одновременно дружить с Бродским и с Бобышевым, что, мягко говоря, было странно.

В 1995 году я был в Париже и Наташе позвонил, но она не выразила желания встретиться. Ира потом мне сказала, что в тот пери-

од Наташа очень плохо себя чувствовала и в один из тех дней ей сделали операцию на сердце. В любом случае, после Наташиного отъезда я ее не видел. В 2010-м году в своем журнале она привела мои стихи и приписала: Илюша Иослович, друг моей юности.

В конце 1990-х Иловайская-Альберти стала резко изменять направление газеты «Русская мысль» в сторону чисто религиозной пропаганды. Гинзбург стал возражать и его хладнокровно выставили из редакции. Это мне рассказала Ира, которая время от времени навещала Наташу в Париже. Я спросил: «А как Горбаневская?» и Ира ответила: «Занимается несвойственным ей делом: молчит в тряпочку».

Наташа умерла в 2013-м, Ира и Витя умерли почти одновременно в 2014 году.

Из последних Наташиных стихов мне больше всего нравится это:

В тот год испортили весну большевики,  
Чтоб увеличить посещаемость балета,  
Шелка текли в театр, надев дождевики,  
А кто мне обещал, что будет лето?



## Кестутис НАВАКАС

/ Каунас /

### СЕМЬ ОДИНОЧЕСТВ<sup>1</sup>

Книжный магазин с таким названием существовал почти двадцать лет назад, и я имел возможность там работать с приятной дамой по имени Валентина. Были там и другие дамы, и их имена сохранила история. Почему-то самые важные вещи остаются только на фотографиях, которые врут в каждом мегапикселе. Фотографий осталось много, мы были фотогеничны.

Магазин был на улице Даукши, в Каунасе, в старом городе, в те времена там в изобилии праздновались представители низшей богемы с бутылками чернил (не для «паркеров») в руках, однако, встречались и студенты с интеллигентами. Сразу по открытии магазина тут объявился представитель местной фауны — Феликс. Склабился, как расстегнутая ширинка, и представлялся генералом улицы. Славный человек, мы его фиктивно устраивали на работу, и он таскал в контейнер наш мусор, пока не появлялась его так называемая жена, и он не принимался ее колотить. Когда я давал адрес магазина светлой памяти Бронюсу Савукинасу, он среагировал энергично: «О! Прекрасная улица! Я там в сорок пятом здорово отхватил по носу!». Отхватывал и я, только не в то время и не в магазине.

Так было здорово иногда (каждый день) заходить в «Суфлерскую будку», кафе Каунасского малого театра, поболтать с тамошними обитателями. В кафе постоянно сидели два персонажа вышеупомянутого театра — Пликис и Шмикис, и такой себе гробовщик из близлежащего похоронного бюро. Мы всегда отлично ладили, даже иногда похрапывали за компанию, уронив головы на стол. Когда не было особенного желания возвращаться домой, я звонил и говорил, что «Шмикис поймал рыбу». Бывало, ловил, правда, куда девалась та рыба — трудно объяснить, но добираться домой из «Суфлерской будки» доводилось и по сорок пять суток. Шмикису приходилось ловить рыбу уже сетями.

В «Суфлерской будке» даже подавали блюдо под названием «Семь одиночеств», это был, не поверите, карбонад из свёклы. Никто его то-

<sup>1</sup> «Северные Афины», 2014, май, № 20.

гда не заказывал, кроме нас. Была такая девица, влюбленная в уже упомянутую Валентину, она заказывала это блюдо для всего коллектива. Кроме того, эта девица каждый день (!) приносила Валентине по розе. Пробовала приносить орхидеи, но я запретил, ибо орхидеи были моей прерогативой.

Само открытие магазина было невиданного уровня, сам я этот уровень видел одним глазом, хотя в прессе писалось о почти четырех. Помню главного нациста советского кинематографа, Альгимантаса Масюлиса, поднимающегося по лестнице и декламирующего нечто красивое. Звучала живая музыка, хотя танцевать все стеснялись. Я стоял с пиджаком «из стульев Людовика Четырнадцатого» (согласно Марку Зингеру), постепенно переворачивая стул, а может даже — диван, а многочисленные уважаемые гости теснились, пряча за спинами объемистые букеты, которые в нужный момент кому-то да достались.

А потом приехал Валдас Адамкус. У половины гостей даже букеты со спин попадали, никто не мог поверить. Ну, и что, ничего страшного. Президент даже посидел на ступеньках, больше не было, где посидеть. Сказал несколько слов, нельзя же не дать такому человеку поговорить.

Но еще интереснее было, когда приехал президент Эстонии Леннарт Мери. Чего это он ко мне приехал, не совсем понятно. Улица была вся в колдобинах, караван президентских лимузинов почти проваливался в ямы, охрана с отчаяния уже срывала орденские ленточки с костюмов. Но приехали, сбегалась и вся свита, включая посла и военного атташе. Я сказал Президенту оба мне известных эстонских слова, он развеселился, и дальше уже мы общались по-немецки. Я тогда как раз написал рецензию на книгу эстонского автора, поэтому чувствовал в себе неколебимую уверенность, и Президент тоже это чувствовал. Пообщались, потом водители с грехом пополам повыбирались из ям, и все уехали. Самое удивительное, что сразу после их визита улицу приняли асфальтировать. И начали с середины — прямо от входа в магазин. Сейчас уже ни один Президент в яму не заедет. Правда, когда магазин навещала киногруппа из Германии, она еще успела зафиксировать пейзажи, достойные киргизской степи, и даже аборигенов с уже упомянутыми бутылками в руках.

В магазин приезжали почти все главные писатели, от Геды и Венцловы до Гавелиса и Кунчинаса. Бывали разные греки, итальянцы, финны и прочие шведы. Был лауреат Нобелевской премии Тумас Йоста Транстремер. Иногда мероприятия случались по три раза в неделю, а это уже утомляло. Ведь при такой занятости не найдешь и минутки заглянуть в «Суфлерскую будку», а вдруг там Шмикис поймал рыбу?!

Не знаю, чего они приезжали, может, не было, куда деться? Правда, кое-кому приходилось подсказать нужное направление. Как-то я нарисовал подробный план поездки для Йозаса Эрлицкаса, потом отсылал его факсом на телевидение, он тем временем что-то грузил в прямом эфире, получил он тот план и успешно добрался до магазина на своем красном опеле. А Томаса Венцлову пришлось довести самому на арендованных по такому случаю «Жигулях», он сказал, что Жигули — хорошая машина (в чем сомневаюсь), а Каунас похож на Тель-Авив (в чем тоже сомневаюсь).

Бывали всякие развлечения и представления. В те времена популярная радиостанция «Каунофон» каждую неделю подключала магазин к «прямому эфиру». В магазин приходил выбранный радиостанцией человек, который должен был по всем полкам искать одну конкретную книгу. Радио транслировало все мучения ищущего, а я пытался как-то помочь, ведь и шило из мешка само собой не выпадет. Чаще всего находил, хоть и постанывая.

Хотя, конечно, главными представлениями были сами писатели. Всякое там с ними случалось. Одно время, по неизвестным мне причинам, наши мероприятия взялось поддерживать «Каунасское пиво». Каждую неделю приезжала фура с логотипами и сбрасывала нам это пиво. Много. Помню вечер с латышскими поэтами, которые прибыли к нам из музея Майрониса уже тепленькие. А тут — несколько ящиков пива. То вечер, очень мягко говоря, был космического уровня.

Аудитория была различных размеров. Вот на концерт одной авангардной группы собралось 2 (два) слушателя, притом один из них был музыковед, но группа все равно выступила (в магазине, в самом деле, выступали много кто, от Каунасского бигбенда и Каунасского струнного квартета до Гедрюса Купрявичюса). А когда приехала Юрга Иванаускайте с двумя тибетскими монахами, людей собралось, как на концерт Кайли Миноуг на Жальгирис-арене, многие не поместились. Все злятся — но что делать, не помещаются. Тибетских монахов пришлось нести просто на руках, потому что — тоже не поместились бы.

Еще в магазине долгими вечерами проходили собрания клуба „Согласия-Света». С докладами, почетным гостями и тем, что можно налить или нарезать. Всегда это было интересно и, как говорится, полезно. В магазине едва помещались ауры докладчиков, некоторые прорисовывались сквозь окна. А сама атмосфера этих собраний была такая, по которой буду скучать и через сто лет.

И вот однажды — надо же такому приключиться — в финале встречи заклинило железные жалюзи, никто не мог выйти. Вино еще оставалось, сигареты тоже, так что клаустрофобия на время отступила. Всю ночь кто употреблял эти ресурсы, кто спал на стульях, кто продолжал дискутировать об императиве Канта. Вызванные ремонтники разняли жалюзи только в одиннадцать утра. В открытые двери первым делом вырывались эманации табака, потом — изможденные диспутанты, а вошедшие первыми посетители увидели продавленные спавшими стулья, висящие на журнальной вертушке лисьи меха известных журналисток и окаменелости «последнего ужина». И, сверх всего, из служебного помещения сразу появился Дональда Кайокас и принялся угощать покупателей мандаринами. Мало кто решился взять, хотя чего бояться мандаринов — вообще непонятно.

В магазине не было компа, тогда вся деятельность сводилась к ручной работе. Даже письма немецким поставщикам я писал от руки, что им должно было казаться клинописью на глиняных табличках. Кроме того, я использовал вычурный языковой код, который в переводе выглядел бы, примерно, так:

“Глубокоуважаемый, я глубоко убежден в качества ваших изданий и позволю себе просить прислать нам то-то и то-то». Увидев все это, немцы, небось, падали со стульев, поскольку отвечали только на третий день, когда им снова удавалось усесться на те стулья.

Но к немцам я ездил и сам, Франкфуртская книжная ярмарка была обязательной частью программы. Живал у тамошних поляков, которых во Франкфурте почти столько же, сколько в Варшаве. И помогал с жильем приезжавшим коллегам, что было не совсем осмотрительно: за посредничество коллеги старались отблагодарить, чаще всего, бутылкой. Из-за этого попасть на ярмарку удавалось только на третий день, но и там, помню, спал на софе рядом с лифтом. Лифт работал тихо и спать не мешал, посплю и снова иду к стендам заказывать что попало. Хорошо, что эти услужливые поляки исчезли, когда один мой протеже, директор сети книжных магазинов, голышом промчался по их коридорам.

Франкфурт, вообще, был какой-то хмельной. Раз встретились там с представителем издательства «Ташен» и пошли развлечься. Начали развлекаться на какой-то террасе, но, в конце концов, очутились в стриптиз-баре. Тамошние девицы всю миловались с вертикальными перилами, но была еще одна штука под названием «консумация». Купи девице особо дорогого напитка, она сядет тебе на колени, и можешь тогда тискать ее по-всякому. Купил. Села бразильянка, очень похожая на Джордану Буткуте, году в восемьдесят девятом. Ничего я не потискал, хотя где-то рядом немцы уж так щупали девиц, словно тесто для пиццы замешивали. Я просто разговаривал, даже сказал, что ей, наверное, лучше бы не в каком-то клубе скакать, а секретаршей где-нибудь пристроиться. Ответила, что я «зеер симпатиш». Ну, что правда — то правда. Но вот сразу после этого разразилась трагедия. Сидевший рядом коллега, до этого терпеливо наблюдавший происходящее, не выдержал и тоже схватил проходившую мимо девицу, посадил ее к себе на колени, купил выпивки, и тут оказалось, что это Наташа из Калининграда. Само собой, ничего страшного, Наташа там была одна из лучших, но коллеге еще и вздумалось поднытаться с ней на второй этаж, где было гораздо больше интима. Когда он спросил, может ли расплатиться карточкой, я понял, что ему тут хана. Так и было. Окончательная сумма за «оказанные услуги» составила шесть тысяч марок, счет на которые пришел на карту по месту работы, с указанием всех услуг. Неудивительно, что книжный бизнес на некоторое время коллегу заботить перестал.

Все равно получалось не только работать, но и, как говорится, «расслабляться». Не удивительно, ведь эта ярмарка, в самом деле, изнурительная. Раз шли гурьбой в отель, вдруг шедший с нами театральным критик куда-то забрел, свалился в канаву, где и выспался, набрав полные карманы глины. А мы с журналистами таки добрались до отеля и обнаружили там известного культуролога спящим на ковре в коридоре. Пришлось нести, хоть и было нелегко, одна куртка тянула килограммов на двадцать. До сих пор не понял, что это было: еще вечером дискутировали о египетской культуре, и вот он уже спит в коридоре. Положили рядом с соседом по номеру, уже упомянутым Савукинасом, и вышли. Минуты через четыре пришел и сам Бронюс, удивляясь тому, что культуролог проснулся и снова хочет дискутировать о египетской культуре. Мы, в свою очередь, удивились тому, как за какие то четыре минуты Бронюс успел облачиться в элегантный костюм и повязать галстук. Так бывает только в немом кино. Но пришлось и Бронюсу подискутировать. Были мы очень отзывчивые люди, карма улучшалась с каждой минутой.

Бывали и другие ярмарки, например, в Лейпциге. Там я должен был произнести речь, которую, конечно, заранее не написал. После впечатляющей пирушки по случаю открытия в Гевандхаузе, вышли мы с одной переводчицей, следуя моему гениальному плану: мы сейчас идем в отель, я там пишу свою речь, а переводчица ее сразу переводит. Однако, по приходе, из кармана выглянула бутылка виски, переводчица тоже была исключительно наблюдательна, так что занялись совершенно не тем. И произнося речь на ярмарке, пришлось импровизировать в стиле Вивальди, иногда переходя на Паганини.

Импровизировали и другие участники. Помню, только я затеял беседу с какими-то немцами, как подлетает Юргис Кунчинас и говорит: Ер ист айн Дихтер, ихь бин Прозамайстер. И слово сразу перехватил, хотя потом держал это слово уже в отеле, и, когда выселялись, бледная служащая несколько раз заверила нас, что «никогда не забудем того господина из двадцать третьего номера».

Вот, покончив с ярмарочными делами, сидим в одной лейпцигском кабачке, мурлыча себе под нос, а еврейский издатель, выпустивший альбом Чюрлениса, то и дело бегаёт на кухню посмотреть, готовят ли ему стейк. В Германии это не просто проделать, но он старался. Мы думали, что он поварам не только изложил правила кашрута, но и рассказал, что за художник был Чюрленис, поэтому и стейки мы называли «Мотивы Чюрлениса». Один день — «Море», другой — «В лесу».

Еще был незабываемый Калининград, где меня заносило Бог знает куда, может, чтобы рассказывал, что «Семь одиночеств» — это книжный магазин, а не сорт водки. Раз надо было ехать на чтения, однако поэт Айдас М. слишком рано устал, и мы оставили его в отеле. После чтений вернулись, поинтересовались заботливо, приходил ли такой-то и такой-то? — спрашиваем администратора. Говорит: был примерно двенадцать раз, что-то говорил, но ни разу не поняла, что хочет.

А потом это странное возвращение из Калининграда русским плацкартом, полное безумие. Мы с поэтом Айдасом М. купили в привокзальном ресторане молдавское вино, от которого он проснулся, а я заснул. Спал бы с удовольствием и дальше в плацкарте, но на моей полке уже лежала какая-то белоруска, с лицом, как у Лукашенко, которого катком наискосок переехало.

Проводники со всего поезда меня утешали, а поэт Айдас М. в это время сидел где-то с ехавшим вместе с нами Йозасом Будрайтисом и чувствовал себя отлично. Подошел даже ко мне, оцепеневшему, и говорит что-то там про Будрайтиса. Будрайтис? — сразу зашевелились русские. Где Будрайтис? И по меньшей мере три ближайших вагона побежали смотреть, где этот Будрайтис. Счастливый поэт Айдас М. угощался пивом, а я все думал свои думы, а не побежавшие смотреть Будрайтиса русские все меня утешали и даже цитировали Пушкина.

Эти богемные экскурсии напоминают не столько о нашем магазине, сколько о тех временах, однако без магазина не было бы ни ярмарок, ни пережитых там приключений. Приключений хватало и в самом магазине, а когда к нам присоединилась родственная сеть «Гуманитас», с которой мы немного конкурировали, но и очень дружили, приключений стало столько, что и д'Артаньян бы застрелился.

В магазине работали прекрасные девушки, с которыми мне очень нравилось сидеть в барах по соседству, иногда даже в рабочее время и даже закрыв магазин, потому что внезапно накатывала необходимость поесть картофельных блинов. Почти все посещали и мой литературный чердак. Только уходит одна, а уже другая запускает снежком в окно и подходит. Окно открывается. Волшебные синхроны.

Изумительнейшей из них была по имени Роберта. Не всегда ей удавалось прийти на работу, не распространяя запах шампанского, но своим ремеслом она владела в совершенстве. Вот, скажем, приходит человек, говорит: "Ну.. вот.. мне надо.. как его...". Роберта сразу достает книгу с полки и спрашивает, не эту ли. Вот-вот, эту — радуется человек. Высший пилотаж книготорговли.

Крали книги. И незаметно, и на виду. Удивительно, но, когда на одной из обворованных полок повесили объявление, начинавшееся словами "Дорогие воры, с этой полки украли 14 книг...", воровать с нее перестали. Быть может, у вора было начальное образование и он даже умел читать. Но за одним таким я гнался аж до замка. Была зима, небеса казались прозрачными, а я гонюсь за вором. Когда догнал, его уже держал за все пуговицы пальто плотного сложения мужичок и сразу передал вориху в мои немощные руки. Вор с благочестивой физиономией отдал украденное, оказалось, что это была "Библейская энциклопедия". Теперь думаю, что вор, может, прочитал бы эту энциклопедию, стал бы ревностным католиком и с той поры крал бы только батоны.

В подвале магазина (это одно из торговых помещений), стояла трибуна, служившая подставкой для кассового аппарата. Трибуна крепкая, советская, не представляю, на каком основании, но доставленная мною из Каунасской техноложки, с чердака, заваленного непригодными для технологий вещами. С этих трибун в былые времена "толкали речи" весьма ответственные товарищи, в паузах отхлебывая из тут же стоявшего графина. А мы обклеивали «фасад» трибуны аккуратно вырезанными из каких-то книг немецкой поэзии страницами, на которых все прибывавшие гости оставляли свои автографы, наши девушки так и работали — не за кассовым аппаратом, а за автографами классиков. Ведь они — род пуленепробиваемых бронезилов. «Оприходовали» мы две трибуны, на первую автографы уже не помещались, когда-нибудь все можно будет продать музею Майрониса, чтобы и Майронису было как-то спокойнее.

Где теперь вы все, девушки «Семи одиночеств» — Валентина, Даля, Аудра, Альма, Смилла, прочие, с которыми я реже отваживался целоваться на складе? В англиях, ирландиях, еще где-то... Магазины уже давно нет, на его месте кто-то торгует жареными куриными крылышками, большинство наведывавшихся туда писателей — умерли. И потому, как бывает нередко, только снимки торпедируют память.

Перевод с литовского Владислав Просцевичус



Евсей Цейтлин

**Сергей ЮРЬЕНЕН**

/ Нью-Йорк /

**Евсей ЦЕЙТЛИН**

/ Чикаго /



Сергей Юрьенен

## МИР ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Беседа Евсея Цейтлина с прозаиком, журналистом  
и издателем Сергеем Юрьененом

*Из цикла «Откуда и куда. Писатели Русского Зарубежья»*

**Е.Ц.** Первая книга, которую я прочитал, попав много лет назад в эмиграцию, был Ваш роман «Вольный стрелок». Он не просто поразил меня — остался со мной на долгие годы. Конечно, я был не одинок в своем восприятии этого произведения. Василий Аксенов, восторгаясь романом, говорил, что «Вольный стрелок» сразу вывел автора в авангард его литературного поколения. Примечательно: книга увидела свет не в оригинале, а по-французски, в 1980-м. Отклики прессы были единодушно восторженными. «Великий русский писатель родился во Франции»; «Самый inferнальный из советских русских... Советский вольный стрелок, у которого есть гений и нет иллюзий...» Успех казался тем более ошеломляющим, что достался недавнему беженцу из СССР.

Прошло почти сорок лет. А в России «Вольный стрелок» до сих пор по-настоящему не прочитан. Может быть, потому, что многое в этом романе удивляет. И его архитектура, явно связанная с традицией плутовского романа. И главные герои — конечно, отправляющиеся в путешествие. Их двое: сбросивший оковы идеологии и страха супермен из «тайной службы», а также молодой писатель, который вскоре, подобно автору, станет в Париже невозвращенцем. Как и подobaет в плутовском романе, текст густо насыщен эротикой, экзотичными описаниями быта умирающей империи, а еще — экзистенциальными раздумьями, в которые погружены персонажи.

Как Вы шли к этому роману? Как и когда писали его?

**С.Ю.** Я был очень рад реакции Василия Павловича — тем более что когда-то еще школьником послал ему письмо, оставшееся без ответа: восхищался его метафорами, сравнивая с бабелевскими. Что

касается французской реакции на мой дебют, было бы ошибкой думать, что Ваш покорный даже по молодости терял голову от газетных эпитетов. Слава, известность, признание — эти побочные шумовые эффекты простого действия письма скорее раздражали. Мне куда ближе известная психоаналитикам установка на «бегство от успеха». Не только по причинам эстетическим, хотя, конечно, с отрочества было глубоко овнутрено, что «быть знаменитым некрасиво». Полностью отдавал себе отчет, что эпитеты имеют отношение к потенциалу, но я и так был в нем уверен. Чувствовал в себе силу на десять таких романов. Если что-то осталось ненаписанным, то потому что так легли карты. К сожалению, тот шум ранних лет задел некоторых из тех, кого принято называть собратями по перу. Кого-то занозило на долгие годы. Четверть века спустя в Праге, на радио «Свобода», во время перекура во внутреннем патио бывшего парламентского здания на Виноградской, один из таких «собратьев» внезапно стал мне цитировать французскую прессу. Я смотрел на него с недоумением. Я совсем забыл про те авансы, которые в глазах этого тайного доброжелателя, видимо, не оправдал последующей продукцией и вообще всей траекторией своего пути. Но всем не угодишь. Интересы экзистенциально-прозаика в том, что он делает здесь-и-сейчас.

«Вольный стрелок» был написан за два месяца. Однако предыстория длинней. Мои первые романские попытки относятся к шестнадцати годам. К семнадцати возникло рабочее название второго замысла: «16–17». Стоило намерению возникнуть, как сам жанр стал искать возможность воплощения. Эмбрион романа привел после минской школы в Москву, бросал на родину Канта, на Куршскую косу, где проводил вакации Томас Манн, в Таджикистан, чреватое опасным будущим «подбрюшье» сверхдержавы, а после ряда возрастающих в объеме попыток и неудач, вытолкнул во Францию — на родину романа. Однако внутри свободы автор еще был скован, отсюда провал первых парижских попыток (вроде текста «Вечный кайф», начатого на электрической Ай-Би-Эм с установкой сломить самоцензуру, зашедшую в извилинах). Этот недо-роман был утрачен в метро при переезде из Бельвилья в Монтрей, в бывшее семейное гнездо испанских политэмигрантов и нелегалов (после Франко они вернулись в Испанию и сели там в кресла законодательной власти). В квартире, брошенной в Монрее (а это последняя остановка одной из линий городского парижского метро), был кабинет с библиотекой. Тома Сталина на испанском меня ужасно раздражали. Возможно, колером. У этого собрания был круто-фекальный цвет. Я проверил, нет ли автографов, ведь именно Сталин командировал моего тестя, бывшего команданте республиканской армии, и его старшую подругу Пассионарию в Париж, чтобы воссоздать компартию и развернуть тайный фронт против Франко. Автографов не было, и я вынес собрание сочинений из дому. Половина библиотеки тестя осталась коммунистической, моя половина стала «анти». Был установлен черный стол на треногах, водруже-

на Ай-Би-Эм и, как только дочь уехала на летние каникулы, роман начал писаться. Именно с того момента, который я сам пережил за десять лет до того: прихода поезда под вокзальные своды Калининграда/Кенигсберга. Я знал, что времени отпущено до конца лета и работал: днем на машинке, ночью, когда это было невозможно из-за соседей, писал от руки, чтобы перепечатать назавтра.

К счастью, у меня был антигерой. В отличие от героя-писателя, *bad guy* был человек действия, как и положено оперативнику, но при этом имел метафизические потребности, страдающее самосознание и желание спасти несчастную страну. Как и откуда он явился? Никого подобного в советской реальности не наблюдал. Триллеров и детективов тогда не читал, считая паралитературой. Антигерой возник гипотетически. Тогда как раз начинался такой тренд — считать, что импульсом и субъектом благих преобразований станут национально-мыслящие силы в армии. Помните военно-патриотические игрища для пионеров под названием «Зарница»? Нечто подобное, Зарубежью известное еще с «евразийства» 20-х–30-х, стало охватывать определенные «круги влияния». Роман переводился на французский, когда на западное рождество 1979 года началась война в Афганистане. Но и она не погасила зарубежную «Зарницу». Я был пассажиром другого «поезда мысли». Мне казалось, что перемен надо ждать со стороны номенклатурных «западников». Скажем, либерально-демократически настроенных функционеров в Международном отделе ЦК КПСС и тех, кто держал «меч партии», подвластный этому стратегически-глобальному «отделу». Отсюда — антигерой с кеннедиевской улыбкой. Ставрогин из «органов».

**Е.Ц.** Существуют разные — порой диаметрально противоположные — суждения о роли эмиграции в жизни писателя. Многие — большинство? — уверены: эмиграция для творца — всегда трагедия. Эмиграция — «это очень тяжело, — говорит Дина Рубина. — Конечно, это харакири. И твои кишки шлепаются на асфальт». Другие считают: эмиграция — благо, которое дарит литератору судьба. Иосиф Бродский с одобрением вспомнил в одном из интервью слова Генриха Белля, записавшего в дневнике: чем дальше письменный стол художника будет стоять от отчества, тем лучше для творца. Обе эти точки зрения по-своему верны. А в чем убедились на собственном опыте Вы, живя и работая в эмиграции более сорока лет?

**С.Ю.** Эмиграция воспринимается как трагедия, когда мир разделен. Убывая (убивая?..), я знал, что навсегда теряю несвободную, но бесконечно дорогую половину. Но откуда было счастье свободы? Даже тогда? Хотя я еще мог понять и даже отчасти разделить чувства того русского князя первой волны эмиграции, который ходил пешком смотреть, как цветет гречиха за Бугом. Сегодня мир художно, но един. Стал маленьким, простым и пошловатым. Трагизм

ушел. Для новых поколений — уже не эмигрантов, а мигрантов, преследующих личный интерес, — вопрос лишился остроты, которую мы переживали.

Одни не могут прервать «химическую связь с почвой», о чем писал Достоевский, хотя ему неплохо работалось за границей. Другие больше связаны не с землей, а с воздухом, с атмосферой, субстанцией космополитичной — этим легче. Помню, как в Америке меня поразили небеса. Глубина их. Точно так же, как когда-то парижский воздух. А еще раньше, совсем давно, воздух Питера, который я терял и снова обретал. Скорее всего, я из людей воздуха. Даром, что ли, четверть века растворялся в эфире. Но обе точки зрения верны — согласен. Гремучее их единство дает эмигранту драйв той же силы, что движет людьми с биполярными расстройтвами.

**Е.Ц.** Большинство Ваших книг откровенно автобиографичны. По сути все этапы Вашей жизни, похожей на роман, стали почвой романов — в буквальном смысле слова. И учеба в МГУ, где формировался «подпольный писатель». И женитьба на студентке Ауроре Гальего, дочери будущего Генсека Компартии Народов Испании. И бегство на Запад. И скитания по странам Европы. И многолетняя служба на радио «Свобода»... Работая над автобиографическими книгами, вступаете ли Вы в конфликт со своей памятью? Уточняете ли собственный жизненный выбор? Спорите ли с «идеями времени»?

**С.Ю.** Меня всегда разрывало между опытом и воображением. И тем больше, чем дальше в лес — все тот же дантовский или тот, куда с возрастом уходят йогги. Когда побеждает воображение, выходят такие вещи, как «Вольный стрелок», «Дочь генерального секретаря», «Линтенька, или Воспарившие». Но потом вспоминаешь про «триллерность» собственного сюжета. Не мой ведь вымысел. Этот узор выписан некими надличными силами, избравшими меня своей точкой зрения. Иначе зачем было столько испытаний? Вот и возвращаешься к прозе «автобио» или, точнее, к нон-фикшн, «новой журналистике» с присутствием первого лица. Тогда получают такие «фактоиды»: «Музей шпионажа», «Диссиданс мон амур», «Фён».

Конфликты с памятью? Провалов в нейросети пока не ощущаю. Стоит сказать: говори, Мнемозина, и богиня бывает нелегко остановиться. Но я ведь пишу не мемуары. Несмотря на то, что стремишься к предельной точности, сам жанр «фактоида», если говорить об этих книгах, предполагает включение воображения. Результат заставляет вспомнить знаменитую формулу советской юриспруденции, не лишённую зловещей красоты: «заведомо ложные измышления». Но как еще донести свою правду?

**Е.Ц.** Вы попали на Запад молодым, тридцатилетним, человеком. Здесь во многом и происходило Ваше формирование как писателя. И

это явственно проявилось в Ваших книгах. За примером далеко ходить не надо: Ваша проза может стать яркой иллюстрацией к спорам критиков об изображении секса в художественной литературе. Замечу: игнорируя эти споры, издатели во всем мире требуют от своих авторов «клубнички». Но в Ваших произведениях секс — не «наживка» для читателя. Показ интимных отношений героев в Ваших книгах обнажает не только тела, но души. Увы, понятно, почему Ваши вещи с таким трудом издаются в России. Об этом еще четверть века назад точно написал Сергей Чупринин в своей статье «Случай Юрьенена»: «Непрочитанность морально и словесно раскрепощенной «новой» прозы — прямое следствие того, что страна, оказывается, внутренне не готова к упразднению запретов, — та самая страна, что посмотрела уже «Эмманюэль» или еще что-либо в том же роде по кабельному ТВ, уже свыклась с домодельными «мистерами икс» и импортными «плейбойями» в подземных переходах, но от литературы и литературных журналов ждет по-прежнему сдержанности, целомудрия, такта, всего того, что могло бы служить как раз противовесом от нахальной рыночной вседозволенности» («Столица», 1993, №33). Что добавить к этим словам спустя годы? Ваши книги с их ненормативной лексикой по-прежнему пор ханжески убирают из раздела «высокой» литературы. Кстати, для любителей порнографии они изобразительно скупы, сложны, даже заумны.

Вы очевидно задумывались не только о художественном опыте Толстого и Достоевского, но внимательно — как ученик — читали Генри Миллера, Джона Апдайка, Филиппа Рота. Однажды Вы проинципательно заметили: «Хороший вкус связан с нарушением «хорошего вкуса». Достоевский. Джойс. Селин. С точки зрения «вкуса», к каждому можно предъявить претензии. Неоспорима только сила нарушений». Но продолжим эту тему: что можете Вы ответить критикам, которые, случалось, обвиняли Ваши вещи в чрезмерном эротизме или даже в порнографии?

**С.Ю.** Запад для меня начался задолго до того, как я там оказался физически. Первым автором, от которого в детстве я сошел с ума, был Рабле. В первом классе мама подарила мне «детский» вариант, и я к нему постоянно возвращался, а в третьем достал и прочел нецензурированный — в переводе Любимова. Надо сказать, что понравился меньше. У меня есть рассказ «Хемингуэй» — о том, как лет в одиннадцать мне его открыли девочки постарше: откровенным рассказом «У нас в Мичигане». Так получилось, что благодаря Хемингуэю я стал открывать тех, кого он называл учителями: не только Джойса, но и Толстого, Достоевского, Тургенева (заодно и проинципанную «биологизмом» ранне-советскую прозу вроде Пильняка, Веселого, Всеволода Иванова, Леонова). Не говоря о названных «Папой» французах. Не говоря о литературе античности (Платон, Сапфо, «Золотой осел», «Сатирикон») и Возрождения («Декамерон»).

Что тут «ронять имена»: Вы имеете дело с безумным книгочеем. Стал им в четыре года, таким и остаюсь. Недавно почившего Филиппа Рота прочитал уже на Западе, но Лоуренса, Миллера, Набокова, Апдайка, Мейлера, Пруста, Андре Жида, Селина открыл еще там. В старших классах узнал имя Фрейда, и с первого же курса стал его читать в библиотеках МГУ, где хранились его издания десятих-двадцатых годов. Я знал, что нельзя писать честно, обходя сексуальность. Вот почему «реакционный» секретариат правления СП РСФСР, который должен был утвердить решение Московской писательской организации о приеме Вашего покорного в советские писатели, только под давлением «тайного» либерала Сергея Михалкова принял положительное решение. Но с оговоркой: строго предупредить молодого прозаика о пагубности увлечения эротикой и ненормативной лексикой. Сочувствующая молодым пожилая секретарша показала мне этот невероятный документ. Как и экземпляр моей первой и единственной советской книжки, гневно исчерканный секретарями. Я увидел свою перспективу в совлитературе. О какой «правде жизни» можно говорить в этом детском саду? Это, конечно, тоже повлияло на решение выбрать «свободу творчества» в Париже.

Но и тут — с первых же рассказов, написанных «в модусе свободы» — меня стали учить приличиям в эмигрантской периодике. То же лицемерие, но уже не имеющее отношения к идеологии. Эта форма лжи была производной от «национальных традиций» и культуры.

То, что «Вольный стрелок» вышел сначала по-французски, объясняется не моим «западничеством». Русские издательства Зарубежья — с одной стороны, «Посев», с другой «Синтаксис» — от публикации воздержались. Как воздержалась в Америке и Эллендея Проффер, которой Аксенов рекомендовал выпустить роман в «американском» переводе: почему-то Василий Павлович полагал, что в США это будет бестселлер. По-моему, он недооценивал традиции пуританизма. Я всегда думал, что как прозаик больше всего обязан американской литературе, но без проблем вписался именно во французскую.

Во Франции, кстати, была не только хвала. Упрек, единственный, прозвучавший из коммунистической газеты, характерен: мол, в смысле секса видали мы и не такое. Резонно — в стране «божественного маркиза». Но с экстремально эротичными французами конкурировать я не стремился. Как не стремился ни к бестселлерности, ни к скандалу. Провоцировать тоже не входило в замысел. Забота была о как можно более точном романном адеквате образа мира и человека. Все та же «правда жизни», как я ее понимал. Все тот же «реализм без берегов», прикрас и умолчаний.

Потом прокатилась видеореволюция. Пришел Интернет, а с ним общедоступность виртуального секса во всех формах. Если подключенное к прогрессу человечество не превратилось в глобального мастурбатора, то уж точно пресытилось — так, что возник откат и вектор

на десексуализацию. Секс в литературе стал вызывать протест. «В отличие от того, что вы писали в эмиграции, ваша советская книжка воспринимается, как глоток свежего воздуха», — написал мне один критик. Так что мои изначальные установки разошлись с сегодняшним запросом. В свое время роман «Воскресенье» шокировал пуританскую Америку. Но поздний Толстой, радовавшийся освобождению от «базового инстинкта» и проклинавший скверну, которой был подвержен с отрочества, — тот Толстой, возможно, попал бы сегодня в тренд. Смирно осознаю разномасштабность, однако в данном смысле предпочитаю остаться писателем своего поколения. Прединтернетовских «детей цветов» с их радужным эротизмом. «Темный континент», как говорил о сексе Фрейд, все еще полон белых пятен и всегда будет вдохновлять не только сексологов. Среди эпиграфов, которые я предположил своему первому роману, были слова из древнеегипетской «Книги мертвых» — о заклинании небытия. Того, которым ведает Танатос. Но есть небытие созидательное, и это уже сфера Бога Любви, производящего и утверждающего жизнь во всех ее проявлениях. В этом с Эросом мы заодно. Как и Толстой: он не сомневался, что единственная задача художника учить «полюблять» жизнь.

**Е.Ц.** Ваши следующие — после «Вольного стрелка» — книги не похожи на Ваш первый роман. В давней уже беседе с Дмитрием Бавильским (2005) Вы точно обозначили характер своих поисков в те годы и причину появления Вашей новой прозы: «Усталость формы. Пора «евророманов». Что дал Вам как писателю этот жанр? Он уже исчерпал для Вас свои возможности?

**С.Ю.** Благодаря Горбачеву, время тогда не просто обрело голос и ускорилося: оно рвалось вперед с такой энергией, что многословие воспринималось как анахронизм. Я хотел добиться краткости при сохранении емкости, которая позволила бы всерьез назвать тонкую книжку романом. Жил тогда в Западной Европе, которая стремительно объединялась. Отсюда «евро-» — отчасти ироническое, но предвосхитившее распространение этой приставки: от «евро»валюты до «евроремонтов». Цикл «евророманов» был открыт с началом 90-х сочинением «Беглый раб» и завершен в 2005-м текстом «Суоми», тогда же появившемся в журнале «Знамя», а написанном в основном в вашингтонском метро на дальних перегонах к месту работы в штате Мериленд и обратно. Таким было прощание со Старым Светом. Прощание с временем надежд на то, что мир изменится к лучшему, а заодно с эстетикой краткости. В моем первом «американском романе» «Линтенька, или Воспарившие» уже страниц 600.

**Е.Ц.** Вы начали заниматься художественным переводом в 17 лет. Значит, уже более полувека длится эта Ваша страда. Однако и здесь Вы, если не ошибаюсь, пошли вразрез со сложившимися традициями. Вы однажды заметили, что в западной литературе Вас как переводчика

притягивают совсем иные имена — не те, что десятилетиями пропагандировал столь любимый Вами когда-то журнал «Иностранная литература». Ну что ж, войдем в Вашу «переводческую лабораторию»?

**С.Ю.** Мальчиком я вознамерился стать «европейски образованным человеком» и, по завету Маркса, вооружиться для жизненной борьбы иностранными языками. Приобрел самоучители французского и немецкого. К счастью, в пятом классе начали преподавать английский, и я стал его фанатиком. Ездил в центр на главпочтамт за газетами английских, американских и австралийских компартий и пытался по-английски вести свой дневник. Помню, какое счастье меня охватило, когда в одном из пособий увидел по-английски рассказ Хемингуэя «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и получил возможность сравнить оригинал с русским переводом. Я очень любил Хемингуэя в исполнении достославного переводческого коллектива под руководством Ивана Кашкина: Топер, Холмская, Дарузес, Волжина, Калашникова. Эти имена у меня вызывали трепет. И однако подросток бросил им вызов и стал переводить сам. «КашкИнцев» превзойти не удалось, но зато мне открылось беспардонное всеислие цензуры, не щадившей даже «Папу».

В юности я переводил для себя — просто потому, что хотелось видеть, как это будет по-русски. Возможно ли такое на родном мне языке? «Любовник леди Чаттерлей» Лоуренса. Или Норман Мейлер, за «покетбэками» которого я охотился в букинистических Москвы и Питера. Французский был на уровне чтения Дидро со словарем, когда моей женой стала испанская парижанка, с детства многоязычная. Переводить для Ауроры было, как дышать. Она просто брала польскую, французскую, испанскую книжку и — синхронно читала мне по-русски. Мрожека, Виана, Селина — целыми романами. Вкусы совпадали, так что мы с ней сплотились в переводческий тандем. Но «капитализировать» совместную активность не получилось ни в Советском Союзе (где «Иностранная литература» отшатнулась от рассказов Сартра), ни в эмиграции (где даже прогрессивное «Эхо» отклонило французскую феминистскую прозу). Тем не менее мы продолжали сизифов труд: рассказы Чарльза Буковски, «Меа кульпа» и другие малые вещи Селина, роман Эмманюэля Бова «Мои друзья». Отдельные переводы из французской, испанской и латиноамериканской литератур звучали в моей программе «Экслибрис» на подрывных волнах, но в целом это был культурный альтруизм в действии. Хотелось поделиться и разделить читательскую радость. Здесь, в Америке, я собрал все в большом томе «Оригиналы в переводе» и выпустил в нашем с Мариной Ками онлайн-издательстве «Франтирер США».

**Е.Ц.** Переехав в США, Вы написали несколько романов на американском материале. Первый из них — «Линтенька, или Воспарившие» — получил в 2009 году «Русскую Премию». В своих книгах Вы

резко разрушаете уже сложившиеся штампы, по которым в последние годы бойко изготавливаются так называемые эмигрантские романы. Задумывались ли Вы об этом сознательном или невольном противостоянии?

**С.Ю.** Депрессия новоприбывшего? Эмигрант разбивает сердце об Америку и переходит от обожания к ненависти? Время, возможно, изменило сюжеты, но я следовал своему собственному. Меня формировали слова Кеннеди. В пятнадцать лет в Заводском районе Минска вырезал их из журнала «Америка» и приклеил хлебным мякишем к стене. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для твоей страны». Через сорок с лишним лет, когда оказался в Америке, я обнаружил: страна во многом не похожа на мои представления о ней. Но больше всего поразили в ней русскоязычные. Надо напомнить, что, покинув Советский Союз в 1977 году, я не возвращался ни туда, ни в его приемницу РФ. Я чувствовал себя, как эмигрант образца 1917 года при встрече с советскими людьми даже не 37-го, а 1947 года. Где привычные мне координаты, где иерархия ценностей? «Ну, как вам наша Америчка?» Представляете, как это звучало для традиционного «патриота свободы»? Эстетически, этически, религиозно «новые русские» оказались непостижимо другими. Травмированные переменами в своей стране, вывезли оттуда багаж дегуманизации, резко возросший за тридцать лет моего отсутствия. Включая сюда и новое мышление. Но не то, о котором мечтал Горбачев «для страны и мира», а дохристианское. Вот это язычество, если не сказать дикарство с магическим видением мира и вдохновило меня на первый «американский» роман.

**Е.Ц.** В «Линтеньке» Вы добиваетесь безусловной правды в изображении «внутреннего человека», погружаясь вместе с героями в мир эзотерики. Этот мотив не случаен у Вас — он звучит уже в «Вольном стрелке». Однако, как Вы, конечно, заметили, эзотерика тоже давным-давно стала модой, больше того — вошла в литературный ширпотреб. Не боязно ли Вам теперь обращаться к любимой теме?

**С.Ю.** Это правда: тенденция была обозначена задолго до того, как массы охватил магифренический синдром, который исследует современная психиатрия. Хотелось бы надеяться, что читатель чувствует в «Линтеньке» ироническую дистанцию по отношению к «пандемии оккультного».

**Е.Ц.** Во всех своих биографических справках Вы не забываете отметить: «В МГУ подружился с Михаилом Эпштейном». Конечно, М.Н. Эпштейн — знаковая фигура в современной культурологии. И все же: что дала Вам эта многолетняя дружба? Отчасти ответ очевиден: вместе с М. Эпштейном Вы написали удивительную книгу — «Энциклопедия юности». Однако наверняка этот ответ не полон.

**С.Ю.** Наши отношения — это иллюстрация к сталинским песням. Одна из кинофильма «Свинарка и пастух»: «Друга ты никогда не забудешь, если с ним повстречался в Москве». Другая была написана к открытию Главного здания МГУ: «Друзья, люблю я Ленинские горы». Именно здесь, после выпивки в 5-м корпусе студгородка и по пути к 31-му троллейбусу, мы под октябрьским дождем спонтанно реинкарнировали клятву юношей Герцена и Огарева. 17-летний Миша, наступая в лужи, пообещал перевернуть весь мир, а я, считая себя в свои девятнадцать более реалистичным, высказал желание сделаться писателем не менее, чем Юрий Казаков. В «ЭЮ» я писал о том, как постоянство разума моего московского приятеля меняло гравитационное поле юности. Помимо всего прочего, то была пора великой тревоги и неуверенности — в себе, в завтрашнем дне, в будущем, в возможности самоосуществиться и просто выжить. Мы разные люди, несхожими были и наши обстоятельства. Но эволюция и экспансия этого самого сердечного разума из тех, с которыми сталкивала жизнь, само присутствие друга вызывает у меня, прошу прощения за расхожий эпитет, онтологическую благодарность. Особенно, когда я оглядываюсь назад: там и тогда все было правильно. Не только ранние озарения и взлеты. Все глупости, ошибки, эксцессы и трансгрессии. Даже когда-то распитая нами бутылка «Рябиновой горькой» — и та была безошибочной.

**Е.Ц.** Одни литераторы каждый день садятся за письменный стол (наверное, сейчас лучше сказать: за компьютер). Другие неделями, месяцами, иногда годами не подходят к своему «станку». А Вы? Близко ли Вам известное правило: пиши только тогда, когда не можешь промолчать?

**С.Ю.** Когда-то в юности я прочитал, что Апдайк снимает офис, куда ходит, как другие (почему-то их в России называют оскорбительно «планктоном») на нормальную работу «от» и «до». Мне выпала другая американская судьба: первопоселенца. Внелитературный мир требовательно отвлекает. Когда долго не пишу, я окружаю себя разнообразными средствами самовыражения. Дести бумаги, пишущие машинки, лэптопы. Присутствие этого сначала укоряет, потом давит чувством вины и на какой-то стадии переходит в панику, что я так и унесу с собой то, что стоило бы сказать. А главное так, как никто за меня не скажет. Обреченный болезнью Апдайк замечательно, я бы сказал, по-тютчевски, об этом написал. Тютчеву жалко не жизни, а огня, Апдайку — сложности и богатства своей внутренней вселенной, которую приходится уносить, тем самым обделяя тех, кто остается. Но для нас остаются и Тютчев, и Апдайк, и все, кто смог реинкарнировать себя в мировую культуру.

**Е.Ц.** «Рукописи не горят, но сгорают человеческие судьбы. Тут одна из горьких тем подлинной, еще не написанной истории нашей

литературы». Так я когда-то начал свою книгу «Писатель в провинции» (Москва, «Советский писатель», 1990). Вы, думая о том же, создали на Интернет-платформе Lulu замечательное издательство Franc-Tireur USA (все тот же «Вольный стрелок»). Вы отыскиваете в российской глубинке талантливых авторов. С успехом находите их и в эмиграции: ведь литературная эмиграция — это тоже провинция. Как живет Ваше издательство сегодня?

**С.Ю.** Интересно, дорогой Евсей, что мы с Вами собратья не только по перу, но и по тому издательству на Арбате, которое не случайно слыло среди писателей «престижным»: несмотря на эпитет «советский» оно отстаивало достоинство литературы. Неудивительно, что именно там вышла Ваша книга с таким «несоветским» названием — не столько «подрывным», сколько потенциально взрывчатым. Понятия «писатель» и «провинция» взаимно отрицают друг друга, ибо там, где дух и слово, где идет работа бодрствующего самосознания, там смысл и центр.

Говоря о нашем с Мариной Ками издательстве, то в этом (2018) году, оно отмечает свое десятилетие. Без особой, и даже вовсе без помпы. Издано полтысячи книг, включая электронные издания. Мы верны нашим авторам в мире, который мы не разделяем на «центры» и «периферии». Окружность нигде, центр — повсюду, как вслед за Гермесом Триждывеличайшим говорил философ, на улице которого я жил в Париже. Центр там, где автор. Единственная точка зрения. Его неповторимое «я», которое так или иначе расширяет оком русскоязычного самосознания.

**Е.Ц.** Вы уже не раз рассказывали о своей работе на радио «Свобода». Выпустили даже сборник собственных эссе, когда-то звучавших в эфире. Не сомневаюсь: тысячи людей до сих помнят созданные Вами радиопрограммы «Поверх барьеров», «Экслибрис» и другие. В течение четверти века Вы способствовали таким образом развитию свободной русской культуры. Продолжаете ли Вы следить за литературной жизнью России? Не я первый заметил: там сейчас существуют как бы несколько параллельных литератур. Еще по сути жива старая — советская. Есть, условно говоря, литературы демократического и патриотического направлений. И, наконец, бурно развивается литература Интернета. Мелькание имен — начинающих авторов, лауреатов всевозможных премий и конкурсов. И — множество «голых королей». Куда, на Ваш взгляд, устремлена российская словесность сегодня?

**С.Ю.** Понятие «мировой литературы» родилось во Фракнфурте-на-Майне. Я родился в другом Франкфурте, на Одере, родине не эпика Гете, а экзистенциалиста Клейста, но, как читатель, всегда пытался объять необъятное, благо, как сказано, нам внятно все — от феномена прозы женщин Беларуси, до, скажем, английского романа о судьбах Южной Кореи и Северной коммунистической: вот, где экс-

тремун «пограничной ситуации» земли людей. В этом контексте русская литература выглядит достойно. Меня когда-то аттестовали так: «зарубежный русский писатель». Где сегодня рубежи литературы, создаваемой по-русски? Она куда шире границ РФ. Исцелясь от шизофрении разделения на «метропольную» и «эмигрантскую», обрела глобальность и в лучших своих образцах устремлена на возвращение стране человеческого облика.

**Е.Ц.** Сорок лет эмиграции — огромный отрезок человеческой жизни. И не такой уж малый период в истории культуры. Так или иначе Вы познакомились с представителями всех «волн» русской литературной эмиграции. На Ваших глазах рождались и исчезали эмигрантские журналы, издательства, писательские объединения. Какие встречи и судьбы повлияли на Вас и Ваше творчество? О чем хочется сейчас вспомнить?

**С.Ю.** Младшую дочь Льва Николаевича, основательницу Толстовского фонда Александру Толстую лично не встречал, но свободу выбирал в Париже, когда Александра Львовна была жива. Я с отчуждением был фанатичным читателем ее отца, пережил, можно сказать, эпифанию у его могилы в Ясной Поляне и был, на филфаке, отчасти «толстоведом». Один из полумиллиона экс-советских людей, которым Фонд помог на Западе, я чувствовал трудновыразимую символику с благодарной гордостью. Полгода Фонд платил за нашу первую квартиру на Западе — в квартале Бельвиль. А парижским филиалом Фонда распоряжалась княгиня Ирина Дмитриевна Татищева из рода основателя Перми и Екатеринбурга. Невероятной синевы глаза и неизменный пролетарский «голуаз» — впрочем, в мундштук.

О ком вспомнить еще? Ну, конечно, это Жорж Бельмон (George Belmont). Прожив без полугода сто лет (1909–2008), он охватил целый век не одной литературы, а сразу трех — французской, английской, американской. Был в дружеских отношениях с Джойсом, по личной просьбе которого первым во Франции в 1939 году откликнулся статьей на роман «Поминки по Финнегану». В лицее Луи Великого, а затем Высшей нормальной школе на рю д'Ульм он близко общался практически со всей французской литературой периода «между войнами» (среди других были Андре Жид, Робер Деснос, Реймон Кено, Жан Полан, Тьерри Молнье, Робер Бразияк), а вдобавок с Симон Вейль и Самюэлем Беккетом (Нобелевский лауреат был его учителем английского и учеником французского, когда Бельмон преподавал в Тринити-колледж в Дублине). После войны Бельмон основал иллюстрированный журнал «Жур де Франс». Автор десяти романов и поэт в своем праве, он был еще и одним из лучших французских переводчиков с английского. Дружил с Генри Миллером, Теннесси Уильямсом, Мерлин Монро, Ивлином Во, Грэммом Грином, Энтони Бёрджессом, Эрикой Йонг и многими другими англо-американскими писателями.

В то жаркое лето 1979 года у нас в Монрее стоял Юз Алешковский, приехавший из Вены устраивать свои благополучно вывезенные на Запад рукописи. Аурора носила по издательствам его «Кенгуру» в надежде, что станет переводчиком этого романа. В издательстве «Робер Лаффон» на площади Сен-Сюльпис ее принял Бельмон — он вел там книжную коллекцию «Павильоны». Возвращая отклоненный роман, Бельмон спросил, замужем ли она, чем занимается муж. «Заканчивает свой собственный первый роман». Это заинтересовало искушенного парижского змия, которому тогда было семьдесят, а прожил он, как я уже сказал, почти сто лет: «Когда закончит, пусть приносит». Это меня очень вдохновило, но я хотел сначала выпустить роман по-русски. «Посев» ужаснулся: секс энд крайм? Марье Васильевне Розановой (и, разумеется, Андрею Донатовичу) роман понравился, она была готова выпустить его двухтомником в «Синтаксисе», но с условием: автор должен включиться в цементно-бетонные работы по подвалу ее дома в Фонтенероз и вообще стать «своим». Они, видимо, чувствовали вину за тот афронт, что дали мне осенью 1978 года, когда я явился к Синявскому в Гран-Пале на лекцию, после которой подошел, вынул свою советскую книжку и сказал, что намерен выбрать свободу. У меня было и послание к нему от его друга философа Гачева: тот хотел издать во Франции свою «Зиму с Декартом». Но они с Розановой сочли меня агентом-provocатором и посоветовали вернуться в Советский Союз и Союз писателей. Ужасный шок, избыть который было трудно. Меня не утратил физический труд, я был мошником небоскребов на первых порах во Франции, но «химии» между нами так и не возникло. Роман попал к Бельмону и француз пришел в восторг. Тем временем он с маркизой Ортанс де Шабрие, тоже известной переводчицей с английского (среди прочего она перевела на французский «Механический апельсин»), ушли из «Робер Лаффона» и создали свое издательство «Акрополь». На этой стадии интерес к роману проявил и «Галлимар», что было престижно даже при скромном гонораре. Бельмон убедил маркизу заплатить немалую сумму, которую я сгоряча назвал, чтобы компенсировать отказ от «Галлимара». Мой роман в «Акрополе» вышел одновременно с «Властью тьмы» Бёрджесса и даже столкнулся на голосовании премии за лучший переводной роман по-французски. Роман Бёрджесса победил, и автор с большой неохотой оторвался от письма и своих музыкальных композиций. Приехал он из Швейцарии на церемонию в засаленном блейзере с пуговицами на ниточках и в разных носках — настоящий британский романист-экспат в полном отлете от низменной реальности.

На выход своего романа прилетала из Америки и Эрика Йонг — еще одно незабываемое знакомство. Чисто платоническое, несмотря на инсинуации «желтой» прессы. Дед Эрики был из Одессы, с большим юмором она рассказывала о том, как искала свои корни в СССР.

Нас всех объединял Жорж Бельмон, который освободил меня от склонности к формальным играм в прозе — тому, что советские критики называли редким словом «штукарство». А заодно и от страсти к курсиву. С некоторым стыдом вспоминаю, как в комнате, выходящей прямо на постамент Эйфелевой башни и до высоких потолков увешанной картинами Генри Миллера, отстаивал право на разные шрифты, а особенно пустую страницу в одной из глав романа: мне казалось, что она красноречива. Жорж говорил, что видит в моем стиле то, с чем в жизни столкнулся впервые, сплав уроков Джойса с Достоевским, чем укреплял хрупкое авторское эго. В то же время мягко предупреждал насчет синтаксической сложносочиненности: «Кто же сегодня читает Фолкнера, Серж?» Не могу сказать, что наши отношения были бесконфликтны в том, что касается политики. Он не одобрял ни американофилии, ни политической ангажированности на RFE/RL Inc, ни расточения энергии на все, что вне литературы. Я не понимал его поведение во время войны, когда, бросив винтовку в одну сторону, затвор в другую, Бельмон (тогда ему было те же тридцать, что и мне) бежал от немцев с линии Мажино до самого Виши, где как-то приспособился и выжил. Не понимал уступчивость перед напором ГБ в виде ВААПа, Всесоюзного агенства по авторским правам, которое «точно» работало против моей столь успешно начатой карьеры «французского русскоязычного писателя». Дело было в том, что ВААП предложило «Акрополю» целый мешок советских романов за смешную цену, которая, однако, включало пожелание притормозить «этого вашего арривиста». Сделка, которая ввергла меня в крайнюю нужду, оказалась финансовой катастрофой: нераспроданные во Франции тиражи советских романов пошли в макулатуру. Строго говоря, это было предательством по отношению ко мне и нашим взаимным с «Акрополем» обязательством поставлять и выпускать по одному моему роману в год, на что можно было бы существовать в Париже. Однако и это тоже входило в мое постижение французского национального характера, олицетворенного этим преданным литературе человеком широких, пусть на мой вкус «слишком» широких моральных допущений, которому я обязан своим романным дебютом, общением за ирландским виски, а еще штанами. Отправляясь однажды зимой в Канаду, что для парижанина было испытанием, он заказал себе, а заодно и мне милитарного цвета многокарманные брюки — их я, конечно, в Париже ни разу не надел. Вы, дорогой Евсей, обратили меня к тому, что существует в ином измерении бытия. В юности одним из любимых моих речений было старославянское «не судите да не судимы бондете». Тем более сейчас в Америке я стараюсь не быть judgmental — избегать осуждений. Но не суждений и оценок. Человек как стробоскопический шар в танцзале, и с точностью можно говорить лишь о том, как эта вселенная отзеркалила тебя. Поэтому всем читающим по-французски могу посо-

ветовать его книгу о самом себе: последний труд Жоржа Бельмона «Воспоминания о потустороннем мире» выпущен в 2001-м парижским издательством Кальман-Леви.

**Е.Ц.** Ваша первая и единственная книга, вышедшая в СССР, называлась «По пути к дому». Символичное название. Многие мистики считают: всю жизнь мы идем домой — к Богу, к своей душе, к осознанию собственной миссии на земле. В январе этого года Вам исполнилось семьдесят. Вернулись ли Вы наконец домой или все еще в дороге?

**С.Ю.** Вы совершенно правы. И эту символику я подразумевал тогда в названии, зная: по пути к себе мне предстоит еще немало отмахать.

На первой мировой мой финский дед, сумевший стать русским офицером, воевал с дедом австро-венгерским. Дальновидный Чехов, попадая пальцем в анус Дьяволу, предвидел небо в алмазах и шутил над мальчиками, которые собирались бежать в Америку. Но сбегу тогда мои «бледнолицые» деды, оба избежали бы новой эры человечества — эры ЧК. Русский не попал бы в «Кресты», австрийца бы не расстреляли по ксенофобской разрядке в тюрьме Ростова-на-Дону. Но я не про абсурд, а про единство антагонизмов в своем случае. По отношению к Америке общеизвестна метафора «плавильный котел». Я сам всегда ощущал себя таким котлом. Кипел и булькал. Север со стороны отца, юг со стороны матери. Этаким варягогрек, но только еще и в энной степени: генетически и культурно. «Дружба народов» во плоти и крови. Ранние размышления над этой данностью и заданностью еще в неудавшемся «Союзе» привели меня к мысли, что оптимальным местоположением был бы заокеанский *Union*. *Ex pluribus unum*. Из многого моего — одно. По пути к этому многосложноцветущему единству я был ленинградцем, гродненцем, минчанином, москвичом, парижанином, мюнхенцем, пражанином, говоря о прочих пунктах, где приходилось задерживаться в «путешествии на край». В национальных странах мне было не по себе. Теперь в четырех милях от моего дома проходит трехтысячемильный спиной хребет Америки — Тропа Аппалачей. В пяти — озерная родина зеленых, законом охраняемых лягушек, а главное — гнездовище белоголовых орланов, пернатого символа Америки. Так что с точки зрения экзистенциальной географии я не только оказался, но и, как смог, обжился дома. В него воткнут «звездно-полосатый», над ним парят орлы.

2018, июнь-июль

# Дмитрий ВЕРЕЩАГИН

/ Москва /



## ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Мне хочется написать о любви — ещё раз про любовь! — о любви, которой пока ещё нет, но которая будет скоро: об этом говорит хорошее состояние души молодого художника. Да, пожалуй, я так и начну.

Хорошее состояние души — это когда тебе только двадцать лет, но ты уже студент художественного училища, где преподаёт знаменитость — Александр Александрович Поленов, внук русского художника-передвижника.

Хорошее состояние души — это когда Александр Александрович, посмотрев на Митины рисунки, и, улыбнувшись Мите, сразу бегом побежал к директору, чтобы оповестить об этом его, Николая Николаевича Радищева.

Хорошее состояние души — это когда Митин родной дядя, председатель колхоза, Михаил Иванович Кочелков, повезёт племянника на своём колхозном УАЗике в ресторан Сура; а там, в ресторане, он скажет мужчине в роговых очках:

— Вы позволите, если мы сядем за ваш стол?

— Позволяю. Это ваш сын?

— Нет. Это мой племянник. Он, между прочим, поступил в художественное училище здесь, в вашей Пензе, без экзаменов.

— А так разве можно?

— Можно, если есть талант... А ну-ка, племянник, покажи ему свои рисунки.

Между прочим, этот племянник, с очень известной фамилией Верещагин — он не родственник художнику-баталисту Василию Васильевичу Верещагину; Митя — простой крестьянский сын, и никакого родства с великим художником у него нету; в его селе Ильмино три тысячи дворов, Верещагиных там полсела; и что же, выходит, художник Василий Васильевич Верещагин был неутомимый искатель женщин, как Леонид Ильич Брежнев; и он, художник Верещагин, не Лев Николаевич

Толстой, который жил в Ясной Поляне, и все дети, говорят, там бежали — все вылитые они Львы Толстые!

Митя вынул из холщового мешка рисунок, на котором изобразил он бойцовых петухов, дерущихся на зелёном проулке.

— Здорово! — сказал мужчина в роговых очках. — Я люблю такие баталии! Кстати, сынок, я могу принять тебя тоже без экзаменов. Хочешь?

— А вы кто? — спросил Михаил Иванович.

— Я директор медицинского училища. Могу сделать, сынок, из тебя врача, доктора с дипломом.

— Племяш, покажи-ка ему ещё свои рисунки. Быка ему покажи, по кличке Николай Первый.

На рисунке бык мычит — му-у-у! — и он копытом роет землю.

— Потом ему ещё ты козла покажи — вонючего, но с мощными, завитыми рогами.

Митя показал ещё и лошадей, которых он рисовал с природы там, возле конюшни, — и вот теперь мужчина в роговых очках сказал:

— Да, ты не врач. Ты — Леонардо Да Винчи.

И, позвав официанта:

— Боря. Я их угощаю. Это — мои друзья, они приехали из деревни. Тебя как звать, художник?

— Демитрий.

— Ты для меня — Митя. Здесь очень хорошо готовят рыбную солянку. Одну тебе заказать или две порции?

— Две, пожалуйста. Я никогда не ел рыбную солянку.

— Четыре солянки, Боря. Четыре люля кебаб. И четыре бутылки водки.

Официант Боря, всё это записал в блокнот:

— Ещё чего, Борис Михайлович, желаете?

— Французский коньяк Наполеон есть?

— Имеется, — отвечал официант чересчур как-то очень вежливо и услужливо. — И он очень дорогой, такая цена кусается.

— Ничего. Принеси бутылочку. У меня сегодня не день пьянки, а день рождения.

Он снял очки с носа.

— Сегодня у меня большой праздник. Товарищи! Я Октябрьскую революцию видел во сне сегодня. Но вы, пожалуйста, — обратился он к Михаилу Ивановичу, — прочтите-ка слово

«революция» с конца.

— Прочитал, — сказал Михаил Иванович.

— И что получается?

— Люцифер, — сказал Михаил Иванович. И вдруг захохотал: — бляха муха! Революция — это сатана? Выходит, это сатана?

— Конечно, Люцифер — это сатана, — отвечал ему этот странный директор медицинского училища.

А Михаил Иванович ему:

— Спасибо большое вам, товарищ, за такой сон!

— Дядя Миша, — сказал шёпотом студент, — спроси насчёт квартиры. Может, он знает, кто сдаёт?

А тот опять говорит официанту:

— Боря, ты меня понял? Весь заказ мой, — вот на, я здесь всё записал, — ты отнеси это всё в мою «Волгу».

И, посмотрев на студента:

— У тебя как, сынок, зовут отца?

— У меня нет отца. Он на фронте погиб, товарищ начальник.

— Да. Я тебе буду отцом. Если ты, конечно, не против? Хочешь, отца такого?

— Хочу! Очень даже мне такой отец нравится!

— Подойди ко мне. Давай, милый, поцелуемся.

А дядя Миша опять вдруг засмеялся:

— Надо же, — говорит. — Уже и отца нашёл себе в Пензе!

А этот новый названный отец, уже теперь встав из-за стола:

— Едем ко мне домой, сынок! И ты с нами, Михаил Иванович.

— А вы, папа, где живёте?

— Недалеко от художественного училища. На горке. Видел, стоит там красивый особняк? Его в Пензе все зовут почему-то «Сифилисный дом».

— А почему это так? — спросил Михаил Иванович.

— Потому что его построила моя жена на деньги сифилитиков. Ясно?

— Не совсем, Борис Михайлович, не совсем. Вы уж поясните это мне, глупому мужику деревенскому.

— Поясняю. Она — профессор, доктор медицинских наук. Очень успешно лечит сифилис.

И, поманив его пальцем, говорит дяде Мише тихонько:

— В Кремле — там все сифилитики!

— А маршал Жуков, Георгий Константинович, он тоже...

— Нет. Георгий Константинович — мужик что надо! Но жену мою и он тоже трахал...

— Да-а? И вы с ней развелись?

— Да, конечно. Я с проституткой жить не хочу!

— И дети с ней у вас были?

— Две девочки. Они живут с ней в Москве. И наш особняк, который в народе называют «сифилисный», осиротел. Но, говорит он сам себе, Борис Михайлович, не надо слёз! Поехали — будем мы гулять у меня всю ночь до утра!

— А повод, какой для этого имеется? — спросил Михаил Иванович.

— Да, имеется. У меня сын художник, он — это второй Леонардо Да Винчи!

Да, действительно, это повод хороший. И теперь они поехали на машинах смотреть особняк, который в Пензе называют не иначе как «Сифилисный дом». Но состояние души — оно ничуть не стало хуже. Все трое запели вдруг гимн Советского Союза.

Вот это, товарищи, любовь такая к своему Отечеству!

— Папа, а где я буду спать?

— Сынок, выбирай любую комнату. Они — все твои!

Вот уже бегают наш студент по всем лестницам. Одна — винтовая — на чердак его подняла. Там, смотрит он, библиотека. Первая книга, которую он взял в руки, была Библия. Открыв Новый Завет, Митя прочитал слова очень неожиданные: «Отойди от Меня, сатана, ты для Меня соблазн; потому что ты думаешь не о том что Божие, но что человеческое».

Ну, спрашивается, разве это не про любовь?

## Николай СОЛОГУБ

/ Киев /



### ХРОНИКИ НИВКИНА

«Прост как правда»  
М. Горький

#### 1. ДНЕВНИК

*Такой-то год. 1 апреля.* В Парафиевке на улице появляется на свет Нивкин, отцом которого был сезонный рабочий, а матью — консьержка, по фамилии Навуходоносор, рабочий приходился к тому же ей родственником. Ребенок осмотрен местным викарием.

*Далее.* Нивкин находится в городе у своего дяди по отцу, который взял на себя первоначальное обучение Нивкина.

*В следующем году* Нивкин возвращается в семейное лоно и продолжает воспитываться с приставленным к нему наставником.

*5 декабря.* Нивкин сочиняет первое стихотворение. Несколько лет подряд ревностно сочинительствует.

*17 мая.* В местной церкви, декламирует публично свое сочинение социального характера:

Сносил дедовские ботинки,  
И нижнее стерлось белье,  
Хожу обнаженный, в косынке  
Скрывая хозяйство свое.

Люблю я отвагу-бродягу,  
Как средство от всех неудач,  
Кусочек буржуйского блага —  
В промежность на счастье заначь.

Есть в этом бесстыдное что-то:  
Останется красным торча,  
И синий колпак звездочета  
И белый веночек трубача.

29 октября. Нивкин заключается в отделение милиции за демонстрацию своих сочинений в доме свиданий, якобы оскорбивших слух занятых в этой индустрии.

13 ноября. Его выпускают на свободу (продолжительность первого заключения — пятнадцать суток).

Следующий год. Май. Донесение уголовного инспектора: «Я бы настоятельно советовал гражданке К., работнице книжной лавки, не вдаваясь при том в подробные объяснения, отказывать Нивкину, если тот потребует у нее места и времени для чтения своих сочинений».

16 октября. Донесение уголовного инспектора: «Вскоре мы снова услышим об ужасных проделках поэта и сочинителя Нивкина, который всячески старался вскочить на сцену местной оперы и что-нибудь прочесть».

Через некоторое время. 3 апреля (Святая Пасха). В девять часов утра в центре столицы Нивкин, одетый в голубой сюртук, в пенсне, с бутылкой пива за поясом и с тростью в руке, встречает подругу детства в кроличьей шапке, уборщицу тридцати шести лет от роду. Женщину звали мадам Анна. Она согласилась сесть в фиакр вместе с Нивкиным, который привез их в пивнушку. Там, принудив женщину сопровождать его игрой на бубне, Нивкин декламировал сложносочиненное:

Вообще-то, я с Пушкиным Сашей знаком:  
Я даже его угощал пирожком.  
Он только взглянул на меня сгоряча,  
Потом отшатнулся...

При этом неоднократно огорошивал ее оплеухами. Затем он предложил Анне исповедоваться и, принеся алкоголь, заперся с ней в женской комнате на два оборота. Однако же мадам удалось выпрыгнуть в окно. Оглашая предместье громкими стенаниями, она отправилась к участковому, где и подала крайне преинтересную жалобу.

7 апреля. Анна отказалась от своей жалобы в обмен на компенсацию в размере 24 гривны.

12–30 апреля. Заключение Нивкина в милицейском участке (продолжительностью 18 дней).

30 апреля. Несмотря на отказ Анны от своих претензий, дежурный инспектор, выполняя приказ уголовного суда, забирает Нивкина из милицейского изолятора с тем, чтобы поместить его в городскую темницу.

10 июня. Темничный экзекутор допрашивает Нивкина с пристрастием, однако местный верховный суд ратифицирует помилование, так что Нивкину присуждается лишь штраф в 100 гривен.

*Несколько лет спустя. Август–декабрь.* Нивкин вместе со своей женой и свояченицей находится в городе и получает звание и должность: его назначают главным редактором литературного журнала «Из кустов».

*15 января.* Нивкин приглашает в журнал некоего местного художника и ломает перед ним комедию с целью получения его рисунков для журнала.

*Середина июля.* Нивкин вместе с художником сообщает об отъезде из города навсегда с целью изыскания денежных средств.

*27 июня. Столица.* В 10 часов утра Нивкин, человек с красным лицом, одетый в белый фрак на голубой подкладке, жилет и розовые панталоны, в папахе, с бутылкой пива и тростью, вместе с художником поднимается на третий этаж жилого дома, где их не ждали... Действия: активный перформанс, поэтические мизансцены на виду у жильцов, прочие удовольствия, не уточненные в протоколе. Употребление жигулевского пива с водкой и сушеным толстолобиком, предложенным Нивкиным.

*30 июня.* Жалобы жильцов дома начальнику милиции. «Мучаемся в течение нескольких дней резами в желудках»; они считают себя отравленными упомянутыми яствами.

*11 июля.* Обыск на квартире Нивкина. Обвиняемые скрылись отсюда за несколько дней до этого.

*3 сентября.* Решение областного головы: «Поэт Нивкин и его приятель художник, вызванные в суд по обвинению в отравлении жильцов, на суд не явились и осуждены заочно». Нивкина и художника приговорили к публичному покаянию перед лицом горожан; затем их должны были отвести на Лысую гору «с тем, чтобы на эшафоте отрубить упомянутому Нивкину голову, а упомянутого художника вздернуть на виселице, затем их тела будут сожжены, а прах развеян по ветру».

*12 сентября.* Чучела Нивкина и художника подвергнуты казни и сожжены на Лысой горе.

*27 октября.* Нивкин в городе.

*8 декабря.* По приказу владельца журнала «Из кустов», некоего татарина, Нивкин с художником уволены. Увольнение произведено главным образом, из-за настоятельных просьб тещи Нивкина, которая утверждала, что Нивкин называл татарина «свиным рылом».

*Следующий год.* В ночь с 30 апреля на 1 мая Нивкин с художником бегут из города, захватив с собой неформалку, писательницу Паулину. Бегству помогает мадам Анна. В течение всего этого года Нивкин находится в Парафиевке: он должен соблюдать крайнюю осторожность, ибо над ним постоянно висит угроза ареста.

*Август–декабрь.* Под именем Владимира Маяковского, Нивкин успешно гастролирует по стране.

*17 января.* Некий обнаружившийся отец мадам Анны, которая работала в журнале уборщицей, с громкими криками требует вернуть ему дочь и стреляет Нивкину в ухо из хлопушки, но промахивается.

*13 февраля.* Народный комиссар арестовывает оглушенного Нивкина. Его помещают в камеру предварительного заключения. (Очевидно, этот арест был произведен по настоянию тещи Нивкина, в связи с названием оным владельца литературного журнала «свиная харей».)

*Через год. 3 января.* Смерть дяди Нивкина от пьянства.

*27 мая.* Татарин разрешает подать кассационную жалобу на постановление об его аресте.

*20 июня.* Нивкин сопровождаемый государственным исполнителем пребывает в зал судебных разбирательств, в качестве его защитника выступает его приятель, художник; суд кассирует решение суда.

*18 июня.* Нивкин пребывает в городе, промышляет чтением своих стихотворений на церковных руинах XI века.

*26 августа.* Общественный инспектор с помощью тещи Нивкина берет его под стражу прямо во время чтения.

*7 сентября.* Нивкин пребывает в темнице. В течение первых трех месяцев нового заключения он страдает от строгих порядков, что в конце концов влечет за собой маниакальный психоз, связанный с муками сочинительства:

Тюрьма — мой дом.  
Тесно мне в нем, —  
Но уютно, тепло, хорошо!  
И не жарко в жару,  
И светло поутру,  
И свежо, если дождик прошел.  
Но приходит пора —  
Уж несут со двора,  
Мои косточки в мягкой пыли...

*Январь следующего года.* Тюремный режим несколько смягчается: Нивкину разрешают пользоваться туалетной бумагой, два раза в неделю. На ней, каловым камнем, он ведет галантную переписку с уборщицей мадам Анной, подругой его детства.

*Следующий год. 13 мая.* Его кухарка умирает от злоупотребления анисовой водкой.

*13 июля.* Мадам Нивкина впервые получает разрешение навесить в застенках своего мужа.

*Октябрь.* Посещения мадам Нивкиной прерываются из-за свирепых приступов веселья со стороны ее супруга при виде собственной жены. Для того чтобы избавить мужа от своего присутствия мадам Нивкина уходит в запой.

В наступившем году Нивкин завершает работу над рулоном бумаги, содержащим «Неистовые испражнения» и «Диалог между мной и тобой».

*25 января.* В квартире Нивкина опять умирает от алкоголя некая дама, исполнявшая обязанности кухарки.

*29 февраля.* Нивкина переводят на поселение. Он начинает работу над книгой «Голое днище», которую он завершает в течение 37 дней. Манускрипт представляет собой рулон туалетной бумаги длиной около 20 метров.

*Через год. 7 марта.* Завершив очередную рукопись, Нивкин составляет «Семантический каталог» своих трудов.

*2 июля.* Ивкин кричит из-за забора, будто бы в застенках убивают его таланты, при этом бешено хохочет, призывая толпу прийти ему на помощь.

*4 июля.* Вследствие такой скандальной выходки Нивкина переводят во внутреннюю темницу, запретив при переезде захватить с собой наиболее важные рулоны.

*2 апреля.* Нивкин выходит на свободу (продолжительность заключения 9 месяцев).

*3 апреля.* Мадам Нивкина находится в запое и отказывается принять своего мужа.

*17 мая.* Нивкин, поддерживающий дружеские отношения с художником, рассчитывает через его обаяние облегчить себе доступ в гардеробную театра для декламирования свежих сочинений.

*14 июля.* Нивкин перебирается в гардеробную и орудует там с апреля по август, эксцентрично демонстрируя посетителям свои экспромты:

Утром сосиску закутавший в пленку,  
Тут в гардеробной оставил дубленку.  
И со двора его в залу зазвал  
Интеллигентом сразу назвал.  
Булку ему в молоко накрошил  
Знание-силу на лоб положил.  
Но гардеробщик на всех разолился,  
И в нашем доме с тех пор поселился!

*...Июль.* В письме к художнику Нивкин предлагает соорудить себе надгробие как прародителю особого сорта поэзии.

*Через несколько лет. 6 марта.* Нивкин, который с конца прошлого века состоял в литературном объединении «Рот — зеница ока», назначается в нем комиссаром по организации банкетов.

*13 апреля.* Нивкина назначают присяжным комитета «Литературный тамада», после чего комитет начинает испытывать значительные финансовые трудности. Вот что Нивкин, к примеру, периодически кричал в окно своего кабинета: «Сокращайте, урезайте, от-

давайте под заклад, продавайте, делайте адские, дьявольские усилия, но пришлите денег, которые мне необходимо иметь немедленно, иначе я окажусь в крайне бедственном положении!»

*5 декабря.* По приказу уголовного департамента милиции Нивкин арестован с поличным в доме №871; его обвиняют в проведении психотренинга с распитием пепси-колы с водкой в ночное время и препровождают в тюрьму.

*23 марта.* «Нивкин, возраст — не определен, рост — 5 футов, 2 дюйма и 1 линия, нос серый, рот маленький, подбородок круглый, волосы крашенные, лицо овальной формы, лоб выпуклый, глаза мелкие».

*27 марта.* Нивкина по душевной болезни переводят в лазарет. Его выпускают на свободу.

*13 октября.* Нивкин покидает свое жилище и вместе с мадам Анной переезжает на Лесной массив, где устраивает свои дела. Однако, оставшись безо всяких средств к существованию, вынужден расстаться с оной до лучших времен. Нивкин находит себе пристанище у одного из своих бывших работодателей, искусствоведа Якова.

*Февраль, следующего года.* По науськиванию мадам Анны Нивкин принимает участие в скоморошьих представлениях в центре современного искусства, зарабатывая 400 гривень в день. Он живет на каком-то чердаке вместе с бомжами.

*13 февраля.* Нивкин пишет следующее: «Я кормлю и воспитываю себя, что, по сути дела, является лишь расплатой за труды, которые взял на себя я несчастный, ведь я, несмотря на ужасную погоду, каждый день выбегаю читать свои сочинения... Поистине, я настоящий ангел, ниспосланный самому себе небом».

*3 января.* Нивкин без одежды, без жалкого гроша в кармане вынужден лечь в психиатрическую больницу.

*6 марта.* Обыск в палате Нивкина, в результате которого найдено его сочинение в рулоне «Медовый вожак»:

Когда надевши сандалии  
Несет меня пьяного в дым  
Вы верно тогда сказали:  
«Ты снова непобедим!»  
Мы все, без закуски страдали  
Без отдыха и без сна,  
С бумажки поэмы читали  
Глядела нам в рот страна.  
Пускай прошла миллионоустая  
Молва, что я погиб, —  
На месте, где пал я челюстью,  
Под глазом пошли круги!  
Я так заорал, что миру  
Под хвост забилась вожа,

Я был творцов бригадиром,  
Пронизанный славой вожак.  
Утром рубашку сменим  
Не оттого ль крепки,  
Сандалии на ноги наденем  
И зашнуруем шнурки.  
За гаражами, за бурьянными  
Где славный поэт шумит,  
Мы вместо еды закуривали,  
И нас продолжение манит.  
Челюсть! И след! И в дым его!  
И под глазищем кругляк,  
Гляжу на вид горделивого,  
Гляжу. Гляжу на себя!  
На доблестного, сорванецкого...  
Пошедшего бриться вдруг.  
На крылечке больницы  
Нашел я себе подруг.  
И есть уже чем согреться:  
«Спокойствие мужики!»  
Душ человеческих слесарь  
Смотрю я из-под руки.  
Сквозь мглу и сиянье грозное,  
«Спокойствие мужики!»  
Судеб людских колхозник,  
Пышу здоровьем таки!

*5 апреля.* Нивкина заключают сначала под стражу, а впоследствии переводят опять в психушку.

Со следующего года в клинике для душевнобольных начинает действовать капустник, постоянным участником которого становится Нивкин, благодаря доброжелательности сестры-хозяйки, подружившейся с ним.

*30 января.* Нивкин пишет завещание, первые три параграфа которого составляют щедрые распоряжения в пользу художника и мам Анны.

*2 августа.* Главный врач клиники пишет донесение в «Красный крест». Он, в частности, говорит об опасности присутствия Нивкина в клинике, требуя перевода последнего в какое-то другое место. Внимание представителя обращается на скандальный характер его выступлений в капустнике, поскольку он декламирует еще и в раздевалке в голом виде свои сочинения.

*18 октября.* Дежурный терапевт клиники получает приказ представителя «Красного креста и красного полумесяца», требующий усилить надзор над Нивкиным, «страдающим опасной формой безумия».

Посетив больного поэта Нивкина, едва утолившего жажду и без единого стона, местный викарий констатирует смерть.

## 2. ПОЧТИ НОВЫЙ ДНЕВНИК

Поэт Нивкин среди других литераторов кажется нам всех ближе. Это ощущение, возможно, возникло после рассказов некоего художника, которому довелось близко общаться с Нивкиным. Так или иначе, это мнение разделяют литературоведы, изучавшие творчество поэта в естественных местах и библиотеках.

Однажды, путешествуя по городу и пробираясь по грязным улочкам из продуктового магазина, наш коллега искусствовед Яков и писательница Паулина вдруг увидели невдалеке через маленькую лужу внимательно следящего за ними поэта Нивкина. Цитирую: «К счастью в авоське у нас оказались выпивка и продукты. Надеюсь на чудо, мы двинулись навстречу и мигом переметнулись через лужу. Нивкин (тогда он был еще молодым) не уходил. Взяв в руки содержимое авоськи, мы начали потихоньку продвигаться навстречу. Нивкин не испугался, а спокойно, с достоинством, ждал нашего приближения. Я протянул ему бутылку. В ответ Нивкин испытывающе посмотрел мне в глаза, потом взял мою руку и стал разгибать сомкнутые вокруг бутылки пальцы. Один за другим он разогнул мои пальцы, взял бутылку и принялся выливать ее содержимое себе в рот. Жидкость в бутылке казалась очень чистой... и от нее приятно пахло спиртом. Но, самое интересное, он совершенно не обращал внимания на нас и как истинный поэт продолжал заниматься своим делом. Выпив одну бутылку, Нивкин спокойно взял у меня еще одну и ушел восвояси. Мы зачарованно пялились ему вслед, не переставая щелкать фотоаппаратом». Еще бы, раньше поэта Нивкина встречали всюду, а теперь локации его выступлений ограничены небольшими участками очагов культуры центральной части города. По словам доктора Морковного, исполнительного директора литературной организации «Poetomutant», поэт Нивкин является самым значительным из всех местных литераторов. Он (Морковный) говорит в частности следующее: «Есть разные подходы к определению таланта у писателей, и литературоведы разработали различные тесты для оценки их уровня. Но пару лет назад многие исследователи, работавшие в этом направлении, пришли к следующему выводу: если талант определять, как способность сочинять и декламировать поэзию, то Нивкину в этом смысле нет равных в нашем городе». Поэты из литературного объединения «Рот — зеница ока» нетерпеливы, и у их оппонентов, по мнению Морковного, не слишком мотивированное поведение при чтении своей поэзии. Но Нивкин склонен выявлять проблематику, ставить цель и творчески работать над ее разрешением или для достижения цели. Поэт Нивкин обладает разнообразными литературными навыками и знаниями, которые передает слушателю. Например, он ловко использует пепси-колу с водой во время поэтических вечеров, потом еще запоминает места,

где в разное время года проходили эти вечера. А к возрасту 40 лет Нивкин еще умел различать на вид и идентифицировать присутствующих. Городской журналист Влад Тотко, основатель фонда спасения литературы (Literatura SOS) отмечает: «Нивкин достаточно умен, чтобы подражать. Один Нивкин догадался использовать оставленные историей литературные опусы в качестве обогащения своего слога. Он взбирался на сцену, гримасничая, пытаясь запугивать при этом публику. Увы, добыть славы таким способом ему не удалось. Но это и не так уж важно. Зато при помощи того же самого действия, Нивкин успешно выуживал стаканчики с вином у разносящих». Перед выступлением Нивкин обычно выглядит ниже ростом и более крепко сложен, тогда как после, более высок и худосочен. Во время декламирования щетина на его лице кажется светлее, а лицо голее, шире, уши — меньше, губы способны сильно вытягиваться, особенно нижняя, борода и усы кажутся желтого цвета.

Справка: Поэт Нивкин — колоритная особа в нашей литературе. И телосложением тоже. Он имеет массивную, сильно развитую мускулатуру. Волосной покров редкий, красновато-коричневый, с длинными волосами на затылке. Голова крупная, с широким лицом, высоким лбом и заметно выступающим носом. Могут иметься усы и борода. Он живет уединенно и вообще не передвигается на большие расстояния, сожительствоует с кем попало. После выступления Нивкин сравнительно молчалив. Издаёт только ряд звуков, не напоминающих связную речь: писк, икание и хрюканье. Наиболее известен так называемый долгий крик «long call», которым знаменит уверенный в себе и своем творческом порыве поэт.

### 3. ИЗДАТЕЛЬ

Крестьянский поэт и писатель Нивкин, потомок Навуходоносора второго из Парафиевки написал замечательное стихотворение:

«Видю хлеба буханку,  
В далеком немецком краю,  
Мое тело рукою ее возьмет!  
А теперь. Я устрою могучую пьянку,  
и меня далеко занесет!»

Некий татарин, издатель литературного журнала «Из кустов» велел привести поэта к себе и сказал ему: «Как ты, неуч, можешь устроить за буханку хлеба могучую пьянку? Кроме того, это стихотворение теперь принадлежит мне, и я не позволю никому считать, что это не так!»

Нивкин сказал ему: «Ваша пронизательность смогла дать вам власть, а мой талант отдал меня в ваши руки. Ваша пронизательность, очевидно, более эффективна, чем мой талант».

Издатель рассмеялся и назначил Нивкина главным редактором.

#### 4. ПЕТИЦИЯ ПОЭТА НИВКИНА

Его руки и ноги были в кандалах, его лицо было искажено от боли, и это на виду у всех. Мне невыносима мысль, что таким образом они публично стегали художника по чреслам. Я даже слышал, что его могут казнить — но вы можете помочь мне спасти его!

Меня называют — отец родной. Я — Нивкин, поэт! В прошлом году художника приговорили к казни — 100 ударов ногой, за «эстетическое оскорбление общественности». Его преступление заключается в том, что он вымазал краской свое интимное место публично. Художник — миролюбивый человек и любящий отец, оценившие это и я очень скучаем по нему и опасаемся за его здоровье.

Сейчас поклонники его таланта могут помочь нам освободить мэтра от побоев. Через несколько часов я и доктор Морковный, отправимся с визитом в «Красный крест и красный полумесяц», и если мы используем имеющееся у нас влияние и выступим в защиту художника, то можем побудить власти пересмотреть свое решение, влияющее на здоровье художника.

Я лично попросил о помощи городских первосвященников и книжников. Но одного моего голоса недостаточно. Поэтому прошу вас (поклонники и поклонницы) поддержать мою просьбу, чтобы я отправился в департамент с массовым призывом от людей со вкусом и убедил освободить художника. Пожалуйста, поддержите меня и расскажите о петиции всем, кого вы знаете.

Несколько лет назад наш художник представил на выставке картину «Всемирная соска». В ней он гневно и реалистично отобразил мировую ипотеку и ее подлую религию, показал социальные и политические проблемы. Но суд обвинил его в «моральном оскотлении» — преступлении, которое жестоко карается. Наказание художника касается не только его: публичная порка — это предупреждение для всех деятелей культуры, кто хочет выражать свои мысли подобным образом привселюдно.

Мы встретились с художником 15 лет назад, а подружились два года спустя, тогда я уже ждал его первое гениальное психополотно. Когда в 2008 году у художника начались проблемы с алкоголем, он приказал мне покинуть мастерскую: и я поехал туда, затем сюда и наконец прибыл обратно в мастерскую, где мне и моим духовным переживаниям представилось убежище. Но мы не можем теперь просто сидеть здесь и обедать — мы хотим, чтобы художник присоседился к нам!

Многие люди на улице хотят лицезреть его гениальные картины, и международное сообщество обращает все больше внимания на судьбу художника. Я уже заявил, что затрону тему прав гениального мыслителя во время своего визита в департамент. Пожалуйста, присоединяйтесь к моей просьбе — наш призыв может помочь освободить нашего художника.

С огромной признательностью. Нивкин и вся комната.

## 5. ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ

(по рассказу очевидца)

Городскому поэту, или, как его здесь еще называют, отцу родному, Нивкину явно не повезло. Он не единожды вознамеривался занять литературный Олимп города, но его все время пробрасывали...

В будни Нивкин щеголял в затертых лайковых шортах, выгоревшей рубашке и сандалетах на босу ногу, ничем не выделяясь среди горожан. Так, во всяком случае, выглядел он накануне, в день моего приезда в столицу. Сейчас на очередной ярмарке освежеванной книги Нивкина было явно не узнать. В ослепительно красной шелковой косоворотке — длинной, до пят, национальной одежде, похожей на балахон, в пенсне, с тростью и в голубом цилиндре — он, и без того крупный от природы, казался еще выше ростом и сиял в лучах солнца, как красная тряпка. Под взглядами десятков людей Нивкин важничал: дескать, вот я какой нетрадиционный поэт и писатель — ваш старейшина слога, судья, хранитель всего сущего, литературный наставник...

Мы находились почти в центре площади, размером с футбольное поле, начинавшейся у восточного входа в почтамт. Был погожий день, и окрестности хорошо просматривались. За рекой буйствовала березовая роща, которой, казалось, и конца-краю нет. В обычные дни площадь пустовала. Лишь дважды в неделю местные жители устраивали тут рынок или в случае необходимости городской сход.

Теперь здесь были установлены три ряда столов в виде огромной буквы «П». В середине на деревянном помосте популярные музыканты-балалаечники еще с вечера репетировали «пансионату». В центре поперечного ряда лицом к реке восседал сам поэт Нивкин. По правую руку — его издатель, татарин, в синем платье, на коленях которого ерзал кучерявый карлик в белом европейском костюмчике. Рядом с издателем смиренно потупили глаза несколько журналистов в меховых шапках, возглавляемых Владом Тотко. Слева от поэта находились еще четыре особы, попросту его ученики, тоже в красных косоворотках и с бубнами. Сбоку от этих особ устроители праздника отвели места гостям: мне, мадам Анне, писательнице Паулине и ху-

дожднику, безродному, который и привез нас на это книжное торжество. По обе стороны продольных столов сидели жители столицы — принаряженные, улыбающиеся.

Столы ломились от местных деликатесов. Горами лежала квашеная капуста. В больших кастрюлях остывали только что сваренные щи. Из граненых стаканов выбивалась белая пена игристой бражки — терпкого алкогольного напитка. Миски с «фу-фу» — свиными шариками в остром соусе дразнили запахом свежего сена. Но, пожалуй, аппетитнее всего выглядели розоватые кусочки на противнях — обжаренные на душистых вишневых дровах, корни карельской березы, пик праздничного гурманства.

По традиции, чтобы открыть праздник, Нивкину следовало продекламировать горожанам и гостям приятные, радостные строки: настроить людей на элегический лад. Поэт привстал из-за стола со стаканом бражки, для порядка негромко аукнул. Люди притихли, устремив на него свои взоры.

— Баллада попойки, — пробасил Нивкин...

В этот момент неподалеку от нас, в левом ряду, подломилась скамейка, и человек десять завалились на землю. Сбегали на почту за другой скамейкой, расселись.

— Из поэмы «Предрассветные трупы»...

Дикий вопль прервал речь. В правом ряду татарин, не сводя восторженных глаз с поэта, хотел взять стаканчик браги, но угодил рукой в кастрюлю с горячими щами. Люди минут пять неумемно хохотали, указывая на смущенного издателя.

Нивкин продолжил декламировать:

На плечах тяжелеют утки.  
На гранчак, передавай,  
Рвем глотки, играем в жмурки —  
Закричал боевой попугай...

Нивкин снова замолчал, стал глядеть под ноги: кто-то из-под стола дергал его за полы косоворотки. Оказалось, это был карлик-непоседа, который незаметно соскользнул туда с колен издателя. Шалуна усадили на скамейку...

...Те же рожи и те же краски.  
Тот же шумный открытый рот.  
Наша бригада играет в шашки  
И навстречу глотки рвет.

И однажды, как почечный камень,  
Только столб обхватив руками.  
И замрут с тишиной в ушах.  
На рассвете, не сделав и шаг.

Но какую придумать науку,  
Если выпил пять рюмок подряд —  
Горлопанят на встрече друг другу  
И под утро уснуть норвят!

Не вода — меж матерщинниками.  
Разделяет, не скудна еда.  
Не гусак. Не гусыня. Не камень.  
Не консульских голов пустота.

В ежедневном угарном гуде  
Перед стопкой своею с горой —  
Как синдромно колотятся люди!  
Мимо рта проливая порой!

Гром скрежещущий — в голове дыра.  
Луч утренний — бьет вперед.  
Выпил вслепую — уверен: ура! —  
И уже беседу ведет.

Верно выбрано направление  
Сквозь стаканов граненую муть.  
Ибо Бахус — судьбы явление  
В магазин направляет путь.

Нивкин неожиданно замер. Его лицо искажил страх: брови полезли на лоб, рот так и остался открытым. Издавая невнятные гортанные звуки, Нивкин показывал в направлении берега рукой со стаканом, не замечая, что расплескивает бражку. Мы, смотревшие все до единого на поэта, разом повернули головы в ту сторону.

— Ой! Ла-ла-ла-ла... — раздались возгласы. Было от чего душе уйти в пятки.

От берега на площадь катилась лавина (у страха глаза велики) поклонников с головы до пят в праздничных одеждах, с которых стекала вода, видимо, после форсирования реки. Это была какая-то кошмарная шевелящаяся толпа, не успевающая выхватывать экземпляры книг, и вся лавина казалась бредовым видением. У любителей тонкой поэзии наступил литературный экстаз. Их бритые свирепые рожи с выпученными глазами и голливудским оскалом, обрывками размоченных контрамарок, свисающими отовсюду, не оставляли места для сомнений: сейчас поклонники схватят сидящих за столом литераторов и растащат их по домам непременно.

Первым вышел из оцепенения Нивкин. При всей своей внушительной серьезности он, однако, оказался не из храброго десятка: забыв о приличии, резво, по-дзюдоистки выскочил из-за стола и, подобрав длинные полы косоворотки, рванул что есть духу в пе-

---

реулок. Вслед за ним кинулись ученики с издателем и все приглашенные особы. Журналисты, в меховых шапках, пронзительно голосили. Люди, опрокидывая скамейки, бросались наутек.

Художник хрюкнул и потащил меня за собой. За ближайшим к площади ларьком мы остановились перевести дух. Я осторожно выглянул из-за угла. К счастью, за нами никто не гнался. У наступающих любителей поэзии было намерение отлавливать деятелей культуры и брать у них автографы. Публика бродила вдоль столов, набрасываясь на бражку и на еду. Несколько самодеятельных поэтов взобрались на помост и начали колотить ногами, оглушительно хохоча и распевая свои сочинения, отмечая таким образом книжную ярмарку...

Так, величаво начинаясь, все заканчивалось обычно.

КРЕЩАТИК  
(Перекресток)

Международный  
литературный  
журнал

Главный редактор издательства

*И. Савкин*

Дизайн обложки *Н. Сологуб*

Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство

«Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53

Подписано в печать 24.11.2018

Формат 66x88<sup>1/16</sup>. Усл.-печ. л. 21

Печать офсетная. Заказ 344

ISSN 16192966

**KRESCHATIK**

П Е Р Е К Р Е С Т О К

**#82**

[www.kreschatik.kiev.ua](http://www.kreschatik.kiev.ua)

[https://vtoraya-literatura.com/razdel\\_2211\\_str\\_1.html](https://vtoraya-literatura.com/razdel_2211_str_1.html)

Мы в неустанном поиске  
новых имен, неизвестных авторов,  
где бы они ни жили — в Киеве,  
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке или  
Мюнхене, мы — перенесенный  
в ментальное пространство  
проспект, как бы он ни назывался  
в каждом городе, где когда-то  
завязывались великие дружбы,  
писались великие стихи,  
происходили знаменательные встречи...

All rights reserved © Kreschatik

